

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Помпадурсы и помпадурши

От автора

Молодые наши помпадурсы очень часто обращаются ко мне за разъяснениями, как в том или в другом случае следует поступить. Обращения эти ставят меня в большое затруднение, ибо у меня нет ни секретарей, ни канцелярии, вследствие чего большую часть писем я бываю вынужден оставлять без ответа. Между тем никто лучше меня не понимает, что единообразие в действиях по вопросам внутренней политики не только полезно, но и необходимо. Поэтому я решился разъяснить хотя те основные пункты помпадурской деятельности, которые настолько необходимы для начинающего помпадурсы, чтобы он, приезжая на место, являлся не с пустыми руками. Таковы, например: проводы, встречи, отношение помпадурсов к подчиненным, к обывателям и к закону, выбор помпадурш и т. д. Я выбрал форму рассказов, потому что она понятнее. Сухие, отвлеченные рассуждения едва ли доступны молодым людям, получившим воспитание в заведении искусственных минеральных вод, и, во всяком случае, должны показаться им несносными. Рассказы же они прочтут, и даже, быть может, усвоят. Знаю, что я далеко не исчерпал всех случаев помпадурской деятельности, но меня утешает то, что я первый сделал почин в этом смысле. Быть может, другие последуют по указанному мною пути и внесут в это дело более ясности и более таланта. Я же льщу себя надеждой, что господа помпадурсы приобретут мою книгу, хотя бы для того только, чтоб поощрить мою попытку пролить некоторый свет в эту своеобразную сферу жизненной деятельности, в которой до сих пор все было так темно и неопределенно.

«Прощаюсь, ангел мой, с тобою!»

Очень уж нынче часто приходится нам с начальниками прощаться. Приедет начальник, не успеет к «благим начинаниям» вплотную приступить – глядь, его уж сменили, нового шлют! Поэтому мостовая в Вислоуховском переулке и доднесь не докончена, а проект о распространении в народе надлежащих чувств так и лежит в канцелярии не переписанный набело. Один начальник как приехал, так первым делом приступил к сломке пола в губернаторском кабинете – и что же? сломать-то сломал, а нового на его место построить не успел! «Много, – говорил он потом, когда прощался с нами, – много намеревался я для пользы сделать, да, видно, Богу, друзья мои, не угодно!» И действительно, приехал на место его новый генерал и тотчас же рассудил, что пол надо было ломать не в кабинете, а в гостиной, и соответственно с этим сделал надлежащее распоряжение. Следовательно, если и этого генерала скоро сместят, то другой генерал, пожалуй, найдет, что надо ломать пол в столовой, и таким образом весь губернаторский дом постепенно перепакостят, а «благих начинаний» все-таки в исполнение не приведут.

Говорят, будто это так нужно. Говорят, что прежде можно было допускать засиживаться на одном месте, потому что тогда ничего больше от администратора не требовалось, кроме того, чтоб он был администратором; нынче же будто бы требуется, чтоб он, кроме того, какую-то «суть» понимал. Я полагаю, однако ж, что все это одна пустая фанатерия, ибо, по мнению моему, всякий человек всякую «суть» всегда понимать способен: стоит только внушить. Возражают против этого, что иногда такая «суть» бывает, которую будто бы и внушить совестно, но это возражение, очевидно, неосновательное, потому что человек надежный и благонравный от самой природы одарен такою внутреннею закваскою, которая заключает в себе материал для всякого рода «сути»; следственно, тут даже и внушений прямых не нужно, а достаточно только крючок запустить: непременно

какую-нибудь бирюльку да вытащишь!

Скажу, например, про себя: сделайте меня губернатором – я буду губернатором; сделайте цензором – я буду цензором. В первом случае: сломаю на губернаторском доме крышу, распространю больницу, выбелю в присутственных местах потолки и соберу старые недоимки; если, кроме этого, надобно будет еще «суть» какую-нибудь сделать, и «суть» сделаю: останетесь довольны. Во втором случае: многие сочинения совсем забракую, многие оциплю, многие украсу изречениями моего собственного вымысла; если же, кроме этого, потребуется, чтобы я сделал «суть», то и «суть» сделаю. Всем быть могу; могу даже быть командиром фрегата «Паллада», и если Бог мне поможет, то, чего доброго, выиграю морское сражение. Повторяю: если иногда нам кажется, что кто-либо из наших подчиненных действует не вполне согласно с нашими видами, что он не понимает «сути» и недостаточно делает «благих начинаний», то это кажется нам ошибочно: не нужно только торопиться, а просто призвать такого подчиненного и сказать ему: милостивый государь! неужто вы не понимаете? Верьте, что он поймет тотчас же и почнет такие чудеса отчеканивать, что вы даже залюбуетесь, на него глядя. Это все равно как видел я однажды на железодельном заводе молот плющильный; молот этот одним ударом разбивал и сплющивал целые кувалды чугунные, которые в силу было поднять двум человекам, и тот же самый молот, когда ему было внушаемо о правилах учтивости, разбивал кедровый орешек, положенный на стекло карманных часов, и притом разбивал так ласково, что стекла нисколько не повреждал. Стало быть, дело совсем не в том, какой молот, большой или малый, а в том, какое сделано ему свыше внушение.

Но будет философствовать; расскажу о том, как мы на днях лишились своего начальника. Но прежде считаю нелишним познакомить читателя с моей собственной особой.

Я человек преданный; все начальники знают это и смотрят на меня одинаково; я, с своей стороны, тоже смотрю на всех начальников одинаково, потому что все они – начальники. Растолковать это как следует я не могу, но полагаю, что читатель поймет меня и без объяснений. Всех начальников я одинаково жалею, всем – одинаково радуюсь. Знаю, что если начальник без причины вспылит на меня, то он же, когда будет нужно, и простит меня. Знаю, что я виноват; если не виноват в действительности, то виноват тем, что сунулся на глаза начальнику не вовремя; потому что ведь и он тоже человек и по временам имеет надобность в уединении. Начальство с своей стороны снисходительно, и хотя знает, что я виноват, но видит, что и я это очень чувствую, и потому прощает мне. В этих мыслях я воспитал жену свою и надеюсь воспитать все семейство. Весь город за это нас уважает, и когда случается провожать старого или встречать нового начальника, то я всегда при этом играю видную роль.

«Встречать» – дело не трудное; тут чем больше радушия, чем больше приветствий, тем лучше: начальники это любят. Возражают иные, что и здесь излишеством можно пересолить, потому что начальник еще не заслужил; но начальник никогда так не думает, а думает, что он уж тем заслужил, что начальник. Но «прощанья» своего рода политики требуют. Тут надобно так устроить, чтоб новый начальник не обиделся излишними похвалами, отбывающему воздаваемыми, а думал бы только, что «и тебе то же со временем будет». Следовательно, необходимо прежде всего, чтоб торжество прощанья имело исключительно характер преданности. А потому, если отбывающий начальник учинил что-нибудь очень великое, как, например: воздвигнул монумент, неплодоносные земли обратил в плодоносные, безлюдные пустыни населил, из сплавной реки сделал судоходную, промышленность поощрил, торговлю развил или приобрел новый шрифт для губернской типографии, и т. п., то о таких делах должно упомянуть с осторожностью, ибо сие не всякому доступно, и новый начальник самое упоминание об них может принять за преждевременное ему напоминание: и ты, дескать, делай то же. Но если отбывающий делал дела средние, как, например: тогда-то усмирил, тогда-то изловил, тогда-то к награде за отлично усердную службу представил, а тогда-то реприманд сделал, то о таких делах можно говорить со всею пространностью, ибо они всякому уму доступны, а следовательно, и новый

начальник будет их непременно совершать. Все это опытный устроитель прощальных торжеств должен иметь в виду. В особенности же надлежит быть мудрым в таких случаях, когда оба начальника – и выбывающий, и вновь назначенный – налицо. Тут надобно быть осторожным не только в речах, но и в кушаньях и винах.

Итак, мы лишились нашего начальника. Уже за несколько дней перед тем я начинал ощущать жалость во всем теле, а в ночь, накануне самого происшествия, даже жена моя – и та беспокойно металась на постели и все говорила: «Друг мой! я чувствую, что с его превосходительством что-нибудь неприятное сделается!» Дети тоже находились в жару и плакали; даже собаки на дворе выли.

Генерал наш был старик добрый, но еще годный. Назначен он был к нам еще при прежнем главноначальствующем (нынешний главноначальствующий хоть и любит старичков, но в гражданском состоянии, а не на службе, на службе же любит молодых чиновников, которые интересы тех гражданских старичков лучше, нежели они сами, поддержать в состоянии), но недолго повластвовал. Сменили прежнего главноначальствующего, сменили и его. Несправедливость явная, потому что старик мне сам по секрету не раз впоследствии говорил: «Не знаю, подлинно не знаю, за что от общения отметаюсь! если новое начальство новые виды имеет, то стоило только приказать – я готов!» И если при этом вспомнить, сколько этот человек претерпел прежде, нежели место свое получил, то именно можно сказать: великий был страстотерпец! Прежде всего, у начальника отделения в послушании был, да еще не у одного, а у нескольких; по воскресеньям с праздником поздравлять ездил, по будням между тремя и четырьмя часами в департамент анекдоты рассказывать ходил! А в брюхе-то щелк! а на уме-то только и есть одна мысль: Господи! вскую! Потом попал в передел к директору, ну, тут тоже сноровку надо иметь! ждет, бывало, сердечный, у двери кабинета, и не для того совсем, чтоб что-нибудь сообщить, а только чтобы показать, что готов, мол... хоть на куски! Ну, и пройдет директор, улыбнется: «Что, старик, готов?» – «Хоть в Астрахань, ваше превосходительство!» – «Гм... в Астрахань! туда Шарлотта Федоровна тоже об одном старичке просила!» – скажет директор и пройдет мимо. Даже в кабинет к себе не допустит, выплакаться-то не даст. «Господи! вскую!» – только и твердил, бывало, наш старик, покуда не подобрался наконец к Шарлотте Федоровне. Понравился он ей, впрочем, не чем другим, а именно только строгостью правил. И так пришелся по душе, что вместо Архангельска угодил к нам! Каково же, после такого-то искуса, несколько лишь месяцев повластвовать, и вдруг – хлоп!

Первое известие о постигшем нас ударе я получил от вице-губернатора. Еще невежественный, приехал я утром к нему и застал его расхаживающим взад и вперед по кабинету: по всей вероятности, он обдумывал, какая участь должна постигнуть нашу губернию. Наш вице-губернатор человек нравов придворных, и потому чувствительности большой не имеет, но и он был тронут.

– А знаете ли вы, что дурака-то нашего уволили? – спросил он меня с первого же слова.

В груди у меня словно оборвалось что-то. Не смея, с одной стороны, предполагать, чтобы господин вице-губернатор отважился, без достаточного основания, обзывать дураком того, кого он еще накануне честил вашим превосходительством, а с другой стороны, зная, что он любил иногда пошутить (терпеть не могу этих шуток, в которых нельзя понять, шутка ли это или испытание!), я принял его слова со свойственною мне осмотрительностью.

– Про какого это «дурака», ваше превосходительство, говорить изволите? – спросил я, по силе возможности мягкостью тона умеряя резкость моего вопроса.

– Про какого? известно про какого! про нашего, про Шарлотты Федоровны выкормка!

Сердце в груди моей окончательно упало. Но не прошло минуты, как уж в голове моей созрел вопрос:

– А известно вашему превосходительству, кого на место их назначают?

При этом вопросе сердце мое мало-помалу поднималось: я начинал предчувствовать, что не буду оставлен без начальника.

– А назначают Удар-Ерыгина.

– Генерала-с?

– Генерала-с.

Сердце мое окончательно устало на своем месте, ибо я получил уверенность, что предчувствие мое сбылось.

– Из каких-с они? – спросил я несколько смелее.

– Из млекопитающих-с! – отвечал вице-губернатор (он вообще ужаснейший киник).

Мы оба задумались и стали в молчании ходить по кабинету (в первый раз в жизни я шел *рядом* с начальником, а не следовал за ним «петушком»: несчастье уравнивает все ранги).

– Я думаю, нужно будет старому начальнику прощальный обед устроить? – первый прервал я молчание.

– Гм... да... знаю я этого Удар-Ерыгина... знаю!

– Я думаю, ваше превосходительство, что можно и купцов пригласить какую-нибудь демонстрацию сделать?

– Гм... купцов... Однажды призывает меня этот Удар-Ерыгин к себе и говорит: «Я, говорит, по утрам занят, так вы ко мне в это время не ходите, а приходите каждый день обедать»...

– Так они и гостеприимные?

– Гм... да... гостеприимен... «Только, говорит, так как я за обедом от трудов отдыхаю, так люблю, чтоб у меня было весело. На днях, говорит, у меня, для общего удовольствия, правитель канцелярии целую ложку кайенского перцу в жидком виде проглотил».

– Преданность всякое испытание, ваше превосходительство, превозмочь может! – прервал я, невольно потупляя глаза.

– Подождите, не прерывайте меня. «Так вы, говорит, с этим соображайтесь»...

– И сообразовались, ваше превосходительство?

– И сообразовался-с.

Мы опять умолкли; я чувствовал, что на душе у меня смутно и что сердце опять начинает падать в груди, несмотря на то что сожаление о смене любимого начальника умерялось надеждою на присылку другого любимого начальника. И действительно, преданность моя рисковала подвергнуться страшному искушению: «А что, ежели он и меня кайенский перец глотать заставит!» – думал я, трепеща всеми фибрами души моей (ибо могли ли я поручиться, что физическая моя комплекция выдержит такое испытание?), и я уверен, что если бы вся губерния слышала рассказанный господином вице-губернатором анекдот, то и она невольно спросила бы себя: «А что, если и меня заставят глотать кайенский перец?»

– Только этим и замечателен новый начальник? – вновь прервал я молчание.

– Только этим и замечателен-с.

– Но, быть может, они снисходительны?

– Для тех, кто умеет глотать кайенский перец.

– Стало быть, ваше превосходительство...

– Находимся с его превосходительством в наилучших отношениях. Кстати, однако ж: ведь для дурака-то прощальный обед устроить следует...

– Это, ваше превосходительство, и для нового начальника будет поощрением...

– Ну да; будет, по крайности, видеть, что мы втуне не оставляем...

Я вышел на улицу и просто даже удивился. Представьте себе, что все стояло на своем месте, как будто ничего и не случилось; как будто бы добрый наш старик не подвергнулся превратностям судеб, как будто бы в прошлую ночь не пророс сквозь него и не процвел совершенно новый и вовсе нами не жданный начальник! По-прежнему, на паре бойких саврасеньких, спешил с утренним рапортом полициймейстер («Вот-то вытянется у тебя физиономия, как узнаешь!» – подумал я); по-прежнему сломя голову летел Сеня Бирюков за какой-то помадой для Матрены Ивановны и издали приветливо махал мне шляпой; по-прежнему проклятые мужичонки во все горло галдели и торговались из-за копейки на базарной площади. Даже воздух был совершенно такой же, как вчера. Все это как-то странно

подействовало на мои нервы, а ожесточенье бесчувственного мужичья до того меня озлобило, что я почел за нужное даже вмешаться.

– Что вы тут горло дерете! базар, что ли, здесь! – крикнул я, подходя к одной кучке.

– А не базар нешто! – отвечал мне один голос.

Я смутился, ибо сообразил, что и в самом деле стою на базаре.

– А знаете ли вы, мужичье проклятое, что у нас нынче ночью на всю губернию несчастье случилось?

Мужики глядели на меня с недоумением.

– Знаете ли вы, что его превосходительство, Анфима Евстратича, от должности уволили?

– О! де...

Но не успел дерзкий договорить, как уже рука моя исполняла свою обязанность.

– Да ведь поди новый на место его будет! новый будет! – кричал провинившийся.

Сначала я не слышал его объяснения и продолжал делать свое дело; но, признаюсь, когда слова «новый будет! новый будет!» явственно коснулись моего слуха, то рука моя невольно опустилась. И в самом деле, рассудил я, если нет старого, то это значит, что есть новый – и ничего больше. Из-за чего же тут меняться воздуху! из-за чего предметам, уже установившимся и, могу сказать, вросшим в землю, перескакивать с места на место! Вчерашняя смерть не содержит ли в себе зерна сегодняшнего возрождения? Вчерашнее помрачение не вознаграждается ли сегодняшним просветлением? Одним словом, я вынужден был дать гривенник напрасно обиженному мной поселянину и, успокоивши себя разными солидными размышлениями, отправился с визитом к закатившейся нашей звезде.

В приемной я застал правителя канцелярии и полицеймейстера; оба стояли понуривши головы и размышляли. Первый думал о том, как его сошлют на покой в губернское правление; второй даже и о ссылке не думал, а просто воочию видел себя съеденным.

– Вы читали бумагу? – спросил я правителя канцелярии.

– Читал, – отвечал он грустно.

– Но что же за причина?

– Да никакой причины не прописывается. Напротив того, даже похвалы нашему генералу примечаются. «Неутомимые, говорит, труды, на поприще службы с пользою понесенные»...

– И в заключение?

– А в заключение: «Расстроили, говорит, ваше здоровье и без того потрясенное преклонностью лет»...

– Ну, какая же это «преклонность лет»!

– Какая «преклонность лет»! и всего-то по формуляру семьдесят пять лет значится! в самой еще поре!

– Только бы управлять еще старику!

В это время к нам вышел сам закатившийся старик наш. Лицо его было подобно лицу Печорина: губы улыбались, но глаза смотрели мрачно; по-видимому, он весело потирал руками, но в этом потиранье замечалось что-то такое, что вот, казалось, так и сдерет с себя человек кожу с живого.

– Наконец давнишнее желание моего сердца свершилось! – сказал он, обращаясь к нам.

– Весь город, ваше превосходительство... – начал было я.

– Наконец давнишнее желание моего сердца свершилось! – повторил он и остановился, чтобы перевести дух.

Я понял, что старик играет роль, но что роль эту он выучил довольно твердо.

– Нам остается утешаться, что новый наш начальник будет столь же распорядителен, как и ваше превосходительство! – сказал я, пользуясь паузой.

К удивлению, генерал был как будто сконфужен моею фразой. Очевидно, она не входила в его расчеты. На прочих свидетелей этой сцены она подействовала различно. Правитель канцелярии, казалось, понял меня и досадовал только на то, что не он первый ее

высказал. Но полицеймейстер, как человек, по-видимому покончивший все расчеты с жизнью, дал делу совершенно иной оборот.

– Нет, уж позвольте! *такого* начальника у нас не было и не будет! – сказал он взволнованным голосом, выступая вперед.

– Благодарю! – сказал генерал.

– Ваше превосходительство! – продолжал полицеймейстер, уже красный как рак от душившего его чувства преданности.

– Благодарю!

Полицеймейстер ловил генеральскую руку, которую генерал очень искусно прятал; правитель канцелярии молчал и думал, что если его сошлют в судное отделение, то штука будет еще не совсем плохая; я стоял как на иголках, ибо видел, что намерения мои совсем не так поняты.

– Я хотел только выразить, – пояснил я наконец, – что должности ваших превосходительств никогда не прекращаются и что провидение...

– Верю-с!

– Что провидение, осчастлививши нас однажды правителем, подобным вашему превосходительству, конечно, озаботится и на будущее время...

– Верю-с!

Сказавши это, его превосходительство удалился во внутренние комнаты; за ним последовали полицеймейстер и правитель канцелярии; я же должен был с носом отправиться в переднюю.

В передней швейцар улыбался и спрашивал: когда будет новый генерал? Часы, приобретенные для генеральского дома за пять генералов перед сим, стучали «тик-так! тик-так!» – как будто бы говорили: «Мы видели пять генералов! мы видели пять генералов! мы видели пять генералов!»

Оставалось, следовательно, отдать нашему генералу последний долг. Избран был комитет из самых опытных по этой части обывателей; комитет, в свою очередь, избрал распорядителями торжества меня и Сеню Бирюкова. Для меня это дело привычное, потому что я не раз уж в своей жизни катаfalки-то эти устраивал, но Сеня так возгордился сделанным ему доверием, что даже шею выгнул, словно конь седлистый, да в таком виде и носился с утра до вечера по городу. Когда вопрос о кушаньях был подвергнут зрелому обсуждению, тогда сам собою возник вопрос о тостах и речах. Но это такой важный предмет, что я считаю необходимым сказать об нем несколько лишних слов.

В прежние времена разрешение этого вопроса не представляло никаких затруднений, ибо в прежние времена все говорили вдруг. Один из распорядителей выступал на средину, провозглашал тост: «За здоровье его превосходительства!» – и все дружно подхватывали: «Прощайте, ваше превосходительство!», «Ура, ваше превосходительство!» Его превосходительство, в свою очередь, обходил кругом стола и говорил: «Нижайше вам кланяюсь, господа!», «Усерднейше вас благодарю, почтенные мои сослуживцы!» И, смотря по степени воодушевления, или плакал, или просто только утирал глаза. И таким образом, за общим шумом, ничего понять было нельзя. Конечно, эта форма изъявления чувств была не совсем правильная, но зато она была трогательна и искренна. Но нынче и этому делу дали совершенно иной оборот. С тех пор как «Русский вестник» доказал, что слово «конституция», перенесенное на русскую почву, есть нелепость, или, лучше сказать, что в России конституционное начало должно быть разлито везде, даже в трактирных заведениях, мы решили, что и у нас, на наших скромных торжествах тоже должно быть разлито конституционное начало. Начало это, как известно, состоит в том, что один кто-нибудь говорит, а другие молчат; и когда один кончит говорить, то начинает говорить другой, а прочие опять молчат; и таким образом идет это дело с самого начала обеда и до тех пор, пока присутствующие не сделаются достаточно веселы. Тут-то, собственно, и начинается настоящая конституция, ибо все, что происходит прежде, считается только предварительным

к ней при приготовлении. По-видимому, самое лучшее было бы прямо начать с настоящей конституции, однако этого сделать нельзя, во-первых, потому, что надобно, чтоб все происходило по порядку, а во-вторых, потому, что предварительные действия освещают путь для предстоящей веселой конституции и служат для нее руководящею нитью. Понятно, что при таких условиях встречается необходимость в людях, которые умели бы говорить даже в такое время, когда другие молчат; но понятно также, что это положение совершенно проклятое и что люди скромные принимают его весьма неохотно. Это почти то же, что в одиночку публично производить какое-нибудь предосудительное отправление, когда никто кругом никаких предосудительных отправлений не производит. А потому выбор людей для произношения тостов и спичей всегда сопрягается с затруднениями очень серьезными, и обязанность эта представляется такою повинностью, наряд на которую почти равносителен наряду на барщину.

На этот раз ораторами выбраны были: вице-губернатор – от лица чинов пятого класса, советник губернского правления Звенигородцев – от лица всех прочих чинов, Сеня Бирюков – от лица молодого поколения и, наконец, командир гарнизонного батальона – от имени воинского сословия. Полициймейстер до того разревновался, что вызвался сказать сверхштатную речь от лица полиции. Разумеется, все они тотчас же отправились домой и занялись чтением «Московских ведомостей», дабы ближе ознакомиться с политическим положением России и усвоить себе некоторые необходимые в красноречии обороты.

Но главным украшением прощального обеда должен был служить столетний старец Максим Гаврилыч Крестовоздвиженский, который еще в семьсот восемьдесят девятом году служил в нашей губернии писцом в наместнической канцелярии. Идея пригласить к участию в празднике эту живую летопись нашего города, этого свидетеля его величия и славы, была весьма замечательна и, как увидим ниже, имела совершенный и полный успех.

Я не стану описывать действий депутации, на которую возложено было приглашение генерала к прощальному обеду. Ничего замечательного при этом не произошло, кроме того, что отъезжающий прослезился и заверил депутацию, что будет непременно. Приступлю прямо к описанию торжественных минут прощанья.

В три часа пополудни мы собрались в нарочно приготовленной для того зале. Некоторые тотчас же выпили водки. Все вообще, по-видимому, уже освоились с мыслью о предстоящей разлуке и потому держали себя совсем не так, как бы торжество прощанья того требовало, а так, как бы просто собрались выпить и закусить; один правитель канцелярии по временам еще вздрагивал. В четыре часа отъезжающий прибыл в залу, сопровождаемый двумя ассистентами, и все присутствующие тотчас же сгруппировались вокруг него. Начались пожатия рук, причем впопыхах генерал удостоил пожатия даже клубного лакея Федора и тут же очень мило сам рассмеялся своей ошибке. В ожидании закуски образовался непринужденный разговор; генерал в особенности одобрял действия наших войск и настаивал на том, чтобы зло пресечь в самом корне.

– Но для этого, ваше превосходительство, нужны деятели, – сказал полициймейстер, – а мы видим...

– В деятелях русскому царству никогда недостатка нет и не будет, – любезно прервал его генерал и таким образом очень кстати замял этот неполитичный разговор.

За столом все разместились по старшинству без особенных затруднений; только оператор врачебной управы (несколько уже выпивший) заупрямился сесть на конец стола на том основании, что будто бы ему будут доставаться плохие куски, но и это недоразумение было улажено положительным удостоверением, что кушанья наготовлено слишком достаточно, чтобы могли иметь место подобного рода опасения. Генерал держал себя с твердостью и достоинством, но когда подали суп, то невольная слеза капнула из его глаз в тарелку. После супа следовал первый тост. Вице-губернатор встал и, когда все умолкло, произнес:

– Ваше превосходительство! один древний сказал: *Timeo Danaos et dona ferentes!* Это значит: опасаясь данайцев даже тогда, когда они приходят с дарами...

Кругом раздаётся одобрительный шепот; советник Звенигородцев бледнеет, потому что «Timeo Danaos» было включено и в его речь; он обдумывает, как бы вместо этой цитаты поместить туда другую: «sit venia verbo»;¹ оператор врачебной управы вполголоса объясняет своему соседу: «timeo – боюсь, а не опасаясь; et dona ferentes – и дары приносящих, а не „даже тогда, когда они приходят с дарами“; следственно, „боюсь данайцев и дары приносящих“ – вот как по-настоящему перевести следует». Но вице-губернатор не слышит этого зловредного объяснения и, ободряемый общим вниманием, продолжает:

– ...с дарами. Но здесь, ваше превосходительство, вы изволите видеть не «данайцев», приходящих к вам с дарами, а преданных вам подчиненных, приносящих вам, – и не те дары, о которых говорит древний, – а дары своего сердца.

– Отлично! великолепно! – раздаётся кругом; отъезжающий тронут, оратор куражится.

– ...своего сердца. В особенности скажу я это о тех, от имени которых обращаю к вашему превосходительству прощальное слово (оратор окидывает взором небольшое пространство стола, усеянное чинами пятого класса; отъезжающий кланяется и жмет руки соседям; управляющий удельной конторой лезет целоваться: картина). Эти дары, ваше превосходительство, можете принять с полной уверенностью, что в них нет ни орсиниевских гранат, ни других разрывающих составов. Я принял на себя сладкую, но трудную обязанность, ваше превосходительство! Я принял обязанность в устном слове изобразить перед вашим превосходительством эти скромные, но горячие дары, которые безмолвно, но красноречиво пламенеют в наших сердцах. Я не боюсь упреков; зоилы и свистуны стоят ниже меня...

– Bravo! bravo! урра! – раздаётся кругом.

– Зоилы и свистуны стоят ниже меня. Но, во всяком случае, ваше превосходительство, не заподозрите меня, если я скажу: дары, которые приносятся здесь вашему превосходительству, суть дары сердца, а не те дары, о которых говорил «древний». Ура!

Вице-губернатор умолк; на середину залы вывели под руки «столетнего старца», который заплакал. Отъезжающий был так тронут, что мог сказать только:

– Успокойте старика! успокойте старика!

«Столетнего старца» увели; подали ростбиф; Звенигородцев, чувствуя приближение минуты, дрожал как в лихорадке. Наконец он встал с бокалом в руке против виновника торжества и произнес:

– Ваше превосходительство! Еще недавно ваше превосходительство, не изволив утвердить журнал губернского правления о предании за противозаконные действия суду зареченского земского исправника, изволили сказать следующее: «Пусть лучше говорят про меня, что я баба, но не хочу, чтоб кто-нибудь мог сказать, что я жестокий человек!» Каким чувством была преисполнена грудь земского исправника при известии, что он от суда и следствия учинен свободным, – это понять нетрудно. Гораздо труднее понять чувства, волновавшие при этом нас, подписавших упомянутый выше журнал. Нечего и говорить о том, что мы приняли решение вашего превосходительства к непременно исполнению; этого мало: предоставленные самим себе, мы думали, что этого человека мало повесить за его злодеяния, но, узнавши о ваших начальнических словах, мы вдруг постигли всю шаткость человеческих умозаключений и внутренне почувствовали себя просветленными...

– Bravo! прекрасно! вот истинные отношения подчиненных к начальникам!

– Мы поняли, что истинное искусство управлять заключается не в строгости, а в том благодушии, которое, в соединении с прямодушием, извлекает дань благодарности из самых черствых и непреклонных, по-видимому, сердец. Эта невольная дань несется к вашему превосходительству не только от лиц, здесь присутствующих, но и от всей губернии. Да, не одно благодарное сердце бьется в настоящую минуту в неизвестности! не один выпранный ум содрогается при мысли о предстоящей разлуке! Но для того, чтобы доказать

¹ Да будет позволено сказать (лат.) .

справедливость моих слов, считаю нелишним изложить здесь вкратце прохождение службы вашего превосходительства.

Оратор на мгновение останавливается, чтобы перевести дух, и затем продолжает:

– Начав служебное поприще в инспекторском департаменте военного ведомства, ваше превосходительство, после двадцати лет беспорочной службы, перешли в инспекторский департамент гражданского ведомства. Здесь вы служили до тех пор, пока новые идеи не потребовали присоединения этого департаamenta к департаменту герольдии. Во все это время на вашем превосходительстве лежала самая трудная обязанность – обязанность редактировать и держать корректуру общего приказа. По уничтожении инспекторского департаamenta гражданского ведомства, ваше превосходительство поступили в комитет призрения гражданских чиновников, где прохождение вашей службы простиралось до восьми лет. Затем ваше превосходительство целых три года состояли при департаменте на испытании, целых три года с отличием и усердием исполняли возлагаемые на вас трудные поручения и только умудренные опытом решились прибыть к нам. У нас прохождения вашей службы было всего шесть месяцев и пять дней, но и этого краткого периода времени было достаточно, чтобы дать почувствовать, что нами руководит опытная рука...

При этих словах раздается гром рукоплесканий, и восторженное «ура!» потрясает стены залы. Даже лакеи взволновались. Управляющий удельной конторой опять идет целоваться.

Оратор продолжает:

– Прибывши к нам, ваше превосходительство не посетили ли городов нашей губернии? Посетивши города, не обревизовали ли во всей подробности наши присутственные места? Предложение об этом предмете вашего превосходительства, по которому губернским правлением в свое время уже сделано надлежащее распоряжение, не останется ли вечным памятником вашей распорядительности и вашей проницательности? Отеческим сердцем вы изволили отнестись ко всем нашим недугам и слабостям; от взора вашего не укрылось ни то, что наши земские суды не пользуются соответствующими помещениями, ни то, что города наши до сих пор остаются незамощенными. Все это вы поставили губернскому правлению на вид, и все это должно на будущее время служить этому высшему в губернии присутственному месту (вице-губернатор охорашивается, прочие председатели завистливо, но сомнительно улыбаются) путеводной звездой, к которой имеют устремляться его административные усилия. За все это: дань благодарности вашему превосходительству! Дань благодарности от всех неиспорченных сердец, той благодарности, о которой сейчас так красноречиво выразился мой достойный начальник (вице-губернатор) и которую, ваше превосходительство, можете принять без всяких опасений, ибо здесь нельзя (крики кругом: «Да, нельзя, нельзя!») даже сказать подобно «древнему»: *timeo Danaos et dona ferentes*. Ура!

Смута, произведенная этою речью, была так велика, что никто даже не обратил внимания, как «столетний старец» вышел на середину залы и прослезился. Всех поразила мысль: вот человек, который с лишком тридцать шесть лет благополучно служил по инспекторской части и в какие-нибудь шесть месяцев погиб, оставив ее! Пользуясь этим смятением, одна маститая особа сказала речь, хотя и не была записана в числе ораторов. Потрясая волосами, особа произнесла:

– Гражданин преестественный! сын церкви достолюбезный! Являешь мудрость! являешь кротость! Две зари в природе: заря восходящая и заря заходящая – так же и у человека. Мужайся! В лепоте к нам пришел, в лепоте и отходишь! И да сопутствует...

Последние слова были заглушены обычным «ура». Этим же смятением воспользовался и полицеймейстер, чтобы наскоро сказать свою речь без очереди.

– Ваше превосходительство! – сказал он, – я не умею говорить, но всегда скажу: вы заставили уважать полицию!

Волнение насилу стихло; очевидно, что приближалась торжественная минута «настоящей конституции». Подали и съели огромнейшую рыбу. На сцену выступил Сеня Бирюков, в сопровождении всей нашей блестящей молодежи, с отличием занимающей места

чиновников особых поручений, мировых посредников и судебных следователей. Одним словом, все наше «воинство возрождения» было тут налицо.

– Ваше превосходительство! – начал Сеня, – я не оратор...

– Я коллежский регистратор, – очень явственно прошипел оператор врачебной управы, бывший уж очень близко к «конституции».

– Шш!.. – пронеслось по зале.

– Я не оратор, но не могу не сказать нескольких слов о теплом участии, которое вы принимали в благотельных учреждениях последнего времени. На ваших глазах совершился ужаснейший переворот, которому когда-либо был свидетелем изумленный мир. Перед вашим превосходительством были две стороны, но вы не склонились ни на ту, ни на другую. Перед вашим превосходительством были две дороги, но вы не пошли ни по той, ни по другой. Результаты деятельности вашего превосходительства еще не видны, но они будут. Приветствуя вас от лица нашего молодого поколения, я могу прибавить одно: приветствие это есть дань сердца, которую, ваше превосходительство, можете принять со всею безопасностью. Как выразились мои уважаемые предшественники, вы не имеете даже повода сказать в этом случае *timeo Danaos et dona ferentes*, потому что здесь всякий приносит дары свои от чистого сердца. Ура!

– Ура! ура! ура! – дружно грянуло молодое поколение, потрясая бокалами.

Генерал потупился; он скромно сознавал в эту минуту, что успел угодить всем. Но настроение умов постепенно принимало направление к веселости; на многих пунктах стола громко раздавались требования, чтоб оркестр сыграл что-нибудь русское; советник казенной палаты Хранилов лил на стол красное вино и посыпал залитое пространство солью, доказывая, что при этой предосторожности всякая прачка может легко вывести из скатерти какие угодно пятна; правитель канцелярии уже не вздрагивал, но весь покрылся фиолетовыми пятнами – явный признак, что он был близок к буйству. Одним словом, во избежание неожиданностей, я, как распорядитель, должен был просить батальонного командира, чтоб он сказал свою речь как можно скорее и как можно короче, что он, к общему удовольствию, и исполнил.

– Ваше превосходительство! – сказал он, – буду краток, чтоб не задерживать драгоценные ваши часы. Я не красноречив, но знаю, что когда понадобилось отвести для батальона огороды – вы отвели их; когда приказано было варить для нижних чинов пищу из общего котла – вы приказали приобрести эти котлы в лучшем виде. Вверенный мне батальон имеет честь благодарить за это ваше превосходительство. Ура!

Этот речью заключилась первая часть нашего торжества. Затем уже началась так называемая конституция, которую я не стану описывать, потому что, по мнению моему, все проявления, имеющие либеральный характер, как бы преданны они ни были, заключают в себе одно лишь безобразие...

На другой день я посетил помещение, в котором происходило прощальное торжество. На полу валялись объедки, скатерть пестрела пятнами, целая масса прогорклого дыма висела над столами. Сердце мое сжалось...

Старый кот на покое

I

Новый начальник либеральничает, новый начальник политиканит, новый начальник стоит на страже. Он устраивает союзы, объявляет войны и заключает мир. Одно допускает, другое устраняет. Принимая в соображение одно, не упускает из вида и другое, причем нелишним считает обратить внимание и на третье. В отношении одних действует мерами благоразумной кротости; в отношении других употребляет спасительную строгость. Он

пишет обширнейшие циркуляры, в которых призывает, поощряет, убеждает, надеется, а в *случае нужды* даже требует и угрожает. Одним словом, создает новую эру.

В согласность с ним настраивается и подначальный люд. Несутся сердца, задаются пиры и банкеты в честь виновника торжества; языки без всякого опасения предаются благодетельной гласности; произносятся речи и тосты; указываются новые невинные источники народного благосостояния, процветания и развития; выражаются ожидания, упования и надежды, которые, при помощи шампанского, из области упований *crescendo*² переходят в твердую и непоколебимую уверенность.

Даже дамы не остаются праздными; они наперерыв устраивают для нового начальника спектакли, шарады и живые картины; интригуют его в маскарадах; выбирают в мазурке и при этом выказывают такое высокое чувство гражданственности, что ни одному разогорченному супругу даже на мысль не приходит произнести слово «бесстыдница» или «срамница»

Среди этого всеобщего гвалта, среди этого ливня мероприятий, с одной стороны, и восторгов – с другой, никто не замечает, что тут же, у нас под боком, увядает существо, которое тоже (и как недавно!) испускало из себя всевозможные мероприятия и тоже было предметом всякого рода сердценесений, упований, переходящих в уверенность, и уверенностей, покоящихся на упованиях.

Да; он не оставил нас, наш добрый старый начальник; он поселился тут же, вместе с достойною своею супругой Анной Ивановной, в подгородном своем имении, и там, на лоне природы-матери, употребляет все усилия, чтобы блаженствовать. Конечно, злые языки распускают, будто внутри у него образовалась целая урна слез, будто слезы эти горячими каплями льются на сердце старика и вызывают на его лицо горькие улыбки и судорожные подергиванья; но я имею все данные утверждать, что слухи эти неосновательны. Я сам посетил его в благоприобретенном селе Обиралове (и даже не скрыл этого от нового начальника) и собственными глазами убедился, что он точно блаженствует. Он с беспечным видом ходит по полям и лугам; он рвет цветочки и плетет из них венки; он питается исключительно молочными скопами; он вступает в непринужденный разговор с добродушными поселянами и поголовно называет их друзьями... Каких доказательств блаженства еще надо?

Коли хотите, в нем действительно произошла некоторая перемена: глаза не мещут, нос не угрожает, уста не изрыгают, длани не устремляются. Коли хотите, нет недостатка и в подергиваньях, и в горьких улыбках... Но, по мнению моему, эта перемена произошла совсем не вследствие уныния, а оттого единственно, что добрый старик, вышедши в отставку, приобрел опасную привычку слишком часто поднимать завесу будущего. При таком непрерывном поднимании довольно трудно обойтись без подергиваний (я знал одного мудреца, который даже зажимал нос, как только приходилось поднимать завесу будущего). Сам старик в этом сознается и даже довольно картинно выражает плоды своих наблюдений по этому предмету.

– Да-с, – говорит он, – я озабочен-с. Посмотришь в эту закрытую для многих книгу, увидишь там все такое несообразное. Не человеческие лица, а рыла-с... кружатся... рвут друг друга, скалят зубы-с. Неутешительно-с.

Итак, вот единственное облако, которое омрачает тихий вечер отставного администратора; во всех прочих отношениях он блаженствует. Он охотно смешивает либерализм с сокращением переписки, и когда однажды у нас зашла речь о постепенном шествии вперед на пути гражданственности и устности:

– Это еще при мне началось, – сказал он, – в то время я осмелился подать следующий совет: если позволительно так думать, сказал я, то предоставьте все усмотрению главных начальников!

² Разрастаясь (*ит.*) .

– А что вы думаете? Ведь и в самом деле это значительно сократило бы переписку! – заметил я.

– Значительно-с, – отвечал он с одушевлением, очевидно намереваясь сообщить дальнейшее развитие этой занимательной теме, но вдруг замолк, как бы опасаясь проронить государственную тайну.

Вообще о делах внутренней и внешней политики старик отзывается сдержанно и загадочно. Не то одобряет, не то порицает, не забывая, однако ж, при каждом случае прибавить: «Это еще при мне началось», или: «Я в то время осмелился подать такой-то совет!»

– Отчего же мнение вашества не было принято в уважение? – иногда спрашивают его веселые собеседники.

– А оттого-с, что нынче старых слуг не уважают! – отвечает он с некоторою скорбью, но вслед за тем веселенько прибавляет: – Да, пора! давно пора было мне отдохнуть!

О новом начальнике старик или вовсе умалчивает, или выражается иносказательно, то есть начинает, по поводу его, разговор о древнем языческом боге Меркурии, прославившемся не столько делами доблести, сколько двусмысленным своим поведением, и затем старается замять щекотливый разговор и обращает внимание собеседников на молочные скопы и другие предметы сельского хозяйства.

Однажды зашла речь о пожарах, и некоторый веселый собеседник выразил предположение, что новый начальник, судя по его действиям, должен быть, по малой мере, скрытный член народного жонда.

– Не отрицаю-с, – скромно заметил благодушный старик, – но не смею и утверждать-с. Скажу вам по этому случаю анекдот-с. Однажды, когда князь Петр Антоныч требовал, чтобы я высказал ему мое мнение насчет сокращения в одном ведомстве фалд, то я откровенно отвечал: «Ваше сиятельство! и фалды сокращенные, и фалды удлиненные – мы всё примем с благодарностью!» – «Дипломат!» – выразился по этому случаю князь и изволил милостиво погрозить мне пальцем. Так-то-с.

Даже против реформ, или – как он их называл – «катастроф», старик не огрызался; напротив того, всякое новое мероприятие находило в нем мудрого толкователя. Самые земские учреждения и те не смутили его. Конечно, он сначала испугался, но потом вник, взвесил, рассудил... и простил!

– Так, вашество, одобряете? – спрашивают его иногда собеседники.

– Одобряю-с, – отвечает он, – сначала, конечно... опасался-с; но теперь... одобряю-с!

– Чего же собственно, вашество, опасаться изволили?

– Упразднения власти-с!

– А теперь одобряете?

– Теперь одобряю-с. На этот счет доложу вам вот что-с. С блаженной памяти государя Петра Алексеевича история русской цивилизации принимает характер, так сказать, пионерный. Являются, знаете, одни за другими пионеры. Расчищают, пролагают, прорубают, строят, ломают и опять строят... одним словом, ведут жизнь деятельную. Сперва губернаторы, прокуроры, экономии директоры, капитан-исправники – это, так сказать, пионеры первобытные. Потом-с, окружные начальники, воспитанники училища правоведения, акцизные чиновники, контрольные чиновники, мировые посредники – это уже пионеры второй формации, пионеры с утонченными чувствами и деликатными манерами. Наконец, земство-с.

– Стало быть, и Василий Петрович, и Николай Дмитрич – все это пионеры?

– Пионеры-с, и больше ничего.

После такого толкования слушателям не оставалось ничего более, как оставить всякие опасения и надеяться, что не далеко то время, когда русская земля процивилизуется наконец вплотную. Вот что значит опытность старика, приобретшего, по выходе в отставку, привычку поднимать завесу будущего!

Таким образом, тихо и неслышно текут дни благодушного старца, еще недавно

удивлявшего мир своею распорядительностью. В обхождении он кроток и как-то задумчиво-сдержан; на исправника глядит благосклонно, как будто говорит: «Это еще при мне началось!», с мировым судьей холодно-учтив, как будто говорит: «По этому предмету я осмелился подать такой-то совет!» В одежде своей он не придерживается никаких формальностей и предпочитает белый цвет всякому другому, потому что это цвет угнетенной невинности. Однажды даже он отпустил себе бороду, в знак того, что и ему не чуждо «сокращение переписки», но скоро оставил эту затею, потому что князь Петр Антоныч, встретивши его в этом виде, сказал: «Эге, брат, да и ты, кажется, в нигилисты попал!» Вообще, он счастлив и уверяет всех и каждого, что никогда так не блаженствовал, как находясь в отставке.

II

Каждый день утром к старику приезжает из города бывший правитель его канцелярии, Павел Трофимыч Кошельков, старинный соратник и соархистратиг, вместе с ним некогда возжегший административный светильник и с ним же вместе погасивший его. Это гость всегда дорогой и всегда желанный: от него узнаются все городские новости, и, что всего важнее, он же, изо дня в день, поведывает почтенному старцу трогательную повесть подвигов и деяний того, кто хотя и заменил незаменимого, но не мог заставить его забыть.

Утро; старик сидит за чайным столом и кушает чай с сдобными булками; Анна Ивановна усердно намазывает маслом тартинки, которые незабвенный проглатывает тем с большею готовностью, что, со времени выхода в отставку, он совершенно утратил инстинкт плотоядности. Но мысль его блуждает инде; глаза, обращенные к окошкам, прилежно испытуют пространство, не покажется ли вдали пара саврасок, влекущая старинного друга и собеседника. Наконец старец оживляется, наскоро выпивает остатки молока и бежит к дверям.

– Ну-с, что новенького? – спрашивает он после первых взаимных приветствий.

– Мостит базарную площадь-с.

– Как? Кто?

– Новый-с.

Известие это поражает изумлением. Старик многое предвидел, многое предсказал; но этого ни предвидеть, ни предсказать не мог.

– Признаюсь! – произносит он не без смущения, – признаюсь!

– Да и мы-таки подивились! – поддакивает Павел Трофимыч.

Не то чтобы идея о замощении базарной площади была для старика новостью; нет, и его воображение когда-то пленялось ею, но он оставил эту затею (и не без сожаления оставил!), потому что из устных и письменных преданий убедился, что до него уже семь губернаторов погребло жертвою этой ужасной идеи.

– Но предвидел ли он, этот безрассудный молодой человек, те непреодолимые трудности, даже опасности, с которыми связано подобное предприятие?

– Сказывали-с; Яков Астафьич даже примеры представляли-с...

– Ну?

– Остался непреклонен-с.

Начинаются сетованья и соболезнованья; рассказывается история о погибших губернаторах, и в особенности приводится в пример некоторый Иван Петрович, который все совершил, что смертному совершить доступно, то есть недоимки собрал, беспокойных укротил, нравственность водворил, и даже однажды высек совсем неподлежаще одного обывателя, но по вопросу о мостовых сломился, был отрешен от должности и умер в отставке, не выслужив пенсионера.

– А я так вот выслужил! Мостовых не строил, а пенсию выслужил! – прибавляет благодушный старец.

– Раненько, вашеество, тяготы-то с себя снять изволили! – льстит Павел Трофимыч.

– Я?.. Что ж?.. Я послужить готов!.. Я, мой любезный Павел Трофимыч... Меня этими мостовыми не удивишь! Я не только перед мостовыми, но даже перед тротуарами не дрогну! Только надо к этому предмету осторожно, мой милый... Ой, как осторожно надо подступить!

– Что говорить, вашество! с осторожностью и гору просверлить можно!

– Это так. Потому, сегодня стукнешь – ямочка, завтра стукнешь – ан она глубже, – послезавтра – и еще глубже! Так-то, мой любезный!

В таких разговорах незаметно летит время до обеда, после чего Кошельков отправляется обратно в город за свежим запасом новостей.

На другой день та же обстановка и тот же дорогой гость. Оказывается, что «новый» переломал в губернаторском доме полы и потолки.

Старик делается серьезен, почти строг.

– А знает ли он, этот безрассудный молодой человек, – говорит он, – что в этом доме до него жили тридцать три губернатора! и жили, благодарение Богу, в изобилии!

На третий день Павел Трофимыч повествует, что «новый», прибыв в некоторое присутственное место, спросил книгу, подложил ее под себя и затем, бия себя в грудь, сказал предстоявшим:

– Я вам книга, милостивые государи! Я – книга, и больше никаких книг вам знать не нужно!

Старик начинает колебаться. Он начинает подозревать, что в «безрассудном молодом человеке» не всё сплошь безрассудства, но, по временам, являются и признаки мудрости.

– Дай Бог! – говорит он, – дай Бог! Но все-таки скажу: осторожность, мой любезный! Ой, как нужна осторожность!

На четвертый день – опять то же посещение; оказывается, что «новый» выбрал себе в «помпадурши» жену квартального Толоконникова.

Чело старика проясняется; в голове его шевелятся веселые мысли.

– А что ты думаешь, любезный! – говорит он, – ведь он... тово! ведь он бабенку-то... тово!

– Толоконников уж и шинель с бобрами себе построил-с!

– В знак удовлетворенья... это так! Я полагаю даже, что он его куда-нибудь в советники... Потому, мой любезный, что это, так сказать, общая наша слабость, и... должен признаться... приятнейшая, брат, эта слабость!

– Уж чего же, вашество, лучше!

– То-то, любезный друг! ты пойми! Насчет этого нельзя так легко говорить! Уж на что я к Анне Ивановне привязан, а тоже, бывало, завидишь этакую помпадуршу – чай, помнишь?

– Как не помнить-с! Только раненько, вашество, тяготы-то эти сбросить с себя изволили!

– Что ж, я послужить готов!.. А он... тово! он, я тебе скажу, эту бабенку... это – верно!

Наконец в одно прекрасное утро приезжает Павел Трофимыч и смотрит не то загадочно, не то торжественно.

– Ну-с, что еще напроказили? – спрашивает старик, по обыкновению.

– Недоимки собирает!!!

– Сам собирает?

– Сам-с.

– И сечет?

– И сечет-с (Кошельков, очевидно, врет, но делает это в тех видах, чтобы известие подействовало на старика как можно живительнее).

При этом известии с отставным начальником совершается нечто необыкновенное. Он как бы впадает в восторженное забытие; ему мнится, что он куда-то въезжает на белом коне, что он облачен в светозарные одежды; что сзади его мириада исправников, сотских, десятских, а перед ним на коленях толпа...

– Даже баб сечет-с! – окончательно прильгает Павел Трофимыч, видя успех своей

стратагемы.

– Бац! бац! – ни с того ни с сего вдруг восклицает старик. – Так ты говоришь, и баб?

– Точно так, вашество, потому что эти бабы...

– Бац! бац!

Старик быстрыми шагами ходит по комнате, делая движение рукой сверху вниз.

– А знаешь ли, что я тебе скажу! – говорит он, останавливаясь с размаху перед своим собеседником.

– Что, вашество, приказать изволите?

– Он... молодец!

III

По вечерам старец пишет свои мемуары, или, как он называет, «воспоминания о бывшем, небывшем и грядущем». Он занимается этим в величайшем секрете, так что только Анна Ивановна, Павел Трофимыч да я знаем, чему посвящает свои досуги бывший глубокомысленный администратор.

– Я, мой милый, фрондер! – так всегда начинает он, когда решается прочитать нам какой-нибудь отрывок из своих мемуаров. – По выражению старика Державина, —

Я истину царям с улыбкой говорил...

Ну, и почтен был за это в свое время... А нынче, друзья мои, этого не любят! Нынче нашего брата, фрондера, за ушко да на солнышко... за истину-то! Вот, когда я умру... тогда отдайте все Каткову! Никому, кроме Каткова! хочу лечь рядом с стариком Вигелем.

Некоторые выдержки из этих мемуаров столь любопытны, что я не могу воздержаться, чтобы не поделиться ими с любезным читателем. Вот, например, как описывает благодущный старец свое назначение в помпадуры:

«В 18.. году, июля 9-го дня, поздно вечером, сидели мы с Анной Ивановной в грустном унынии на квартире (жили мы тогда в приходе Пантелеймона, близ Соляного Городка, на хлебах у одной почтенной немки, платя за все по пятьдесят рублей на ассигнации в месяц – такова была в то время дешевизна в Петербурге, но и та, в сравнении с московскою, называлась дороговизною) и громко сетовали на неблагоклонность судьбы. Как вдруг раздается у дверей громкий и продолжительный звонок, и слышим, что кем-то произносится мое имя и чин действительного статского советника (тогда уж я был оным). Предчувствуя в судьбе своей счастливую перемену, наскоро запахиваю халат, выбегаю и вижу курьера, который говорит мне: „Ради Христа, ваше превосходительство, поскорее поспешите к его сиятельству, ибо вас сделали помпадуром!“ Забыв на минуту расстояние, разделявшее меня от сего доброго вестника, я несколько раз искренно облобызал его и, поручив доброй сопутнице моей жизни угостить его хорошим стаканом вина (с придачею красной бумажки), не поехал, а, скорей, полетел к князю. И действительно, был принят от его сиятельства с отменною ласкою. Поздравив меня с высоким саном и дозволив поцеловать себя в плечо (причем я, вследствие волнения чувств, так крепко нажимал губами, что даже князь это заметил), он сказал: „Я знаю, старик (я и тогда уже был оным), что ты смиренномудрен и предан, но главное, об чем я тебя прошу и даже приказываю, – это: обрати внимание на возрастающие успехи вольномыслия!“ С тех пор слова сии столь глубоко запечатлелись в моем сердце, что я и ныне, как живого, представляю себе этого сановника, высокого и статного мужчину, серьезно и важно предостерегающего меня против вольномыслия! Нечего и говорить, в каком я вышел от князя настроении; дождливая и довольно темная ночь показалась мне светлее радостного утра, а Невский проспект, через который пришлось мне проходить, – эдемом, в коем все приглашало меня к наслаждению. И действительно, я зашел в кофейную Амбиеля (в доме армянской церкви) и на двугривенный приобрел сладких пирожков (тогда двугривенный стоил в Петербурге восемьдесят копеек на ассигнации, в

Москве же ценность его доходила до рубля) и разделил их с доброю своею подругой. На другой день явился к нам откупщик и предложил свои услуги. И таким образом наше грустное уныние превратилось в веселую и невинную радость. Так совершился сей достопримечательнейший в жизни моей факт, коего подробности и доднесь запечатлены в моей памяти. Сначала я был назначен в Вятку, потом, постепенно возвышаясь, достиг, наконец, Саратова, где нахожусь и ныне, пребывая хотя и в отставке, но с полным пенсионом».

Или вот еще эпизод, изображающий собственно административную деятельность благодушного старца:

«Нередко случалось мне слышать от посторонних людей историю о том, как мы с генералом Горячкиным ловили червей в Нерехотском уезде; но всегда история эта передавалась в извращенном виде. Дело было так. В 18.. году, в сентябре, будучи уже костромским помпадуром, получил я от капитан-исправника донесение, что в Нерехотском уезде появился необыкновенной величины червяк, который поедает озимь, сию надежду будущего урожая, и что, несмотря на принятые полицейские меры, сей червь, как бы посмеиваясь над оными, продолжает свое истребительное дело. Делать нечего, как ни жаль было расставаться с доброю спутницей жизни и теплым гнездом, однако отправился. Приезжаю на место, требую, чтобы мне показали образцы зловредного насекомого – и что же вижу? Огромной величины травоядное, с вида точь-в-точь похожее на солитера! Подивившись, тут же составили план кампании и легли спать. На другой день, едва лишь встало солнце, как вдруг мне докладывают, что на границе соседней губернии ожидает меня генерал Горячкин, для совокупных действий по сему же делу, так как вредный тот червь производил свои опустошения и в смежности. Наскоро умываюсь, выхожу и вижу генерала, гарцующего на белом коне близ самой границы, но через оную не переступающего. Тогда, пригласив любезно доброго соседкушу в свою убогую хижину и заказав себе прекраснейшую уху из волжских стерлядей, начали мы толковать о предстоящих мерах. Но как ночь была проведена почти без сна, по случаю непрерывных трудов и совещаний, то вскоре мы заснули. Каково же было наше удивление, когда, проснувшись, вдруг узнали, что червь, как бы по мановению волшебства, вдруг исчез! Тогда, поевши ухи и настрого наказав обывателям, дабы они всячески озаботились, чтобы яйца червя остались без оплодотворения, мы расстались: я – в одну сторону, а ярославский соседкашка мой – в другую. Таким образом происходило сие достопамятное дело, стоившее мне немалых трудов и беспокойств».

Или вот, наконец, третий и последний отрывок:

«Однажды один председатель, слывший в обществе остроумцем (я в то время служил уже симбирским помпадуром), сказал в одном публичном месте: „Ежели бы я был помпадуром, то всегда ходил бы в колпаке!“ Узнав о сем через преданных людей и улучив удобную минуту, я, в свою очередь, при многолюдном собрании, сказал неосторожному остроумцу (весьма, впрочем, заботившемуся о соблюдении казенного интереса): „Ежели бы я был колпаком, то, наверное, вмещал бы в себе голову председателя!“ Он тотчас же понял, в кого направлена стрела, и закусил язык. Но с тех пор уже не повторял своей дерзкой замашки, и дружба наша более не прерывалась».

Кроме того, мне известно, что, независимо от мемуаров, благодушный старик имеет и другие, еще более серьезные занятия, которым посвящает вечерние досуги свои. А именно, он пишет различные административные руководства, порою же разрабатывает и посторонние философические вопросы.

Из административных его руководств мне известны следующие: «Три лекции о строгости» (план сего сочинения задуман и даже отчасти в исполнение приведен был еще во время административной деятельности старца, и вступительная (первая) лекция была читана в полном собрании гг. исправников и городничих; но за сие-то именно и был уволен наш добрый начальник от должности!!!), «О необходимости административного единогласия, как противоядия таковому ж многогласию», «Краткое рассуждение об усмирениях, с примерами», «О скорой губернаторской езде на почтовых», «О вреде, производимом

вице-губернаторами», «Об административном вездесущии и всеведении» И, наконец, «О благовидной администратора наружности».

Из сочинений философического содержания мне известны следующие: «О солнечных и лунных затмениях и о преимуществе первых над последними»; «Что, ежели бы я жил на необитаемом острове и имел собеседником лишь правителя канцелярии?» и, наконец, третье: «О неприметном для глаз течении времени».

Мы с Павлом Трофимычем не раз приступали к доброму старику, чтобы позволил опубликовать хоть один из этих трактатов, в которых философическая мудрость до такой степени сплетена с мудростью житейскою, что невозможно ничего разобрать; но всегда встречали упорный отказ.

– Нет, друзья! – отвечал нам незабвенный, – вот когда я умру – тащите все к Каткову! Никому, кроме Каткова! Хочу лечь рядом с стариком Вигелем!

Тем не менее (несмотря на строгость и горечь этого отказа) я и до сих пор не могу без благодарного умиления вспомнить о тех сладостных вечерах, которые мы проводили, слушая мастерское и одушевленное чтение нашего доброго, хотя и отставного начальника. Сидим мы, бывало, вчетвером: он, Анна Ивановна, Павел Трофимыч и я, в любимой его угловой комнате; в камине приятно тлеют дрова; в стороне, на столе, шипит самовар, желтеет только что сбитое сливочное масло, и радуют взоры румяные булки, а он звучным, отчетливым голосом читает:

«Необходимо, чтобы администратор имел наружность благородную. Он должен быть не тучен и не скареден, роста быть не огромного и не излишне малого, должен сохранять пропорциональность в частях тела и лицо иметь чистое, не обезображенное ни бородавками, ни тем более злокачественными сыпями. Сверх сего, должен иметь мундир».

Или:

«Прежде всего замечу, что истинный администратор никогда не должен действовать иначе, как чрез посредство мероприятий. Всякое его действие не есть действие, а есть мероприятие. Приветливый вид, благосклонный взгляд суть такие же меры внутренней политики, как и экзекуция. Обыватель всегда в чем-нибудь виноват»...

– Не хотите ли простокваши с сахаром? – прервет, бывало, милая Анна Ивановна, причем больше всего имеет в виду дать доброму старику время передохнуть.

«Обыватель *всегда* в чем-нибудь виноват, и потому всегда надлежит на порочную его волю воздействовать», – продолжает старик, и вдруг, прекращая чтение и отирая наворачнувшиеся на глазах слезы (с некоторого времени, и именно с выхода в отставку, он приобрел так называемый «слезный дар»), прибавляет:

– Друзья! отложимте чтение до завтра! сегодня я... взволнован!

О, сладкие минуты! о, милые, гостеприимные тени! где вы?

IV

Однако старик не утерпел. В один праздничный день стояли мы все в соборе, как вдруг он появился среди нас. Вошел он без помпы, однако ж и без ложной скромности, и направил шаги свои к левому клиросу, так как у правого стоял «новый». Легкий трепет прошел по толпе. Мы молча любовались изящною картиною противопоставления сих двух административных светил, из коих одно представляло полный жизни восход, а другое – прекрасный, тихо потухающий закат; но многие заметили, что «новый», при появлении благодушного старца, вздрогнул. Вероятно, воображению его, по этому поводу, представились те затруднения, которые могли возникнуть во время прикладыванья к кресту; вероятно, он опасался, что заматерелый старый администратор по прежней привычке подойдет первым, и, при этой мысли, правая нога его уже сделала машинально шаг вперед, чтобы отнюдь не допустить столь явного умаления власти. Но тонкий старик, появившись столь неожиданно среди нас, очевидно, имел иные цели, и потому, дабы достигнуть желаемого беспрепятственно и вместе с тем не поставить в затруднение преосвященного,

великодушно разрешил все сомнения, добровольно удалившись из церкви за минуту до окончания богослужения.

Оказалось, что целью приезда старика было благо и счастье той самой страны, на пользу которой он в свое время так много поревновал. Надо сказать правду, в последнее время в нем произошел значительный нравственный переворот; в особенности же спасительно в этом отношении повлияли действия «нового» по взысканию недоимок (а отчасти и по выбору помпадурши). Легко может быть даже, что, в виду этих мероприятий, наш незабвенный решился, не предупредив никого, сделать последний шаг, чтобы окончательно укрепить и наставить того, который в нашем интимном обществе продолжал еще слыть под именем «безрассудного молодого человека». И действительно, немедленно после обедни, целый город был свидетелем, как «старый» направился с визитом к «новому».

Что происходило во время этого свидания, длившегося с лишком два часа, – осталось для всех тайной. Несомненно, однако ж, что тут обсуждались интересы и мероприятия, немногим легковеснее тех, о коих была речь во время свидания при Тильзите. Очевидцы, стоявшие в это время в приемной комнате, утверждают одно: совещание происходило тихо и на каком-то никому не ведомом языке; причем восклицания перемежались вздохами, вздохи же перемежались восклицаниями. Сверх сего, нередко слышались слова «ваше превосходительство». Очевидно, что обеим сторонам было равно тяжело. Наконец администраторы разом вышли из кабинета, красные и до крайности взволнованные. Некоторое время они безмолвно стояли, взирая друг другу в глаза и пожимая руки; наконец «новый» стремительно обратился к своему правителю канцелярии и сказал:

– Сейчас же, мой любезный, пойдите и скажите, чтобы мостовую базарной площади немедленно прекратили! Прикажите также, чтобы полы и потолки в губернаторском доме настилали по-прежнему!

Затем, взаимно и любезно облобызавшись, оба светила расстались.

Вечером того же дня старик был счастлив необыкновенно. Он радовался, что ему опять удалось сделать доброе дело в пользу страны, которую он привык в душе считать родною, и, в ознаменование этой радости, ел необыкновенно много. С своей стороны, Анна Ивановна не могла не заметить этого чрезвычайного аппетита, и хотя не была скупа от природы, но сказала:

– Ах, Nicolas! ты сегодня так много кушаешь, что у тебя непременно заболит живот!

На что незабвенный ответил:

– Друг мой! не смущай моей радости! Сегодня я убедился, что наше дело находится в добрых и надежных руках!

В этот же вечер добрый старик прочитал нам несколько отрывков из вновь написанного им сочинения под названием «Увет молодому администратору», в коих меня особенно поразили следующие истинно вещие слова: «Юный! ежели ты думаешь, что наука сия легка, – разуверься в том! Самонадеянный! ежели ты мечтаешь все совершить с помощью одной необдуманности – оставь сии мечты и склони свое неопытное ухо увету старости и опытности! Перо сие, быть может, в последний раз...»

Когда он читал сии строки, мы заливались слезами.

Кто мог думать, что этот веселый вечер будет последним проблеском нашего счастья!

V

Вдруг старик начал хиреть. Многие уверяют, что хворость эта началась с того дня, как он посетил «нового», так как прямым последствием этого посещения была неумеренность в пище, вследствие которой сначала заболел живот, а затем... Но не стану упреждать событий и скажу только, что подобное толкование кажется мне поверхностным уже по тому одному, что невозможно допустить, чтобы опытные администраторы лишались жизни вследствие расстройства желудка. Я объясняю себе эту болезнь иначе, а именно тем нравственным переворотом, о котором говорено выше и который произошел в старике в последнее время.

Надо сказать правду, старик долго не одобрял действий «нового». Все эти распоряжения и мероприятия (таковы, например: замощение базарной площади, приказ о подвязывании колокольчиков при въезде в город и т. п.), которым с такою нерасчетливою горячностью предался на первых порах безрассудный молодой человек, казались ревнивому старику направленными лично против него. Он хмурился, нередко роптал, и хотя деликатность не позволяла ему стать во главе недовольных, тем не менее никто не мог сомневаться насчет его истинных чувств. В этом недовольстве уже заключалось известное положение, прямое и даже независимое, дававшее отставному администратору право критически относиться к действиям новой администрации, право негодовать, упрекать в неблагодарности и проч. В скором времени это грустное право обратилось даже в привычку и, незаметно для своего обладателя, поддерживало и питало его существование. Старик увидел себя центром, к которому устремились скептики и недовольные. Испытав на себе все последствия преждевременной отставки, он, как древле Кориолан, с горькою веселостью видел, как в любезном ему отечестве, на развалинах заведенного им порядка, водворяется анархия, то есть безначалие. И ежели бы у него под руками были вольски, то он, быть может, не усомнился бы даже прибегнуть к их помощи, лишь бы предписать условия новому Риму, утопающему в разврате и гордости. Одним словом, это была своего рода пища, пища не вполне здоровая, но не лишенная известной доли приятности и возбуждательности. И вдруг... рухнуло разом все это здание недовольства, упреков, критиканств и негодований! вдруг оказалось, что новый Рим вовсе не утопает в разврате безначалия и что даже Рима совсем никакого нет... Известия следуют за известиями с быстротою молнии, и всё известия самые благонадежные, самые благонамеренные! Весть об избрании помпадурши была первою в этом смысле; с нее старик задумался, и слово «молодец» впервые сорвалось с его языка в применении к «новому». Затем известие о сборе недоимок потрясло еще более; тут он положительно убедился, что «новый» совсем не тот фанфарон, каким его произвольно создало его воображение, но что это администратор действительный, употребляющий, где нужно, меры кротости, но не пренебрегающий и мерами строгости. Наконец, великодушная уступка, сделанная по вопросу о мостовых, dokonчила начатое и поразила старика до того, что он тотчас же объелся, и вот в этом (но только в этом!) смысле может быть признано справедливым мнение, что неумеренность в пище послужила косвенною причиною тех бедственных происшествий, которые случились впоследствии.

На другой день после описанного выше свидания старец еще бродил по комнате, но уже не снимал халата. Он особенно охотно беседовал в тот вечер о сокращении переписки, доказывая, что все позднейшие «катастрофы» ведут свое начало из этого зловредного источника.

– Сокращение переписки, – говорил он, – отняло у администрации ее жизненные соки. Лишенная радужной одежды, которая, в течение многих веков, скрывала ее формы от глаз нескромной толпы, администрация прибегала к «катастрофам», как к последнему средству, чтобы опериться. Правда, новая одежда явилась, но она оказалась с прорехами.

– Но неужели же, вашество, нет средств починить ее? – зывали мы с Павлом Трофимычем.

– Есть-с; средство это – вырвать корень со всеми его последствиями; но, – прибавил он, вздохнувши: – для такого подвига нонче слуг нет!

– Раненько, вашество, тяготы-то эти с себя снять изволили! – заикнулся было Павел Трофимыч.

– Что ж! Я послужить готов! – отвечал он и даже приободрился, но тут же почувствовал новый припадок в желудке и вышел.

В этот вечер он даже не писал мемуаров. Видя его в таком положении, мы упросили его прочитать еще несколько отрывков из сочинения «О благовидной администратора наружности»; но едва он успел прочесть: «Я знал одного тучного администратора, который притом отлично знал законы, но успеха не имел, потому что от тука, во множестве скопленного в его внутренностях, задыхался...», как почувствовал новый припадок в

желудке и уже в тот вечер не возвращался.

На следующий день он казался несколько бодрее, как вдруг приехал Павел Трофимыч и сообщил, что вчерашнего числа «новый» высек на пожаре купца (с горестью я должен сказать здесь, что эта новость была ложная, выдуманная с целью потешить больного). При этом известии благодушный старец вытянулся во весь рост.

– Моло... – проговорил он и вдруг ослабел и упал на диван.

На третий день он лежал в постели и бредил. Организм его, потрясенный предшествовавшими событиями, очевидно не мог вынести последнего удара. Но и в бреду он продолжал быть гражданином; он поднимал руки, он к кому-то обращался и молил спасти «нашу общую, бедную...». В редкие минуты, когда воспалительное состояние утихало, он рассуждал об анархии.

– Пуще всего, друзья, – обращался он к нам, – опасайтесь анархии, то есть безначалия. Как, с одной стороны, чиновность и начальстволюбие есть то естественное основание, из которого со временем прозябнет для вкушающего сладкий плод, так, с другой стороны, безначалие, как и самое сие слово о том свидетельствует, есть не что иное, как зловонный тук, из которого имеют произрасти одни зловредные волчцы. Посему, ежели кто вам скажет: идем и построим башню, касающуюся облак, то вы того человека бойтесь и даже представьте в полицию; ежели же кто скажет: идем, преклоним колена, то вы, того человека облобызав, за ним последуйте. Не боящиеся чинов оными награждены не будут; боящемуся же все дастся, и даже с мечами, хотя бы он и не бывал в сраженьях против неприятеля.

В одну из таких светлых минут доложили, что приехал «новый». Старик вдруг вспрянул и потребовал чистого белья. «Новый» вошел, потрясая плечами и гремя саблею. Он дружески подал больному руку, объявил, что сейчас лишь вернулся с усмирения, и заявил надежду, что здоровье почтеннейшего старца не только поправится, но, с Божиею помощью, получит дальнейшее развитие. Старик был, видимо, тронут и пожелал остаться с «новым» наедине.

Что происходило на этой второй и последней конференции двух административных светил – осталось тайною. Как ни прикладывали мы с Павлом Трофимычем глаза и уши к замочной скважине, но могли разобрать только одно: что старик увещевал «нового» быть твердым и не взирать. Сверх того, нам показалось, что «молодой человек» стал на колена у изголовья старца и старец его благословил. На этом моменте нас поймала Анна Ивановна и крепко-таки пожурив за нашу нескромность.

Через полчаса «молодой человек» вышел из спальни с красными от слез глазами: он чувствовал, что лишился друга и советника. Что же касается старика, то мы нашли его в такой степени спокойным, что он мог без помех продолжать свои наставления об анархии.

Увы! на другой день страшная весть поразила весь город...

Так потух этот административный светоч, столь долго удивлявший мир своею распорядительностью! Так закатилось это светило, не успевшее совершить и половину предначертанного ему круга!

Склонился долу спелый гроздий! склонился под бременем собственных доблестных подвигов и деяний! Пал старый бесстрашный боец!.. пал... жертвою сокращения переписки!

Старая помпадурша

I

Ни для кого внезапная отставка старого помпадура не была так обильна горькими последствиями, ни в чьем существовании не оставила она такой пустоты, как в существовании Надежды Петровны Бламанже. Исправники, городничие, советники, в ожидании нового помпадура, все-таки продолжали именоваться исправниками, городничими и советниками; она одна, в одно мгновение и навсегда, утратила и славу, и почести, и

величие... Были минуты, когда ей казалось, что она даже утратила свой пол.

– Главное, *ma chère*,³ несите свой крест с достоинством! – говорила приятельница ее, Ольга Семеновна Проходимцева, которая когда-то через нее пристроила своего мужа куда-то советником, – не забывайте, что на вас обращены глаза целого края!

Надежда Петровна вздыхала и мысленно сравнивала себя с Изабеллой Испанской. Что ей теперь «глаза целого края»! что в них, когда они устремлялись на нее лишь для измерения глубины ее горести! Утративши своего помпадур, она утратила все... даже способность быть патриоткою!..

Последние минуты расставания были особенно тяжелы для нее. По обыкновению, прощание происходило на первой от города станции, куда собрались самые преданные, чтобы проводить в дальнейший путь добрейшего из помпадуров. Закусили, выпили, поплакали; советник Проходимцев даже до того обмочился слезами, что старый помпадур только махнул рукою и сказал:

– Уведите! уведите его... он добрый!

Однако Надежда Петровна была сдержанна и даже довольно искусно притворилась веселою. Ее попросили спеть что-нибудь – она не отказалась; взяла гитару и пропела любимую помпадурову песню:

Шли три оне...

И только в ту минуту, когда пришлось выводить:

Ты, Матрена!

Ты, Матрена!

Не подвертывайся! —

голос ее как будто дрогнул...

Но когда доложили, что лошади поданы, когда старый помпадур начал укутываться и уже заносил руки, чтобы положить в уши канат, Надежда Петровна не выдержала. Она быстро сдернула с своих плеч пуховую косынку и, обвернув ею шею помпадур, вскрикнула... От этого крика проснулось эхо соседних лесов.

– *Nadine a ete sublime d'abnegation!*⁴ – говорила потом одна из присутствовавших на проводах дам. – Представьте себе, она всю дорогу ехала с открытой шеей и даже не хотела запахнуть салопа.

– *Et se cri!* – прибавила другая дама, – *se cri!*⁵ Это было какое-то вдохновение! это было просто что-то такое...

Как бы то ни было, но старый помпадур уехал, до такой степени уехал, что самый след его экипажа в ту же ночь занесло снегом. Надежда Петровна с ужасом помышляла о том, что ее с завтрашнего же дня начнут называть «старой помпадуршей».

Ничто так болезненно не действует на впечатлительные души, как перемены и утраты. Бывает, что даже просто стул вынесут из комнаты, и то ищешь глазами и чувствуешь, что чего-то недостает; представьте же себе, какое нравственное потрясение должно было произойти во всем организме Надежды Петровны, когда она убедилась, что у нее вынесли из квартиры целого помпадур! Долгое время она не могла освоиться с этою мыслью; долгое время ее как будто подманивало и подмывало. Руки ее машинально поднимались, чтоб

³ Моя дорогая (*фр.*) .

⁴ Надин была – верх самоотречения! (*фр.*)

⁵ А этот крик! этот крик! (*фр.*)

ущипнуть или потрепать кого-то по щеке; голова и весь корпус томно склонялись, чтоб отдохнуть на чьей-то груди. В ушах явственно раздавался чей-то голос; талия вздрагивала от мнимого прикосновения чьей-то руки; грудь волновалась и трепетала; губы полуоткрывались, дыхание становилось прерывистым и жгло. Одним словом, в ней как будто сам собой еще совершался тот процесс вчерашней жизни, когда счастье полным ключом било в ее жилах, когда не было ни одного дыхания, которое не интересовалось бы ею, не удивлялось бы ей, когда вокруг нее толпились необозримые стада робких поклонников, когда она, чтоб сдерживать их почтительные представления и заявления, была вынуждаема с томным самоотвержением говорить: «Нет, вы об этом не думайте! это все не мое! это все и навек принадлежит моему милому помпадуру!..»

– Душенька! не мучь ты себя! утри свои глазки! – успокаивал Надежду Петровну муж ее, надворный советник Бламанже, стоя перед ней на коленях, – поверь, такие испытания никогда без цели не посылаются! Со временем...

– Что «со временем»? уж не вы ли думаете заменить мне *его*? – с негодованием прерывала его Надежда Петровна.

– Друг мой! голубчик! полно! куда мне! Я говорю: со временем...

– Отстаньте! вы мерзки!

Бламанже удалялся в другую комнату и оттуда робко вслушивался, как вздыхала Надежда Петровна.

Бламанже был малый кроткий и нес звание «помпадуршина мужа» без нахальства и без особенной развязности, а так только, как будто был им чрезвычайно обрадован. Он успел снискать себе всеобщее уважение в городе тем, что не задирал носа и не гордился. Другой на его месте непременно стал бы и обрывать, и козырять, и финты-фанты выкидывать; он же не только ничего не выкидывал, но постоянно вел себя так, как бы его поздравляли с праздником.

– Как здоровье Надежды Петровны? – спрашивали его знакомые, встретившись на улице.

– Благодарю вас! – отвечал он любезно, – в ту минуту, как я оставил ее, у нее сидел...

И потом, вдруг скорчив таинственную мину, он прибавлял своему собеседнику на ухо:

– Опять повздорили! – или: – опять помирились! – смотря по тому, было ли известно собеседнику, что перед этим между помпадурами произошла любовная размолвка или любовное соглашение.

Обыватели не только ценили такую ровность характера, но даже усматривали в ней признаки доблести; да и нельзя было не ценить, потому что у всех был еще в свежей памяти муж предшествовавшей помпадурши, корнет Отлетаев, который не только разбивал по ночам винные погреба, но однажды голый и с штандартом в руках проскакал верхом через весь город.

Поэтому, когда уехал старый помпадур, Бламанже огорчился этим едва ли не более, нежели сама Надежда Петровна. Он чувствовал, что и в его существовании образовался какой-то пропуск; что ему хочется кому-то поклониться – и поклониться некому; хочется вовремя уйти из квартиры – и уйти не для чего; хочется сказать: «Как прикажете?» – и сказать нет повода. Просто не стало резона производить те действия, говорить те речи, которые производились и говорились в течение нескольких лет сряду и совокупность которых сама собой составила такую естественную и со всех сторон защищенную обстановку, что и жилось в ней как-то уютнее, и спалось словно мягче и безмятежнее.

С своей стороны, и Надежда Петровна, за все время своего помпадурствования, вела себя до такой степени умно и осторожно, что не только не повредила себе во мнении общества, но даже значительно выиграла. Правда, она гордилась своим положением, но гордилась только в том смысле, что она по совести выполняет ту роль благодетельной феи, которая выпала на ее долю по воле судьбы. Ни один исправник не уходил от нее без утешения, ни один частный пристав не миновал того, чтоб не прийти в восторг от ее ласкового обращения.

– Вот уж именно можно сказать: мухе зла не сделала! – восклицали хором эти ревностные исполнители начальственных предначертаний.

Всякому она как будто говорила: посмотри, какая я мягкая, славная, сочная, добрая! и как должен быть счастлив со мной твой начальник! Всякому она сумела сделать что-нибудь приятное. У одного крестила дочь или сына, у другого была посаженной матерью; у бесплодных ела пироги. Не сердилась даже, когда у нее целовали ручки и заводили при этом расслабляющий чувства разговор. Она сама не прочь была поврать, но всякий раз, когда вранье начинало принимать двусмысленный оборот, она, без всякой, впрочем, строптивости, прерывала разговор словами: «Нет! об этом вы, пожалуйста, уж забудьте! это не мое! это все принадлежит моему милому помпадур!» Одним словом, стояла на страже помпадура добра.

Очень понятно, что обыватели и это сумели оценить по достоинству. Вспоминали прежних помпадурш, какие они были халды и притязательные, как наушничали, сплетничали и даже истязали; как они увольняли и определяли, как отягощали налогами и экзекуциями... Передавали друг другу рассказы о корнетше Отлетаевой, которая однажды в своего помпадура апельсином на званом обеде пустила и даже не извинилась потом, и, сравнивая этот порывистый образ действия с благосклонно-мягкими, почти неслышными движениями Надежды Петровны, все в один голос вопияли:

– Мухи не обидела! Самому последнему становому – и тому не сделала зла!

Одним словом, по мере того как она утешала своего помпадура, общественное уважение к ней возрастало все больше и больше. Поэтому выход ее из помпадурш был не только сносный, но даже блестящий. Обыкновенно бывает так, что старую помпадуршу немедленно же начинают рвать на куски, то есть начинают не узнавать ее, делать в ее присутствии некоторые несовместные телодвижения, называть «душенькой», подсылать к ней извозчиков; тут же, напротив, все обошлось как нельзя приличнее. Целый город понял великость понесенной ею потери, и когда некоторый остроумец, увидев на другой день Надежду Петровну, одетую с ног до головы в черное, стоящую в церкви на коленях и сдержанно, но пламенно молящуюся, вздумал было сделать рукою какой-то вольный жест, то все общество протестовало против этого поступка тем, что тотчас же после обедни отправилось к ней с визитом.

– *Jamais, au grand jamais! même dans ses plus beaux jours, elle n'a été fêtée de la sorte!*⁶ – говорила статская советница Глумова, вспоминая об этом торжестве невинности.

– Просто даже как будто она не Бламанже, а какая-нибудь принцесса! – прибавлял от себя действительный статский советник Балбесов.

Даже кучера долгое время вспоминали, как господа ездили «Бламанжейшино горе утешать» – так велик был в этот день съезд экипажей перед ее домом.

– Вы, пожалуйста, душечка, к нам по-прежнему! – убеждала Надежду Петровну предводительша Веденева.

– Вы знаете, как мы были привязаны к тому, что для вас так дорого! – прибавляла советница Прохвостова.

– Вы знаете, как мы ценим, как мы понимаем! – перебивала статская советница Глумова.

– *Mais venez donc dîner, chère... sans ceremonies!*⁷ – благосклонно упрашивала действительная статская советница Балбесова.

– И чем чаще-с, тем лучше-с! – присовокуплял действительный статский советник Балбесов, поглядывая на помпадуршу масляными глазами, – горе ваше, Надежда Петровна,

⁶ Никогда, положительно никогда, даже в самые ее счастливые времена, ее не приветствовали таким образом! (*фр.*)

⁷ Приходите же обедать, дорогая... без церемоний! (*фр.*)

большое-с; но, смею думать, не без надежды на уврачевание-с.

Немало способствовало такому благополучному исходу еще и то, что старый помпадур был один из тех, которые зажигают неугасимые огни в благодарных сердцах обывателей тем, что принимают по табельным дням, не манкируют званых обедов и вечеров, своевременно определяют и увольняют исправников и с ангельским терпением подписывают подаваемые им бумаги. Припоминали, как предшествовавшие помпадуры швыряли и даже топтали ногами бумаги, как они слонялись по присутственным местам с пеной у рта, как хлопали исправников по животу, прибавляя: – что! много тут погребено всяких курочек да поросяточек! как они оставляли городничих без определения, дондеже не восчувствуют, как невежничали на званых обедах... и не могли не удивляться кротости и обходительности нового (увы! теперь уже отставного!) помпадура. А так как и он, поначалу, оказывал некоторые топтательные поползновения и однажды даже, рассердившись на губернское правление, приказал всем членам его умереть, то не без основания догадывались, что перемена, в нем совершившаяся, произошла единственно благодаря благодетельному влиянию Надежды Петровны.

– Нет, вы подумайте, сколько надо было самоотвержения, чтоб укротить такого зверя! – говорили одни.

– Ведь она, можно сказать, всякую его выходку на своем теле приняла! – утверждали другие.

– Да-с, это искусство не маленькое! Быть ввержену в одну клетку с зверем – и не проштрафиться! – прибавляли третьи.

И таким образом, и старый помпадур, и сама Надежда Петровна, и даже надворный советник Бламанже – все действовало заодно, все способствовало, чтобы привязать к ней сердца обывателей. Так что, когда старый помпадур уехал, то она очутилась совсем не в том ложном положении, какое обыкновенно становится уделом всех вообще уволенных от должности помпадури, а просто явилась интересною жертвою жестокой административной необходимости. Одно только казалось ей странным: что в ее существовании вдруг как будто некто провел черту и сказал при этом: «Отныне быть тебе по-прежнему девицей!»

Однако, как ни велика была всеобщая симпатия, Надежда Петровна не могла не припоминать. Прошедшее вставало перед нею, осязательное, живое и ясное; оно шло за ней по пятам, жгло ее щеки, теснило грудь, закипало в крови. Она не могла взглянуть на себя в зеркало без того, чтобы везде... везде не увидеть следов помпадура!

– Противный ты, помпадурушка! нашалил и уехал! – говорила она, томно опускаясь на кушетку, а слезы так и сыпались крупными алмазами на пылающие щеки.

Надворный советник Бламанже обыкновенно ловил такие минуты на лету и неслышно, словно у него были бархатные ноги, подползал к кушетке.

– Друг мой! – начинал он, – Бог милостив! Со временем...

– Отстаньте! вы мне мерзки! все противно! все мерзко! все отвратительно! – кричала она на него и нередко даже разбивала при этом какую-нибудь безделицу.

Прежде всего ей припоминались первые, медовые дни их знакомства. Что она пленила его – в том ничего не было удивительного. Это была одна из тех роскошных женщин, мимо которых ни один человек, на заставах команду имеющий, не может пройти без содрогания. В особенности же раздражительно действовала ее походка, и когда она, неся поясницу на отлете, не шла, а словно устремлялась по улице, то помпадур, сам того не замечая, начинал подпрыгивать. Многие пробовали устоять против одуряющего действия этой походки, но не устоял никто. Однажды управляющий акцизными сборами даже пари подержал, что устоит, но как только поравнялся с очаровательницей, то вдруг до такой степени взвизгнул, что живший неподалеку мещанин Полотебнов сказал жене: «А что, Мариша, никак в лесу заяц песню запел!» В этом положении застал его старый помпадур.

– Вы, государь мой, в таких летах, что можете, кажется, сами понимать, что визжать на улице неприлично! – сказал он ему строго.

Но управляющий даже не извинился, а продолжал лопотать языком что-то невнятное и

указывал рукой на удаляющуюся Надежду Петровну.

С тех пор все пошло у них как по маслу.

Помпадур начал с того, что обласкал надворного советника Бламанже. Потом стал беспрерывно прохаживаться под окнами дома, в котором жила Надежда Петровна, и напевать: «Jeune fille aux yeux noirs».⁸ Напевал он этот романс то грустным фальцетом, то подражая звуку трубы, причем фальшивил неупустительно. Весь город заметил нелепое помпадурово шатанье и с тревожным волнением ожидал, чем оно кончится. Надежда Петровна тоже что-то предчувствовала и, завидев из окна влюбленного помпадура, смеялась тем тихим, счастливым смехом, каким смеются маленькие дети, когда у них слегка пощекотят животик. Наконец в этом деле приняла участие Ольга Семеновна Проходимцева...

Губерния на этот счет очень услужлива. Когда заметит, что помпадур в охоте, то сейчас же со всех сторон так и посыпаются на него всякие благодатные случайности: и нечаянные прогулки в загородном саду, и нечаянные встречи в доме какой-нибудь гостеприимной хозяйки, и нечаянные столкновения за кулисами во время благородного спектакля. Одним словом, нет такого живого дыхания, которое не послало бы своего отвратительного пожелания, которое не подействовало бы каким-нибудь омерзительным движением успеху сего омерзительного предприятия.

Так было и тут. Помпадур встречался с Надеждой Петровной у Проходимцевой, и встречался всегда случайно. Сначала он все пел: «Jeune fille aux yeux noirs» – и объяснял, что музыка этого романса была любимым церемониальным маршем в его полку. Иногда, впрочем, для перемены, принимался рассматривать лежавшие на столе картинки и бормотал себе по-дурацки под нос:

– Неприступная!

– Про кого вы там еще шепчете? – спрашивала его Надежда Петровна.

– Небожительница!

О, ежели бы у него был хвост, она, наверное, увидела бы, как он вилял им в это время!

Долго, однако ж, она не поддавалась обаянию его любезности; по временам случалось даже так, что он затынет:

Des chevaliers ainsi m'ont exprime leur flamme...⁹

А она в ответ:

Et moi, j'ai refusé l'offre des chevaliers...¹⁰

И с такой усмешкой посмотрит на него, что он вдруг, словно обожженный, переменит материю и затынет: «T'en souviens-tu?»¹¹

– Что это вы вдруг какую похоронную? – спросит Ольга Семеновна.

– Что ж делать-с? Вот Надежде Петровне не имеем счастья нравиться! – ответит он и как-то так уморительно надует губы, что Надежде Петровне так вот и хочется попробовать, какой они издадут звук, если нечаянно хлопнуть по ним пальчиком.

Но так как никто своей судьбы не избежит, то и для них настала решительная минута.

⁸ «Черноокая девушка» (фр.) .

⁹ Так рыцари выражали мне свою страсть... (фр.)

¹⁰ А я, я отказалась от предложений рыцарей... (фр.)

¹¹ «Вспоминаешь ли ты?» (фр.)

Однажды – это было осенним вечером – помпадур, по обыкновению, пришел к Проходимцевой и, по обыкновению же, застал там Надежду Петровну. В этот раз нервы у ней были как-то особенно впечатлительны.

Jeune fille aux yeux noirs! tu règues sur mon âme!¹² —

затянул помпадур. Надежда Петровна вполголоса ему вторила:

Et moi, j'ai refusé...

– Ах, нет! ах, нет! не пойте этого! не смейте петь! – как-то нервически вскрикнула Надежда Петровна, как будто хотела заплакать.

– Вы... ты...

Сердца их зажглись.

Вспоминала об этом Надежда Петровна в теперешнем своем уединении, вспоминала, как после этого она приехала домой, без всякой причины бегала и кружилась по комнатам, как Бламанже ползал по полу и целовал ее руки; вспоминала... и сердце ее вотще зажигалось, и по щекам текли горькие-горькие слезы...

– Какой он, однако ж, тогда глупенький был! – говорила она, – и как он смешно глазами вертел! как он старался рулады выделять! как будто я и без того не понимала, к чему эти рулады клонятся!

От одного воспоминания мысль ее невольно переходила к другому.

Однажды у Проходимцевой состоялись живые картины. Были только *свои*. Он представлял Иакова, она – Рахиль. Она держала в руках наклоненную амфору, складки ее туники спускались на груди и как-то случайно расстроились... *Он* протягивал губы («и как он уморительно их протягивал... глупушка мой!» – думалось ей)...

– Эх, Надежда Петровна! кабы вы меня таким манером попоили! – сказал ей тогда действительный статский советник Балбесов; но она сделала вид, что не слышит, и даже не пожаловалась *ему*.

Почему она не пожаловалась? А потому, что он однажды сказал ей:

– Ты, Наденька, если будут к тебе приставать, только скажи! я сейчас его на тележку – и фюить!

Она же не только не добивалась ничего подобного, но желала одного: чтобы все на нее смотрели и радовались.

Потом, однажды – было уж очень-очень поздно – *он* расшалился и вдруг сказал ей:

– Наденька! какое, однако ж, у тебя тело, так и тает!

Потом... они были однажды в губернии... *он* – по делам, она – случайно... Их пригласил предводитель обедать... Беседка... сад... поет соловей... вддали ходит чиновник особых поручений и курит сигару...

Все это так и металось в глаза, так и вставало перед ней, как живое! И, что всего важнее: по мере того как она утешала своего друга, уважение к ней все более и более возрастало! Никто даже не завидовал! все знали, что это так есть, так и быть должно... А теперь? что она такое теперь? *Старая* помпадурша! разве это положение? разве это пост?

– Ах, где-то он теперь, глупушка мой?!

Надежда Петровна томилась и изнывала. Она видела, что общество благосклонно к ней по-прежнему, что и полиция нимало не утратила своей предупредительности, но это ее не радовало и даже как будто огорчало. Всякий новый зов на обед или вечер напоминал ей о прошедшем, о том недавнем прошедшем, когда приглашения приходили естественно, а не из сожаления или какой-то искусственно вызванной благосклонности. Правда, у нее был друг –

¹² Черноокая девушка! ты царишь в моей душе! (*фр.*)

Ольга Семеновна Проходимцева...

С этим другом она запиралась один на один и вспоминала. Она даже сама удивлялась, какой неисчерпаемый источник подробностей открывался перед нею всякий раз, как она принималась припоминать.

– Вот какой этот помпадурушка глупенький! сколько он нашалил! – говорила она Ольге Семеновне и вновь отыскивала какую-нибудь еще не рассказанную подробность и повествовала об ней своему другу.

От остальных знакомых она почти отказалась, а действительному статскому советнику Балбесову даже напрямки сказала, чтобы он и не думал, и что хотя помпадур уехал, но она по-прежнему принадлежит одному *ему* или, лучше сказать, благодарному воспоминанию об *нем*. Это до такой степени ожесточило Балбесова, что он прозвал Надежду Петровну «ходячею панихидой по помпадуре»; но и за всем тем успеха не имел.

– Ведь вот, сударь, какое этому помпадур у счастье! – говорил он, – ведь, кажется, только и хорошего в нем было, что на обезьяну похож, а такую привязанность к себе внушил!

Большую часть времени она сидела перед портретом старого помпадура и все вспоминала, все вспоминала. Случалось иногда, что люди особенно преданные успевали-таки проникать в ее уединение и уговаривали ее принять участие в каком-нибудь губернском увеселении. Но она на все эти уговоры отвечала презрительною улыбкой. Наконец это сочтено было даже опасным. Попробовали призвать на совет надворного советника Бламанже и заставили его еще раз стать перед ней на колени.

– Голубчик! не от себя, а от имени целого общества... – умолял злосчастный Бламанже, ползая на полу.

– Вы с ума сошли! вы, кажется, забыли, *кто* меня любил! – отвечала она, величественно указывая на портрет старого помпадура.

А помпадур, словно живой, выглядывал из рамок и, казалось, одобрял ее решение.

И вот, однажды утром, Надежда Петровна едва успела встать с постельки, как увидела, что на улице происходит какое-то необыкновенное смятение. Как ни поглощена была ее мысль воспоминаниями прошлого, но сердце ее невольно вздрогнуло и заколотилось в груди.

– Поздравляю, душенька! новый помпадур приехал! – весело сказал вошедший в это время надворный советник Бламанже.

II

Между тем уважение к Надежде Петровне все росло и росло. Купцы открыто говорили, что, «если бы не она, наша матушка, *он* бы, как свят Бог, и нас всех, да и прах-то наш по ветру развеял!». Дворяне и чиновники выводили ее чуть не по прямой линии от Олега Рязанского. Полициймейстер настолько встревожился этими слухами, что, несмотря на то что был обязан своим возвышением единственно Надежде Петровне, счел долгом доложить об них новому помпадур.

– Скажите бабе, чтобы она унялась, а не то... фюить! – отвечал новый помпадур и как-то самонадеянно лихо щелкнул при этом пальцами.

Новый помпадур был малый молодой и совсем отчаянный. Он не знал ни наук, ни искусств, и до такой степени мало уважал так называемых идеологов, что даже из Поль де Кока и прочих классиков прочитал только избраннейшие места. Любимейшие его выражения были «фюить!» и «куда Макар телят не гонял!».

Тем не менее, когда он объехал губернскую интеллигенцию, то, несмотря на свою безнадежность, понял, что Надежда Петровна составляет своего рода силу, с которой не считаться было бы неблагоприятно.

– Поверьте, mon cher,¹³ – открывался он одному из своих приближенных, – эта Бламанже... это своего рода московская пресса! Столь же податлива... и столь же тверда! Но что она, во всяком случае, волнует общественное мнение – это так верно, как дважды два!

Но что всего более волновало его, так это то, что он еще ничем не успел провиниться, как уже встретил противодействие.

– Помилуйте! я приехал сюда... и, кроме открытого сердца... клянусь Богом, ничего! – говорил он, – и что ж на первых же порах!

Однако мало-помалу любопытство взяло верх, и однажды, когда полицеймейстер явился утром, по обыкновению, то новый помпадур не выдержал.

– А что... эта старая... какова? – спросил он.

– Птичка-с!

– Гм... вы понимаете... я... Но!..

– Точно так-с.

– Ну да!

У полицеймейстера сперло в зобу дыхание от радости. Он прежде всего был человек доброжелательный и не мог не болеть сердцем при виде каких бы то ни было междоусобий и неурядиц. Поэтому он немедленно от помпадура поскакал к Надежде Петровне и застал ее сидящую в унынии перед портретом старого помпадура. У ног ее ползал Бламанже.

– Где-то ты теперь, глупушка! Нашалил – и уехал! – рассуждала она сама с собою.

Однако, когда в передней послышалось звяканье полицеймейстерской сабли, она не могла не вздрогнуть. Так вздрагивает старый боевой конь, слышав призывной звук трубы. Надо сказать, впрочем, что к Надежде Петровне всякий и во всякое время мог входить без доклада и требовать себе водки и закусить.

– Принеси ты мне, Семен, этой рыбки – знаешь? – командовал полицеймейстер в передней. – А вы, Надежда Петровна, все еще в слезах! Матушка! голубушка! да что ж это такое? – продолжал он, входя в комнату, – ну, поплакали! ну и будет! глазки-то, глазки-то зачем же портить!

– Да-с, вот не могу убедить! – вступился Бламанже.

– До тех пор, покуда... – сказала Надежда Петровна, и голос ее оборвался.

– Ну да, есть резон! а вы бы, сударыня, и об нас, грешных, тоже подумали!

– Что ж я могу сделать! теперь моя роль...

Надежда Петровна поникла головой.

– А я вот что вам доложу, сударыня! – настойчиво продолжал полицеймейстер, – вместо того чтобы перед этим, прости Господи, идолом изнывать, вам бы, сударыня, бразды-с... вот что, сударыня!

Но Надежда Петровна по-прежнему смотрела в упор на старого помпадура.

– Я, сударыня, еще сегодня имел счастье докладывать...

Полицеймейстер вздохнул.

– Что же? – вступился Бламанже.

– А что ж, говорят, коли оне хотят противодействовать, так и пускай!.. Нехорошо это, Надежда Петровна! Бог с вас за это спросит! так-то-с!

Но она все молчала и, казалось, в глазах смотрящего на нее помпадур почерпала все большую и большую душевную твердость.

«Нашалил – и уехал!» – думалось ей.

– Вот то-то оно и есть-с! – продолжал полицеймейстер, как бы предвосхищая ее мысль, – они-то уехали, а мы вот тут отдувайся-с!

– Я постоянно ей это твержу! – оправдывался Бламанже, – и не я один – все общество!

Но Надежда Петровна уже не слушала более. Она вскочила с места и, как раненая тигрица, устремилась на полицеймейстера.

¹³ Мой дорогой (*фр.*) .

– Так вы забыли, *кто* меня любил? – вскрикнула она на него, – а я... я помню! я все помню!

И с этим словом она величественно удалилась из комнаты.

Попытки, однако, этим не ограничились. Чаше и чаще начали навещать Надежду Петровну городские дамы, и всякая непременно заводила речь об новом помпадуре. Некоторые говорили даже, что он начинает приударять.

– Как жаль, что около него нет... *vous savez?*¹⁴ – прибавляла при этом какая-нибудь сердобольная дамочка.

– Нет, не знаю! – отвечала Надежда Петровна с изумительным равнодушием.

– Ну, этого... как это лучше выразить... руководящего...

– А!

Наступила эпоха обедов и балов. Надежда Петровна все крепилась и не спускала глаз с портрета старого помпадура. В городе стали рассказывать друг другу по секрету, что она надела на себя вериги.

– *Mais, enfin, cela commence a devenir ridicule, ma chère!*¹⁵ – говорили ей подруги, приглашая принять участие в общественных торжествах.

– Вы не знаете, *mesdames, кто* меня любил! – был ее обыкновенный ответ на эти приставанья, – а я... я знаю! О! я очень-очень много знаю!

– Все это так... *c'est sublime, il n'y a rien a dire!*¹⁶ но все же... всему есть наконец мера!

– Вот так-то я с ней каждый божий день бьюсь! – вступался при этом надворный советник Бламанже, который в последнее время истаял как свечка.

В сущности, однако ж, сердце ее мало-помалу подавалось. Она начинала уже анализировать физиономию старого помпадура и находила, что у него нос...

– Ах, *ma chère,*¹⁷ посмотрите, какой у него уморительный нос! – говорила она Ольге Семеновне.

– Я удивляюсь, как вы прежде этого не заметили, – отвечала госпожа Проходимцева, которая и с своей стороны употребляла все усилия, чтобы заставить Надежду Петровну позабыть о прошедшем. – Да и губы-то не больно мудрящие!

И вот, однажды, она рискнула даже взглянуть в окошко... О, ужас! она увидела нового помпадура, который шел по улице, мурлыкая себе под нос:

L'amour – qu'est que c'est que ça, mamsele?

L'amour – qu'est que c'est que ça?¹⁸

Он был так хорош, что она невольно загляделась. Брюнет, небольшого роста, но чрезвычайно пропорционально сложенный, он, казалось, был создан для того, чтобы повелевать и очаровывать. На левой щеке его была брошена небольшая бородавка (она все заметила!), а над губой прихотливо вился темный ус, который он по временам прикусывал. Красота его была совсем другого рода, нежели красота старого помпадура. У того и нос и губы были такие мягкие, такие уморительные, что так и позывало как-нибудь их скомкать, смять, а потом, пожалуй, и поцеловать. Но не за красоту поцеловать, а именно за

¹⁴ Знаете? (*фр.*)

¹⁵ Но это, наконец, становится смешным, моя милая! (*фр.*)

¹⁶ Это возвышенно, нечего и говорить! (*фр.*)

¹⁷ Моя дорогая (*фр.*) .

¹⁸ Любовь, что это такое, мадемуазель? (*фр.*)

уморительность. У этого, напротив, все было крепко, все говорило о неуклонности, неупустительности и натиске.

Но вот он приближается больше и больше: вот он уже поравнялся с домом Надежды Петровны; походка его колеблется, колеблется... вот он остановился... он взялся за ручку звонка... Надежда Петровна, вся смущенная и трепещущая, устремила под защиту портрета старого помпадура. Бламанже еще раз доказал свою понятливость, стремглав бросившись вон из дома.

– Вы меня извините, милая Надежда Петровна, – говорил «он» через минуту своим вкрадчивым голосом, – я до такой степени уважал вашу горесть, что не смел даже подумать потревожить вас раньше своим посещением. Но прошу вас верить, что мое нетерпение... те лестные отзывы... если б я мог слушаться только голоса моего сердца...

Но у Надежды Петровны стучало в ушах. Она уставилась глазами в портрет, и ей показалось, что старый помпадур сверкал на нее оттуда глазами.

– Поверьте, – продолжал звучать тот же медоточивый голос, – что я тем не менее отнюдь не оставался безучастным зрителем вашего горя. Господин полициеймейстер, конечно, не откажется удостоверить вас, что я неоднократно приказывал и даже настаивал, чтобы вам предоставлены были все способы... словом, все, что находится в моей власти...

Надежда Петровна сидела по-прежнему, не шевелясь, словно с ней происходил какой-то кошмар.

– Однако мне очень обидно, – гудел помпадур, – скажу больше... мне даже больно, что вы... как будто из-за меня... лишаете общество, так сказать, лучшего его украшения! Конечно, я... мои достоинства... Я не могу похвалиться опытностью...

– Нет! вас хвалят! – промолвила Надежда Петровна, почти не сознавая сама, что говорит.

– Общество слишком ко мне снисходительно! Конечно, все, что от меня зависит... я готов жертвовать жизнью... но, во всяком случае, милая Надежда Петровна, вы мне позвольте уйти с приятною мыслью... или, лучше сказать, с надеждою... что вы не захотите меня огорчить, лишая общество, так сказать, его лучшего украшения!

– Я-с... если прикажете-с! – отвечала она с прежнею бессознательностью.

– Не приказываю-с, но прошу!

Он взял ее руку и поцеловал.

– Это, кажется, портрет моего предместника? – спросил он.

– Да-с; это он-с.

– Как счастлив он был в своих привязанностях! и как много, как много утратил с отъездом отсюда!

Глаза помпадура становились масляными; речи принимали тенденциозный оттенок; но Надежда Петровна все еще не выходила из своего оцепенения.

– Да-с, он был счастлив-с, – промолвила она, сама удивляясь, отчего язык ее говорит только одни глупости.

– Извините, я больше не смею утруждать вас своим присутствием, но позволяю себе думать, что уношу с собою приятною надежду, что отныне все недоразумения между нами кончены, и вы... вы не лишите общество его... так сказать, лучшего украшения! – сказал он наконец, поднимаясь с дивана и вновь целуя ручку хозяйки.

По уходе его Надежда Петровна некоторое время стояла в остолбенении. Ей казалось, что она выслушала какую-то неуклюжую канцелярскую бумагу, которой смысл был для нее еще не совсем ясен, но на которую необходимо во что бы ни стало дать объяснение. Наконец, когда она очнулась, то первым ее движением было схватить портрет старого помпадура.

– Помпадурушка! глупушка мой! Куда ж ты уехал! что ты со мной сделал! – вскрикнула она, как бы предчувствуя, что в судьбе старого помпадура должен произойти решительный переворот.

III

Дни шли за днями. В голове Надежды Петровны все так перепуталось, что она не могла уже отличить «jeune fille aux yeux noirs» от «l'amour qu'est que c'est que ça». Она знала наверное, что то и другое пел какой-то помпадур, но какой именно – доподлинно определить не могла. С своей стороны, помпадур горячился, тосковал и впадал в административные ошибки.

Мало-помалу затворническая жизнь прискучила, и Надежда Петровна начала выезжать. Тем не менее портрет старого помпадура все еще стоял на прежнем месте, и когда она уезжала на бал, то всякий раз останавливалась перед ним на несколько минут, во всем сиянии бального туалета и красоты, чтобы, как она выражалась, «не уехать, не показавшись своему глупушке». Балы следовали за балами, обеды за обедами, и на каждом из них она неизбежно встречала нового помпадура, который так и пожирал ее глазами. Наконец она стала замечать, что между ним и его предместником существует какое-то странное сходство. Долго она не могла определить, в чем состоит это сходство, пока наконец не догадалась, что они оба «глупушки». С тех пор «показывание» себя перед портретом старого помпадура сделалось уже пустою формальностью.

Где бы она ни была, куда бы ни приехала, с кем бы ни заговорила, везде и от всех слышала только одно: хвалу новому помпадуру. Полицеймейстер хвалил в нем благородство души, правитель канцелярии – мудрость, исправник – стремительность и натиск.

– Вы, Надежда Петровна, что думаете? – говорил исправник, – вы, может быть, думаете, что он там на балах или на обедах... что он пустяками какими-нибудь занимается... на плечи наших барынь облизывается?... Нет-с! он мероприятие обдумывает! Он уж у нас такой! он шагу не может ступить, чтобы чего-нибудь не решить!

– Так-то так, – задумчиво отвечала Надежда Петровна, – да боюсь я...

– Чего же вы боитесь? вы, может быть, думаете, что он на руку тяжел? Напрасно-с! он у нас вот как: мухе зла не сделает! вот он у нас каков!

Заволновалась и добрая старушка Проходимцева, про которую в городе говорили, что она минуты не может прожить, чтобы не услужить.

Но помпадур был робок, что, впрочем, отчасти объяснялось уже тем, что в самом формуляре его было отмечено, что он не был в походах. Он легко обдумывал мероприятия, но чуть только выходил на арену практической деятельности, оказывался слабым и вялым. Все его действия относительно Надежды Петровны были нерешительны и даже просто глупы. Так, например, однажды, на каком-то званом обеде, он, в ее глазах, похитил со стола грушу, положил в карман и после обеда, подавая ее Надежде Петровне, каким-то отчаянным голосом сказал:

– Кушайте!

– На что мне? – изумилась Надежда Петровна.

– Так... это так! – почти закричал он, как будто воровство груши терзало его сердце. И вслед за тем как-то так глупо заржал, что старая помпадурша не могла не подумать: «Господи! да какой же он, однако, глупушка!»

В другой раз, на балу, он долгое время стоял молча подле нее и вдруг проглаголал:

– Как бы я желал, чтобы в вашем доме случился пожар!

– На что ж это вам? – изумилась Надежда Петровна.

– Так! Я бы... я бы собственноручно вас вынес из пламени!

В третий раз он ее спросил:

– Вы когда-нибудь целуете вашего Бламанже?

– Зачем вам?

– Хочу знать!

– Не слишком ли вы любопытны?

– Хочу знать!

– Н-не... иногда...

– Отлично! а знаете ли вы, что ваш Бламанже на скорохода похож?

В четвертый раз он накинулся на Бламанже и начал его целовать.

– Что вы делаете? – испугалась Надежда Петровна.

– Целую.

– Да перестаньте же! разве не видите, что он весь посинел?

– Целую! – повторял он, обнаруживая какое-то неестественное ожесточение.

Вообще действия его были не только нерешительны, но и загадочны. Иногда он возьмет Надежду Петровну за руку, держит ее, гладит и вдруг как-то так нелепо рванет, что она даже вскрикнет; иногда вскочит со стула словно ужаленный, схватит фуражку и, не говоря ни слова, удерет в губернское правление. Одним словом, были все признаки; недоставало одного: словесности.

Надежде Петровне показалось, что его стесняет портрет старого помпадур! Его сняли со стола и повесили на стену. Но и оттуда он как будто бы примечал. Тогда надворный советник Бламанже предложил перенести его, как личного своего друга, в свою комнату. Надежда Петровна задумалась, вздохнула... и согласилась.

Не надо думать, однако, чтобы новый помпадур был человек холостой; нет, он был женат и имел детей; но жена его только и делала, что с утра до вечера ела печатные пряники. Это зрелище до такой степени истерзало его, что он с горя чуть-чуть не погрузился в чтение недоимочных реестров. Но и это занятие представляло слишком мало пищи для ума и сердца, чтобы наполнить помпадунову жизнь. Он стал ходить в губернское правление и тосковать.

Между тем зимний сезон окончился; наступил пост, пахло весной. Надежда Петровна чувствовала, как грудь ее млела и закипала. Чтобы уgomонить наплыв жизни, она по целым часам выстаивала перед открытою форточкой, вдыхая влажный воздух, и выхаживала десятки верст, бесстрашно проникая в самые глухие закоулки города. Усталая, полуразбитая возвращалась она домой, опускалась на кушетку и закрывала глаза. Тяжелая, беспокойная дремота на короткое время оковывала ее члены, и целые сотни помпадуров вереницею проходили перед ее умственными взорами. Тут были всякие: и с усами и без усов, и белокурые и брюнеты, и с бородавками и без бородавок, и высокоствольные и низкоствольные; но – увы! – между ними не было одного – не было нового помпадур! Что-то странное произошло с ним: он не только перестал прохаживаться под ее окнами, но даже как будто избегал встречи с нею. Так-таки вдруг и оборвал.

«Неужто ж он только того и добивался, чтоб расцеловать этого противного Бламанже?» – думалось иногда Надежде Петровне.

Дело состояло в том, что помпадур отчасти боролся с своею робостью, отчасти кокетничал. Он не меньше всякого другого ощущал на себе влияние весны, но, как все люди робкие и в то же время своевольные, хотел, чтобы Надежда Петровна сама повинилась перед ним. В ожидании этой минуты, он до такой степени усилил нежность к жене, что даже стал вместе с нею есть печатные пряники. Таким образом дни проходили за днями; Надежда Петровна тщетно ломала себе голову; публика ожидала в недоумении.

Публика эта разделилась на два лагеря. Часть ее, имея во главе полицеймейстера, решительно во всем обвиняла Надежду Петровну.

– Я все ей прощу! – гремел в клубе глава недовольных, – но одного простить не могу: зачем она истерзала благороднейшее в мире сердце!

Другая часть, напротив, оправдывала ее. Утверждали, что помпадур сам во всем виноват, что он сначала завлек благороднейшую в мире женщину, а потом, своею непростительною медлительностью, поставил ее в фальшивое положение.

– Чем в губернское правление-то шататься да пустяки на бобах разводить, лучше бы дело делать! – говорили защитники.

Как бы то ни было, но Надежда Петровна стала удостоверяться, что уважение к ней с каждым днем умалется. То вдруг, на каком-нибудь благотворительном концерте, угонят ее карету за тридевять земель; то кучера совсем напрасно в части высекут; то Бламанжею

скажут в глаза язвительнейшую колкость. Никогда ничего подобного прежде не бывало, и все эти маленькие неприятности тем сильнее язвили ее сердце, что старый помпадур избаловал ее в этом отношении до последней степени.

Наконец, посинели и разлились реки; в поле показалась первая молодая травка; в соседнем пруду затрещали лягушки, в соседней роще защелкал соловей. До Надежды Петровны стали доходить слухи, что у нее явилась соперница, какая-то татарская княгиня Уланбекова, которую недовольная партия нарочно выписала из Казанской губернии.

– Из-за чего же он со мной эту комедию играл? – спрашивала она себя, бегая в отчаянье по комнатам и вымещая на Бламанже свою досаду.

Однажды она, по обыкновению, утомляла себя ходьбою по городским улицам, как вдруг на углу одной из них столкнулась лицом к лицу с самим помпадуром. Он был обаятелен по-прежнему, хотя на его лице вскочило несколько прыщей.

– Вы что ж это перестали ко мне ходить? – спросила она его голосом, в котором слышались и укор, и строгость.

Помпадур растерялся и начал разводить на бобах какую-то канцелярскую чепуху.

– Как вы смеете не ходить ко мне? – наступала она на него, не слушая возражений.

Она была в неопisanном волнении; голос ее дрожал; на глазах блистали слезы. Эта женщина, всегда столь скромная, мягкая и даже слабая, вдруг дошла до такого исступления, что помпадур начал опасаться, чтоб с ней не сделалась на улице истерика.

– Знаю я! знаю я все, что вы делаете! – продолжала она, не помня себя от волнения, – вы около этой мерзкой татарки ухаживаете! Только смейте у меня не прийти сегодня к Ольге Семеновне!

Помпадур не сопротивлялся. Он понял, что участь его решена.

IV

Сердца их зажглись...

Но, как правдивый историк, я не могу скрыть, что новое помпадурство Надежды Петровны далеко не имело того кроткого характера, как первое. Напротив того, оно ознаменовалось несколькими жестокостями, которые, по мнению моему, были, по малой мере, бесполезны.

Во-первых, татарскую княгиню Уланбекову немедленно фюить! и водворили в городе Свяжске, при слиянии реки Свяги с Волгою.

Во-вторых, полицеймейстера удалили от должности, а прочих недовольных разослали в заточение по уездным городам.

В-третьих, помпадурову жену лишили последнего утешения: запретили есть печатные пряники.

В-четвертых, с Бламанжеем поступили до того скверно, что даже невозможно сказать...

«Здравствуй, милая, хорошая моя!»

Кому из петербургских обывателей не известен Дмитрий Павлыч Козелков? Товарищи и сверстники звали его Митей, Митенькой, Козликом и Козленком; старшие, завидевши его, улыбались, как будто бы у него был нос не в порядке или вообще в его физиономии замечалось нечто уморительное. Должность у Козелкова была не мудреная: выйти в двенадцать часов из дому в департамент, там потереться около столов и рассказать пару скандальных анекдотов, от трех до пяти погранить мостовую на Невском, потом обедать в долг у Дюссо, потом в Михайловский театр, потом... потом всюду, куда ни потянет Сережу, Сережку, Левушку, Петьку и прочих шалунов возрождающейся России. Вот и все. Козелков прожил таким образом с самого выхода из школы до тридцати лет и все продолжал быть Козленком и Митенькой, несмотря на то что по чину уж глядел в превосходительные. Старшие все-таки улыбались при его появлении и находили, что в его физиономии есть

что-то забавное, а сверстники нередко щелкали его по носу и на ходу спрашивали: «Что, Козлик, сегодня хватим?» – «Хватим», – отвечал Козлик и продолжал гранить тротуары на Невском проспекте, покуда не наступал час обедать в долг у Дюссо, и не обижался даже за получаемые в нос щелчки.

Но в тридцать лет Козелкова вдруг обуяла тоска. Перестал он рассказывать скандальные анекдоты, начал обижаться даваемыми ему в нос щелчками, и аккуратнее прежнего пустился ловить взоры начальников. Одним словом, обнаружил признаки некоторой гражданской зрелости.

– Митька! да что с тобой, шут ты гороховый? – спрашивали его сверстники.

– Mon cher! мне уж все надоело!

– Что надоело-то?

– Все эти Мальвины... Дюссо... одним словом, эта жизнь без цели, в которой тратятся лучшие наши силы!

– Повтори! повтори! как ты это сказал?

– Messieurs! Митенька говорит, что у него есть какие-то «лучшие» силы.

– Да разве в тебе, Козленок, что-нибудь есть, кроме золотушного худосочия?

И т. д. и т. д. Но Козлик был себе на уме и начал все чаще и чаще похаживать к своей тетушке, княжне Чепчеулидзево-Уланбековой, несмотря на то что она жила где-то на Песках и питалась одною кашицей. Ma tante Чепчеулидзева была фрейлиной в 1778 году, но, по старости, до такой степени перезабыла русскую историю, что даже однажды, начитавшись анекдотов г. Семевского, уверяла, будто бы она еще маленькую носила на руках блаженная памяти императрицу Елизавету Петровну.

– Красавица была! – шамкала старая девственница, – и бойкая какая! Однажды призывает графа Аракчеева, – или нет... кто бишь, Митя, при ней Аракчеевым-то был?

– Le général Münich, ma tante,¹⁹ – отвечал Митя наудачу.

– Ну, все равно. Призывает она его и говорит: граф Петр Андреич!..

Но, высказавши эти несколько слов, старуха уже утомлялась и засыпала. Потом, через несколько минут, опять просыпалась и начинала рассказывать:

– Ведь этот Данилыч-то из простых был! Ну да; покойница бабушка рассказывала, что она сама раз видела, как он к покойной великой княгине Софье Алексеевне... а как Хованский-то был хорош! Покойница царица Тамара сама говорила мне, что однажды на балу у Матрены Балк...

Одним словом, это была старуха бестолковая, к которой собственно и не стоило бы ездить, если б у нее не было друга в лице князя Оболдуй-Тараканова. Князь был камергером в то же самое время, когда княжна была фрейлиной; годами он был даже старше ее, но мог еще с грехом пополам ходить и называл княжну «ma chère enfant».²⁰ В то время, когда Козлику исполнилось тридцать лет, князь еще не совсем был сдан в архив, и потому, при помощи старых связей, мог, в случае надобности, оказать и протекцию.

Однажды вечером, когда старики уже досыта наговорились, Козлик не без волнения приступил к действительной цели своих посещений.

– Ma tante, – сказал он, – я хотел бы пристроиться.

– Что ж, мой друг, это доброе дело! Вот если б жива была покойница Машенька Гамильтон...

– Mais comme ill'a traitée, le barbare!²¹ – вставил от себя словцо старик князь.

– Pardon, ma tante, я не об этом говорю... Мне хотелось бы пристроиться, то есть место

¹⁹ Генерал Миних, тетушка (фр.) .

²⁰ Мое милое дитя (фр.) .

²¹ Но как он ее третировал, варвар! (фр.)

найти.

– Так что ж, мой друг! Я могу об этом государю написать! Козелковы всегда были в силе; это, мой друг, старинный дворянский дом! Однажды, блаженная памяти императрица Анна Леопольдовна...

– Ma tante, il ne s'agit pas de cela!²² нынче уж даже совсем не тот государь царствует, об котором вы говорите!

– Le gamin a raison!²³ мы с вами увлеклись, chère enfant! – произнес князь.

– Я хотел, ma tante, просить вас, чтоб вы замолвили за меня словечко князю, – опять начал Козелков.

– Для Козелковых, мой друг, все дороги открыты! Я помню, еще покойный князь Григорий Григорьевич говаривал...

– Извините меня, ma tante; все это было очень давно, а теперь хоть я и Козелков, но должен хлопотать!

– Le gamin a raison! – повторил князь.

– Если б вы взяли, князь, на себя труд сказать несколько слов вашему внуку...

– Вам, молодой человек, при дворе хочется место получить?

– Нет, я хотел бы в губернию...

– Гм... а в мое время молодые люди всё больше при дворе заискивали... В мое время молодые люди при дворе монимаску танцевали... вы помните, chère enfant?

Одним словом, с помощью ли ходатайства старого князя или ценою собственных усилий, но Козелков наконец назначен был в Семиозерскую губернию. Известие это произвело шумную радость в рядах его сверстников.

– Так это правда, шут ты гороховый, что тебя в Семиозерскую губернию назначили? – спрашивал один.

– А ну, представь-ка нам, как ты чиновников принимать будешь? – приставал другой.

– Messieurs! он маркёра Никиту губернским контролером сделает!

– Messieurs! он буфетчика Степана возьмет к себе в чиновники особых поручений!

– Подкачивать Митьку!

– И, подбросивши до потолка, уронить его на пол!

А Митенька слушал эти приветствия и втихомолку старался придать себе сколько возможно более степенную физиономию. Он приучил себя говорить басом, начал диспутировать об отвлеченных вопросах, каждый день ходил по департаментам и с большим прилежанием справлялся о том, какие следует иметь principes в различных случаях губернской административной деятельности.

Через несколько дней он появился в кругу своих товарищей уже совершенно обновленный.

– Mon cher, il faut avoir des principes pour administrer!²⁴ – серьезно убеждал он Левушку Погонина.

– Да что ж ты будешь администрировать-то, шут ты этакой?!

– Однако, mon cher, согласись сам, что есть вопросы, в которых можно идти и так и этак...

– Ну, ты и иди и так и этак!

– Я, с своей стороны, принял себе за правило: быть справедливым – и больше ничего!

Козелков сказал это так серьезно, что даже Никита-маркёр – и тот удивился.

– Посмотри, Митька, ведь даже Никита не может прийти в себя от твоего назначения! –

²² Не о том идет речь, тетушка! (фр.)

²³ Мальый прав! (фр.)

²⁴ Мой милый, надо иметь принципы, чтобы администрировать (фр.).

заметил Погонин, – Никита! говори, какие могут быть у Козленка принципы?

– Ихний принцип кушать и за кушанье денег не отдавать, – отвечал Никита, при громе общих рукоплесканий.

– Браво, Никита! И если он еще хоть один раз заикнется о принципах, то скажи Дюссо, чтоб не давал ему в долг обедать!

Разумеется, Митенька счел священным долгом явиться и к *ma tante*; но при этом вид его уже до того блистал красотой, что старуха совсем не узнала его.

– Господи! да никак это камер-юнкер Монс пришел! – сказала она и чуть-чуть не отправилась на тот свет от страха.

Старик-князь тоже принял его благосклонно и даже почтил наставлением.

– В наше время, молодой человек, – сказал он, – когда назначали на такие посты, то назначаемые преимущественно старались о соединении общества и потом уж вникали в дела...

– Я, князь, постараюсь.

– Я вами доволен, молодой человек, но не могу не сказать: прежде всего вы должны выбрать себе правителя канцелярии. Я помню: покойник Марк Константинович никогда бумаг не читал, но у него был правитель канцелярии: *une célébrité!*²⁵ Вся губерния знала его *comme un coquin fiéffé,*²⁶ но дела шли отлично!

На семиозерский мир назначение Козелкова подействовало каким-то ошеломляющим образом. Чиновники спрашивали себя, кто этот Козелков, и могли дать ответ, что это Козелков, Дмитрий Павлыч, – и больше ничего. Два советника казенной палаты чуть не поссорились между собою, рассуждая о том, будет ли Козелков дерзок на язык или же будет «мягко стлать, да жестко спать». Наконец, однако ж, губернский прокурор получил из Петербурга письмо, в котором писалось, что едет, дескать, к вам «Козелков – малый удивления достойный!» Прокурор до того разозлился на своего корреспондента за такое непростительно неясное определение, что тут же разорвал его письмо в клочки.

Но, в сущности, корреспондент был прав, ибо Козелков был именно «малый удивления достойный» – и ничего больше.

Тот, кто знал Козелкова в Петербурге, Козелкова, с мучительным беспокойством размышлявшего о том, что Дюссо во всякую минуту жизни может прекратить ему кредит, – тот, конечно, изумился бы, встретивши его в Семиозерске на первых порах административной его деятельности. Во-первых, там никто не называл его ни Митей, ни Митенькой, ни Козликом, ни Козленком, а звали все вашеством, и только немногие аристократы позволяли себе употреблять в разговоре его имя и отчество; во-вторых, в его наружности появилась сановитость и какая-то глянцевиная непроходимость; в-третьих, в голове его завелось целое гнездо принципов.

Тем не менее первое знакомство его с семиозерской публикой произвело на последнюю самое благоприятное впечатление. Один почтенный старец выразился об нем, что он «достолюбезный сын церкви»; жена губернского предводителя сказала: «Ничего, он очень мил, но, кажется, слишком серьезен»; вице-губернатор промышал что-то невнятное; градской голова удивился, что он «в таких молодых летах, а подит-кось!». Один губернский прокурор, как человек жёлчный, отозвался: «А что это наш Дмитрий-то Павлыч как будто на Митьку похож!» Одним словом, все, за исключением прокурора, нашли, что это молодой администратор вникательный и, кажется, с направлением.

С своей стороны, Митенька делал все, чтобы очаровать семиозерских сановников и расположить общественное мнение в свою пользу. Он с каждым губернным тузом

²⁵ Знаменитость! (*фр.*)

²⁶ Как отъявленного жулика (*фр.*) .

побеседовал отдельно, каждого расспросил о подробностях вверенной ему части и каждому любезно присовокупил, что он должен еще учиться и очень счастлив, что нашел таких опытных и достойных руководителей.

Разумеется, дело началось с губернского предводителя, и, надо сказать правду, это было дело самое щекотливое. Предводитель был малый суровый и бесцеремонный и на всех вообще «сатрапов» смотрел безразлично, то есть как на лиц, мешавших дворянству развиваться беспрепятственно. Он постоянно был в контре со всеми губернаторами; некоторых из них он называл «фофанами», других «прощельгами», всех вообще – «государевыми писарями». В особенности же негодовал он в тех случаях, когда ему, по делам службы, приходилось являться и вообще оказывать некоторую подчиненную аттенцию.

– Нет, да вы сообразите, – говорил он, выходя из себя, – каково мне, государеву дворянину, да к государеву писцу являться!

И когда ему замечали, что все эти лица точно такие же дворяне, как и он сам, он неизменно показывал в ответ фигу и приговаривал:

– Чтoб дворянин пошел продавать себя за двугривенный – да это Боже упаси! Значит, вы, сударь, не знаете, что русский дворянин служит своему государю даром, что дворянское, сударь, дело – не кляузничать, а служить, что писаря, сударь, конечно, необходимы, однако и у меня в депутатском собрании, пожалуй, найдутся писаря, да дворянами-то их, кукиш с маслом, кто же назовет?

Повторяю: это был малый суровый и несообразительный. Но за эту-то несообразительность он и держался несколько трехлетий сряду на своем посту, потому что мы, русские, очень охотно смешиваем это качество с твердостью характера и неподкупностью убеждения. Митенька знал это качество и, признаться, немножко-таки потрухивал.

– Я надеюсь, Платон Иваныч, что вы не оставите меня вашими советами, – начал он.

– Рад-с. Только у нас, вашество, такая чепуха идет, что никак этого дела переменить нельзя... В губернском правлении, в строительной комиссии – просто денной грабеж!

– Тсс... так вы полагаете?

– Ничего я не полагаю, а навверное говорю, что в губернском правлении денной грабеж. Мне что? я в чужие дела не вмешиваюсь, а сказать – всегда скажу!

– Какая же причина, однако ж?

– А та и причина, что до вашества у нас на этом месте сряду десять фофанов сидело... ну, и насидели!

Митеньку несколько покорило.

– Я всем говорил правду, – продолжал предводитель, – и вам буду правду говорить! Хотите меня слушать – слушайте! не хотите – мне что за дело!

– Я, Платон Иваныч, приехал сюда учиться...

– Ну, уж где нам ученых учить!

– Нет, уверяю вас! Я очень счастлив, что нахожу такого опытного и достойного руководителя!

– Очень рад-с, очень рад-с! Милости просим ко мне хлеба-соли откусать.

– Благодарю вас. Повторяю вам, что я счастлив, я совершенно счастлив, встречая такого опытного и достойного руководителя!

Таким образом, дело сошло с рук благополучно. С остальными тузами и чиновниками оно пошло еще легче. Вице-губернатора Митенька принял вместе с прочими членами губернского правления. Все обладали темно-оливковыми физиономиями, напоминавшими собой лики, изображаемые на старинных образах. Принимая их, Митенька имел вид довольно строгий, потому что ему предстояло сделать внушение.

– Господа! правда ли, что до сведения моего дошло, будто вы ссоритесь между собою? – спросил он совершенно серьезно.

Члены злобно взглянули друг на друга.

– Мы не ссоримся, а по делам диспуты имеем! – выступил вперед старший советник Штановский.

– Вот извольте, вашеество, видеть! – подстрекнул и в то же время сфискалил вице-губернатор.

– Господин Штановский! ваша речь впереди! – заметил Митенька, слегка возвышая голос, – господа! я желаю, чтоб у меня этих диспутов не было!

– Во втором томе свода законов, статья... – заикнулся было Штановский.

– Господин Штановский! я имел честь заметить вам, что ваша речь впереди! Господа! Я уверен, что имея такого опытного и достойного руководителя, как Садок Сосфенович (пожатие руки вице-губернатору), вы ничего не придумаете лучшего, как следовать его советам! Ну-с, а теперь поговорим собственно о делах. В каком, например, положении у вас недоимки?

– Тысящ с пятьсот, а може, и поболее будй, – отозвался на этот вопрос советник Валяй-Бурляй.

– Вот он всегда так, вашеество, отвечает! – опять сфискалил вице-губернатор и, обращаясь к Валяй-Бурляю, прибавил: – А вы скажите, сколько поболее-то будет?

– Самы кажыты!

– Господин Валяй-Бурляй! извините меня, но я должен сказать, что вы совсем не так говорите с своим прямым начальником, как следует говорить подчиненному! Господа! обращаю ваше внимание на недоимку и в виду этого предмета убеждаю прекратить ваши раздоры! Недоимка – это, так сказать, государственный нерв... надеюсь, что мне больше не придется вам это повторять.

Митенька простился и пожелал остаться наедине с вице-губернатором. Но когда советники были уже у дверей, он что-то вспомнил.

– Господин Мерзопупиос! – сказал он, клича третьего советника, – не знаю, правда ли, что до сведения моего дошло, будто бы здесь собственность совершенно не уважается?

Мерзопупиос вильнул всем телом.

– Собственность есть священнейшее из прав человека! – продолжал Митя, – и взыскания по беспорным обязательствам...

Митенька запнулся, потому что вспомнил, что сам не заплатил еще своего долга Дюссо.

– Я надеюсь, что вы не заставите меня повторять это, – продолжал он и взглядом отпустил Мерзопупиоса.

Я не буду описывать дальнейших представлений. У управляющего палатой государственных имуществ Митенька спросил, в каком состоянии находится скотоводство в губернии, у председателя казенной палаты – до какой цифры простирается питейный доход, и т. д. Всем вообще сказал, что очень рад найти в них достойных и опытных руководителей.

Не могу умолчать и об разговоре с губернским полковником. Впустивши его в кабинет, Митенька даже счел за надобное притворить за ним дверь поплотнее и вообще, кажется, предположил себе всласть отвести душу беседой с этим сановником.

– Что вы скажете, полковник, насчет здешнего образа мыслей? – спросил он, значительно понизивши голос.

– Образ мыслей здесь самый, вашеество, благонамеренный, – отвечал полковник, – и если б только начальство уважило мое ходатайство о высылке отставного поручика Шишкина, то смело могу сказать...

– Кто этот Шишкин? – прервал Митенька, несколько встревожившись.

– Отставной поручик-с. Вы не можете вообразить себе, вашеество, что это за ужаснейший человек! Намеднись, можете себе представить, ухитрился пролезть под водою в женскую купальню!

– И много там дам было?

– В самый, вашеество, раз попал! И представьте, вашеество, что говорит в свое оправдание: «Я, говорит, с купчихой Берендеевой хотел свидание иметь!» – «Да разве вам

нет, сударь, других мест для свиданий? разве вы простолюдин какой-нибудь, что не можете благородным манером свидание получить?»

– Однако у него губа не дура, у этого Шишкина.

– Просто, вашество, весь женский пол целую неделю в смятении был.

– Гм... об этом нужно подумать! Ну, а политического ничего нет?

– Политического, вашество, решительно ничего в нашей губернии нет.

– А молодые люди есть?

– Есть, вашество, но это именно прекраснейшие молодые люди, из которых со временем образуются прекраснейшие сановники.

– Что читают?

– «Московские ведомости», вашество, но и то – как бы сказать? – одно литературное прибавление, а не политику.

Собеседники на минуту смолкли.

– Знаете ли что? – первый прервал молчание Митенька, – я думаю преимущественно обратить внимание на общественную безопасность... а?

– Конечно, вашество, это самая главная вещь в губернии. Вот если б, вашество, Шишкина...

– Потому что – вы меня понимаете? – если общественная безопасность обеспечена, то, значит, и собственность ограждена, и всяким удовольствиям мирные граждане могут предаваться с полною непринужденностью...

– Уж на что же лучше! Только бы, вашество, Шишкина... право, вашество, это не человек, а зараза!

– Об Шишкине, полковник, не заботьтесь. Я ручаюсь вам, что сделаю из него полезного члена общества! А еще я полагаю посмотреть здешний гостиный двор и установить равновесие между спросом и предложением!

Полковник потупился, потому что не понимал.

– Я вижу, что это для вас ново. «Спрос» – это вообще... требование товара; «предложение» – это... это предложение товара же. Понимаете? Теперь, значит, если спрос велик, а предложение слабо, то цена на товар возвышается, и бедные от этого страдают...

– Это, вашество, будет для города такая польза... такое, можно сказать, благодеяние...

– Я хочу, чтоб у меня каждый мог иметь все, что ему нужно, за самую умеренную цену! – продолжал Митенька и даже сам выпучил глаза, вспомнив, что почти такую же штуку вымолвил в свое время Генрих IV.

Собеседники опять смолкли, потому что полковник окончательно раскис.

– Ну-с, очень рад; очень счастлив, что нахожу такого опытного и достойного руководителя, – заключил Митенька и расстался с полковником.

В это же утро Митенька посетил острог; ел там щи с говядиной и гречневую кашу с маслом, выпил кружку квасу и велел покурить в коридоре. Затем посетил городскую больницу, ел габер-суп, молочную кашицу и велел покурить в палатах.

– А *thea chinensis*²⁷ частенько прописываете? – любезно спросил он ординатора, который следовал за ним как тень.

Ординатор понял шутку и улыбнулся.

– Нет, кроме шуток, – прибавил Митенька, – я нахожу, что здесь хоть куда! Только, пожалуйста, курите почаще! Я особенно об этом прошу!

Затем, так как уж более не с кем было беседовать и нечего осматривать, то Митенька отправился домой и вплоть до обеда размышлял о том, какого рода произвел он впечатление и не уронил ли как-нибудь своего достоинства. Оказалось, по проверке, что он, несмотря на свою неопытность, действовал в этом случае отнюдь не хуже, как и все вообще подобные ему помпадуры: Чебылкины, Зубатовы, Слабомысловы, Бенескриптовы и Фютяевы.

²⁷ Китайский чай (*фр.*) .

Митенька очень хорошо запомнил совет Оболдуй-Тараканова, заповедавшего ему прежде всего обратить внимание на соединение общества. Совет этот отлично гармонировал с его собственными сибаритскими наклонностями (*genre Oeil de Boeuf*).²⁸ «Что такое общество?» – задал он себе вопрос и тотчас без запинки отвечал, что общество составляют *les dames et les messieurs*. «Что нужно, чтобы общество жило в единении?» – нужно удалить от него такие мысли, которые могут служить поводом для раздоров и пререканий. Вот Мерзопупиос и Штановский засели там в своей мурье и грызутся, разбирая по косточкам вопрос о подсудности, – это понятно, потому что они именно ничего, кроме этой мурьи, и не видят; но общество должно жить не так, оно должно иметь идеи легкие. *Les messieurs et les dames* обязаны забывать обо всем, кроме взаимных друг к другу отношений. Поэтому города, в которых господствует легкое поведение, процветают и отличаются веселостью; города же, в которых *les messieurs* вносят служебные свои дрязги даже в частную жизнь, отличаются унынием, и *les dames*, вследствие того, приобретают там скверную привычку ложиться спать вместе с курами.

Во время утренних своих слоняний с визитами по Семиозерску Митенька, как знаток по части клубнички, не мог не заметить, что город обладает в изобилии самыми разнообразными, «*charmants minois*»,²⁹ которые, однако ж, вследствие неряшества и домоседства, кажутся заспанными и даже словно беременными. В домах он заметил какой-то странный, почти необъяснимый запах («Черт его знает! словно детьми или морскими травами пахнет!») и чуть-чуть было не распорядился, чтоб покурили. «А все это оттого, что мастера нет, который вдохнул бы душу в эти хорошенькие материалы... нет! надо их подтянуть!»

Эта идея до того ему понравилась, что он решил провести ее во что бы то ни стало и для достижения цели действовать преимущественно на дам. Для начала, обед у губернского предводителя представлял прекраснейший случай. Там можно было побеседовать и о *spectacles de société*,³⁰ и о лотерее-аллегри, этих двух неизменных и неотразимых административных средствах сближения общества.

В этих видах он отправился на обед несколько пораньше («кстати уж и за предводительшей приударить!» – подумал он), но оказалось, что на этот раз весь губернский люд словно сговорился и собрался ранее обыкновенного. Оставалось покориться.

Предводительша, пикантная брюнетка, взглянула на него довольно пронзительно и указала место подле себя. Кругом тоже сидели дамы, в числе которых было несколько действительно хороших.

– Да избавьте вы нас, Дмитрий Павлыч, ради Бога, от этого разбойника Мухоярова, который заодно с губернским правлением по дорогам грабит! – совершенно некстати забасил хозяин.

– *Pardon, cher* Платон Иваныч, позвольте мне на этот раз не слушать вас! Я, конечно, сделаю все, что вам угодно будет мне приказать, но здесь я исключительно в распоряжении дам, – отвечал Митенька, очень грациозно поматывая головкой.

Дамы просияли и инстинктивно оправили свои платья.

– Бывают у вас здесь спектакли? – обратился Митенька к хозяйке.

– Да... зимою приезжают какие-то актеры, но *мы* их никогда не видим, – отвечала хозяйка и опять взглянула на Митеньку.

«Так бы я тебя и съел!» – подумал Митенька, пожирая ее глазами, но вслух продолжал:

²⁸ В стиле «Бычьего Глаза» (*фр.*) .

²⁹ Очаровательными мордочками (*фр.*) .

³⁰ Любительских спектаклях (*фр.*) .

– Нет, я, конечно, не об городских спектаклях говорю... я говорю об так называемых spectacles de société...

Из дам некоторые перешепнулись, другие перемигнулись, как будто говорили друг другу: а вот, погоди, заставит он нас всех петь водевильные куплеты и изображать «резвящихся русалок»!

– Нет, здесь этим некому было заняться.

– Но вы, Татьяна Михайловна?

– Я?.. а почему вы предполагаете, что именно я могу этим заняться?

Митенька сконфузился; он, конечно, был в состоянии очень хорошо объяснить, почему он так думает, но такое объяснение могло бы обидеть прочих дам, из которых каждая, без сомнения, мнила себя царицей общества. Поэтому он только мял в ответ губами. К счастью, на этой скользкой стезе он был выручен вошедшим официантом, который провозгласил, что подано кушать. Татьяна Михайловна подала Митеньке руку. Процессия двинулась.

– Давайте вашу руку, но за обедом вы мне непременно должны объяснить, почему вы считаете, что именно я должна принять на себя устройство спектакля? – полушепотом сказала хозяйка дорогой.

– Стоит только взглянуть на вас, чтобы... – начал Митенька и не кончил.

– А?! – не то насмешливо, не то сочувственно произнесла Татьяна Михайловна.

За столом разместились попарно, то есть мужчины вперемежку с дамами. Излишек мужчин (преимущественно старцы, уже совсем непотребные) сгруппировался на другом конце стола, поближе к хозяину.

– Ну-с, «чтобы»?.. – начала опять Татьяна Михайловна, очевидно, кокетничая. Она кушала при этом суп с такою грацией, как будто играла ложкой.

– Чтобы убедиться, что вы – единственная женщина, которая может привлечь...

– Публику?

– Вы жестоки, Татьяна Михайловна.

– Вашество! рекомендую вам пирожки! у меня для них особенный повар есть! в Новотроицком учился! – приглашал с другого конца хозяин дома.

– Ем-с, Платон Иванович; пирожки действительно бесподобны.

– Шесть лет в ученье был, – продолжал хозяин, но Митенька уже не слушал его. Он делал всевозможные усилия, чтоб соблюсти приличие и заговорить с своею соседкой по левую сторону, но разговор решительно не вязался, хотя и эта соседка была тоже очень и очень увлекательная блондинка. Он спрашивал ее, часто ли она гуляет, ездит ли по зимам в Москву, но далее этого, так сказать, полицейского допроса идти не мог. И мысли, и взоры его невольно обращались к хорошенькой предводительше.

– Кушайте же пирожки; их шесть лет учились готовить, – насмешливо говорила между тем хозяйка.

Митенька ободрился.

– Так вы согласны будете взять на себя труд устроить spectacle de société? – спросил он.

– Да, если вы будете внимательны к нашим дамам... Mesdames! Дмитрий Павлыч просит, чтоб вы приняли участие в предполагаемом им спектакле! Но вы и сами непременно должны принять в нем участие, – продолжала она, обращаясь к Митеньке, – вы должны быть нашим premier amoureux...³¹

– Да, да! непременно, непременно! – вторили дамы.

– Увы! для меня это недоступно! Печальная необходимость... мой пост... Но я могу, если угодно, быть вашим режиссером, mesdames, и тогда – прошу меня слушаться! потому что ведь я очень строг.

– Будто бы строги? – мимоходом заметила предводительша, взглядывая на него исподлобья.

³¹ Первым любовником (фр.) .

– Увы!.. боюсь, что нет!

– Это вы, вашество, их спектакль устроить приглашаете? – вступился опять хозяин, – напрасно стараетесь! Эта штука у нас пробована и перепробована!

– Mon mari va dire quelque bêtise,³² – шепнула предводительша про себя, но так, что Митенька слышал.

– А что же? – спросил он предводителя.

– Да наши барыни, как соберутся, так и передерутся! – ответил хозяин, отнюдь не церемонясь.

– Fi, mon ami,³³ какие ты вещи говоришь! – обиделась супруга его.

– Ну, уж извини меня, Татьяна Михайловна! а что правда, то правда!

– Какие же пьесы мы будем играть? – молвила блондинка, сидевшая по левую сторону.

– Позвольте... я знаю, например, водевиль... он называется «Аз и Ферт»... le titre est bizarre, mesdames,³⁴ но пьеска, право, очень-очень миленькая! Есть в ней этакое brio...³⁵

– Я однажды в Москве у князя Сергея Борисыча «Полковника старых времен» играла, – пискнула было вице-губернаторша, но на нее никто не обратил внимания.

– Есть еще, вашество, пьеска: «Несчастия красавца», – откликнулся хозяин, может быть, с намерением, а может быть, и без намерения, но Митенька почувствовал, что его в это время словно ударило чем в спину.

– Да, и такая пьеса есть, – сказал он, – но, признаюсь, я более люблю живые картины. Je suis pour les tableaux vivants, moi!³⁶

На минуту все смолкли; слышен был только стук ножей и вилок.

– Дурак родился! – сказал хозяин.

Все засмеялись.

– Но, Платон Иваныч, позвольте вам заметить, что если всегда в подобные минуты должен непременно родиться дурак, то таким образом их должно бы быть уж чересчур много на свете! – заметил Митенька.

– А вашество разве думали, что их мало?

Митеньке сделалось положительно неловко, потому что хозяин, очевидно, начинал придирается.

– Mon mari est jaloux!³⁷ – шепнула опять-таки про себя предводительша, очень мило обгладывая крылышко цыпленка.

Начали подавать шампанское. Начались поздравления и пожелания. Предводительша мило чокнулась и сказала:

– Je désire que vous nous restiez le plus longtemps possible!³⁸

– А еще что? – процедил сквозь зубы Митенька.

– Nous verrons,³⁹ – тоже процедила хозяйка.

³² Мой муж скажет сейчас какую-нибудь глупость (фр.) .

³³ Фи, мой друг (фр.) .

³⁴ Странное название, сударыни (фр.) .

³⁵ Воодушевление (фр.) .

³⁶ Что касается меня, то я за живые картины! (фр.)

³⁷ Мой муж ревнует! (фр.)

³⁸ Я желаю, чтоб вы оставались у нас как можно дольше! (фр.)

³⁹ Увидим (фр.) .

– Вашество! извините! тоста не провозглашаю, а за здоровье ваше выпью с удовольствием! – говорил между тем предводитель.

«Ишь ведь оболтус! и у себя-то не хочет почтения сделать!» – подумал Митенька, припомнивший теорию предводителя о государевых писарях.

– Вот у меня письмоводитель в посреднической комиссии есть, так тот мастер за обедами предики эти говорить, – продолжал хозяин, – вот он!

Тут только Митенька заметил, что в темном углу комнаты, около стены, был накрыт еще стол, за которым сидели какие-то три личности. Одна из них встала.

– Я от хлеба-соли никому не отказываю! потому – народ бедный, оборванцы! – ораторствовал хозяин, – прикажете ему, вашество, приветствие сказать?

– Отчего же... я с удовольствием!

– Катай, Анпетов!

– Ах, mon ami, какие у тебя выражения!

– Ну, уж, Татьяна Михайловна, не взыщи! каков есть, таков и есть! Что правда, то правда!

Анпетов вышел к середине стола и произнес:

– Почтеннейшие госпожи и милостивые господа!

Если солнцу восходящу всякая тварь радуется и всякая птица трепещет от живительного луча его, то значит, что в самой природе всеблагой промысел установил такой закон, или, лучше сказать, предопределение, в силу которого тварь обязывается о восходящем луче радоваться и трепетать, а о заходящем – печалиться и недоумевать.

Здесь вижу я, благородные слушательницы и почтеннейшие слушатели, собрание гостей именитых, в целом крае славных, и между ними некоего, который именно тот восходящий солнца луч прообразует, о коем сказано. Он еще млад, но умудрен знаниями; глава его не убелена сединами, но ум обогащен наукой. Не дерзостный и не гордостный, но благостный и душеприятный пришел ты к нам! дерзнем ли же мы пренебречь тем законом, который сама природа всещедрая вложила в сердца наши? Дерзнем ли печалиться и недоумевать в такие минуты, когда надлежит трепетать и радоваться?

Нет, не дерзнем, но воскликнем убо: за здоровье и долгоденствие его вашества Дмитрия Павловича Козелкова! Ура!

– Благодарю вас! – отвечал Митенька и, обратившись к дамам, прибавил: – Mais il a le don de la parole!⁴⁰

– Приходи ужо! водки дам! – сказал хозяин.

Наконец обед кончился. Провожая свою даму в гостиную, Митенька дерзнул даже пожать ей локоть, и хотя ему не ответили тем же, однако же и мины неприятной не сделали. Митеньку это ободрило.

– Так судьба наших спектаклей в ваших руках? – сказал он.

– Да; я постараюсь... если Платон Иваныч позволит...

– О, мы нападём на него всем обществом! Но вы представьте себе, как это будет приятно! Можно будет видеться... говорить!

Предводительша легонько вздохнула.

– Репетиции... трепетное мерцание лампы... – начал было фантазировать Митенька.

– Вашество! милости просим в кабинет! господа! милости просим! – приглашал гостеприимный хозяин.

Митенька должен был покориться печальной необходимости; но он утешался дорогой, что первый толчок соединению общества уже дан и что, кажется, дело это, с Божьею помощью, должно пойти на лад.

Был уж девятый час вечера, когда Митенька возвращался от предводителя домой.

⁴⁰ Но у него дар слова! (фр.)

Дрожки его поравнялись с ярко освещенным домом, сквозь окна которого Митенька усмотрел Штановского, Валяй-Бурляя и Мерзопупиоса, резавшихся в преферанс. На столике у стены была поставлена закуска и водка. По комнате шныряли дети. Какая-то дама оливкового цвета сидела около Мерзопупиоса и заглядывала в его карты.

– Чей это дом? – спросил Митенька кучера.

– Советника Мерзаковского!

«Га! помирились-таки! – подумал Митенька, – ну, и здесь, с Божьею помощью, дело, кажется, пойдет на лад!»

Возвратившись домой, Митенька долгое время мечтал.

«Кажется, что дело не дурно устраивается, – думал он, – кажется, что уж я успел дать ему некоторое направление!»

Он подошел к зеркалу, поставил на стол две свечи и посмотрелся – ничего, хорош!

– Что ж это они всегда смеялись, когда на меня глядели? – произнес,⁴¹ – что они смешного во мне находили?

Митенька решил, что это было не что иное, как пошлое школьничество, и пожелал отдохнуть от трудового дня.

– Что же, когда Дюсе деньги-то посылать будете? – спросил старик-камердинер Гаврило, снимая с него сапоги.

Митенька молчал и притворился погруженным в глубокие соображения.

– Ведь Дюса-то Никиту-маркела перед отъездом ко мне присылал. «Ты смотри, говорит, как у барина первые деньги будут, так беспременно чтобы к нам посылал!»

Митенька все молчал.

– Что же вы молчите! нешто я у Дюса-то ел!

– Молчать, скотина!

– Как я могу молчать? Я дело завсегда говорить должен!

– Цыц, каналья!

Митенька лег спать и видел во сне Дюссо и хорошенькую предводительшу.

«На заре ты ее не буди»

I

К несчастью для Митеньки, в Семиозерске случились выборы – и он совсем растерялся. Уж и без того Козелков заметил, что предводитель, для приобретения популярности, стал грубить ему более обыкновенного, а тут пошли по городу какие-то шушуканья, стали наезжать из уездов и из столиц старые и молодые помещики; в квартире известного либерала, Коли Собачкина, начались таинственные совещания; даже самые, что называется, «сивые» – и те собирались по вечерам в клубе и об чем-то беспорядочно толковали... Дмитрий Павлыч смотрит из окна своего дома на квартиру Собачкина и, видя, как к крыльцу ее непрерывно подъезжает цвет российского либерализма, негодует и волнуется.

– И за что они мне не доверяют! за что они мне не доверяют! – восклицает он, обращаясь к правителю канцелярии, стоящему поодаль с портфелью под мышкой.

– Чувств, вашество, нет-с...

– Если им либеральных идей хочется, то надеюсь...

– Уж чего же, вашество, больше!

– Потому что хотя я и служу... однако не вижу, что же тут... предосудительного?

И Дмитрий Павлыч, с грустью в сердце, удаляется к себе в кабинет подписывать

бумаги.

– Спустите, пожалуйста, шторы! – обращается он к правителю канцелярии, – этот Собачкин... я просто даже квартиры его выносить не могу!

Но и при спущенных шторах дело спорится плохо. Козелков подписывает бумаги зря и все подумывает об том, как бы ему «овладеть движением». План за планом, один другого беспутнее, меняются в его голове. То он воображает себе, что стоит перед рядами и говорит: «Messieurs! вы видите эти твердыни? хотите, я *сам* поведу вас на них?» – и этою речью приводит всех в восторг; то мнит, что задает какой-то чудовищный обед и, по окончании, принимает от благодарных гостей обязательство в том, что они никогда ничего против него злоумышлять не будут; то представляется ему, что он, истощив все кроткие меры, влетает во главе эскадрона в залу...

И видится ему, что, по исполнении всех этих подвигов, он мчится по ухабам и сугробам в Петербург и думает дорогой заветную думу...

– Стани..., – шепчет эта заветная дума, но не дошептывает, потому что ухаб заставляет его прикусить язык.

– Слава! Слава! Слава! – подзвывает в это время колокольчик, и экипаж мчится да мчится себе вперед...

– А знаете ли что? – говорит Дмитрий Павлыч вслух правителю канцелярии, – я полагаю, что это будет очень недурно, если я, так сказать, овладею движением...

Правитель канцелярии не понимает, но делает вид, что понимает.

– «Овладеть движением» – это значит: стать во главе его, – толкует Козелков, – я очень хорошо помню, что когда у нас в Петербурге буйнили нигилисты, то я еще тогда сказал моему приятелю, капитану Реброву: чего вы смотрите, капитан! овладейте движением – и все будет кончено!

Дмитрий Павлыч опять задумался, и опять в ушах его загудел колокольчик, позвякивая: слава! слава! слава!

– Просто, пойду сейчас к Собачкину, – заговорил он, – и скажу: «Messieurs! за что вы мне не доверяете? Поверьте, что хотя я и служу, но чувства мои, messieurs... я полагаю»...

– Это точно-с, – ввернул свое слово правитель канцелярии.

– Потому что, в сущности, чего они желают? они желают, чтоб всем было хорошо! Прекрасно. Теперь спросим: чего я желаю? я тоже желаю, чтоб всем было хорошо! Следовательно, и я, и они желаем, в сущности, одного и того же! Unitibus rebus vires cresca parvunt!⁴² как сказал наш почтеннейший Михаил Никифорович в одной из своих передовых статей!

Правитель канцелярии, услышав эту неслыханную цитату, чуть не захлебнулся.

– А как поступал мой предместник в подобных случаях? – спросил его Дмитрий Павлыч.

– Просто-с. Они, вашество, больше так поступали: сначала одних позовут – им реприманд сделают, потом других позовут – и им реприманд сделают. А иногда случалось, что и стравят-с...

– То есть как же это – стравят?

– А так-с, одних посредством других уничтожали-с... У них ведь, вашество, тоже безобразие-с! Начнут это друг дружке докладывать: «Ты тарелки лизал!» – «Ан ты тарелки лизал!» – и пойдет-с! А тем временем и дело к концу подойдет-с... и скрутят их в ту пору живым манером!

– Гм... Это недурно! – молвил Козелков и насупил брови, – только как же это? надобно какой-нибудь предлог!

– А вы, вашество, вот что-с. Позовите кого постарше-с, да и дайте этак почувствовать: кабы, мол, не болтали молодые, так никаких бы реформ не было; а потом попросите из

⁴² «Viribus unitibus res parvae crescunt» (лат.) – от соединенных усилий малые дела вырастают.

молодых кого, да и им тоже внушите: кабы, мол, не безобразничали старики, не резали бы девкам косы да руками не озорничали, так никаких бы, мол, реформ не было. Они на это пойдут-с.

– Вы полагаете?

– Верно-с. И почнут они промежду себя считаться... а дня этак за два до срока вашество и напомниме, что скоро, дескать, и по домам пора... Шары в руки, и дело с концом-с!

– Гм... это недурно. Благодарю.

Правитель канцелярии давно уж ушел, а Козелков все ходит по комнатам и все о чем-то думает, а по временам посматривает на окна либерала Собачкина, за которыми виднеются курящие и закусывающие фигуры.

Предложенная правителем канцелярии программа понравилась ему. Мало-помалу он до того вошел во вкус ее, что даже заподозрил, что он совсем не Козелков, а Меттерних. «Что такое дипломатия?» – спрашивает он себя по этому случаю и тут же сгоряча отвечает: «Дипломатия – это, брат, такое искусство, за которое тебе трехов надавать могут!» Однако и на этой горестной мысли он долго не останавливается, но спешит к другой и, в конце концов, даже приходит в восторженность. «Дипломатия, – говорит он, – это все равно что тонкая, чуть-чуть приметная паутина: паук стелет себе да стелет паутину, а мухи в нее попадают да попадают – вот и дипломатия!»

– *A nous deux maintenant!*⁴³ – воскликнул он, весело потирая руки и обращаясь к какому-то воображаемому врагу, – посмотрим! посмотрим, *messieurs*, чья дипломатия одержит победу!

А *messieurs* совсем и не воображали, что Дмитрий Павлыч строит против них ковы. Они в это время закусывали, прохаживались по «простячкам», приготавливались публично «проэкзаменовать» мировых посредников за их предерзостные поступки и вообще шутили обычные шутки.

Уже начинали спускаться сумерки, и на улицах показалось еще больше усиленное движение, нежели утром. По так называемой губернаторской улице протянулась целая вереница разнообразнейших экипажей; тут были и пошевни, запряженные лихими тройками, украшенными лентами и бубенчиками с малиновым звоном, и простые городские сани, и уродливые, нелепо-тяжелые возки, и охотничьи сани, везомые сильными, едва сдерживаемыми рысаками. В пошевнях блистали наезжие львицы, жены местных аристократов; охотничьими санями и рысаками щеголяли молодые наезжие львы. По временам какая-нибудь тройка выезжала из ряда и стремглав неслась по самой середине улицы, подымая целые облака снежной пыли; за нею вдогонку летело несколько охотничьих саней, перегоняя друг друга; слышался смех и визг; нарумяненные морозом молодые женские лица суетливо оборачивались назад и в то же время нетерпеливо понукали кучера; тройка неслась сильнее и сильнее; догоняющие сзади наездники приходили в азарт и ничего не видели. Тут был и Коля Собачкин на своем сером, сильном рысаке; он ехал обок с предводительскими санями и, по-видимому, говорил нечто очень острое, потому что пикантная предводительша хохотала и грозила ему пальчиком; тут была и томная мадам Первагина, и на запятках у ней, как дома, приютился маленький Фуксёнок; тут была и величественная баронесса фон Цанарцг, урожденная княжна Абдул-Рахметова, которой что-то напевал в уши Сережа Свайкин. Одним словом, это была целая выставка, на которую губерния прислала лучшие свои цветы и которая могла бы назваться вполне изящною, если бы не портили общего впечатления девицы Лоботрясовы, девицы пожилые и скарденые, выехавшие на гулянье в каком-то лохматом возке, запряженном тройкой лохматых же кляч.

Козелков смотрел из окошка на эту суматоху и думал: «Господи! зачем я уродился сановником! зачем я не Сережа Свайкин? зачем я не Собачкин! зачем даже не скверный,

⁴³ Кто кого! (*фр.*)

мозглявый Фуксёнок!» В эту минуту ему хотелось побегать. В особенности привлекала его великолепная баронесса фон Цанарцт. «Так бы я там...» – говорил он и не договаривал, потому что у него дух занимался от одного воображения.

И в самом деле, он ничего подобного представить себе не мог. Целый букет разом! букет, в котором каждый цветок так и прыщет свежестью, так и обдает ароматом! Сами губернские дамы понимали это и на все время выборов скромно, хотя и не без секретного негодования, стушевывались в сторонку.

Это и понятно, потому что губернские дамы, за немногими исключениями, все-таки были не более как чиновницы, какие-нибудь председательши, командирши и советницы, родившиеся и воспитывавшиеся в четвертых этажах петербургских казенных домов и только недавно, очень недавно, получившие понятие о комфорте и о том, что такое значит «ни в чем себе не отказывать». Напротив того, наезжие барыни представляли собой так называемую «породу»; они являлись свежие, окруженные блеском и роскошью; в речах их слышались настоящие слова, их жесты были настоящими жестами; они не жались и не сторонились ни перед кем, но бодро смотрели всем в глаза и были в губернском городе как у себя дома. Понятно, что все сердца к ним неслись и что какой-нибудь Гриша Трясучкин, еще вчера очень усердно приударявший за баталионной командиршей, вдруг начинал находить ее худосочною, обтрепанною и полинявшею. Понятно, что и Козелков сильнее, нежели когда-либо, почувствовал всю тяжесть, всю тоску своего административного одиночества.

Между тем уж совсем стемнело; улица вдруг опустела, во всех окнах замелькали огни. Козелкову представилось, что в этих домах теперь обедают; что там шумным потоком льется беседа, что там кто-нибудь что-нибудь нашептывает и кто-нибудь эти нашептыванья выслушивает...

– И ведь хоть бы кто-нибудь пригласил... невежды! – подумал он невольно и тут же сообразил, что это происходит оттого, что губернским сановникам предоставлено слишком мало власти.

И кто знает, куда бы привели его эти размышления, кто знает, не вышло ли бы даже отсюда какого-нибудь проекта об усилении власти, но лакей, доложивший, что подано кушать, очень кстати прервал мечтания Дмитрия Павлыча и с тем вместе избавил козелковское начальство от рассмотрения лишнего велегласия.

В столовой его уже ожидал чиновник особых поручений, французик Фавори, которого Козелков определил на эту должность, собственно, за то, что он был уж очень вертляв и казался готовым на всевозможные услуги.

Французик Фавори как-то замалодушничал всеми оконечностями, как только на пороге столовой появилась фигура Козелкова. Он сразу догадался, что начальство пасмурно и что нужно его развеселить.

– А я намереваюсь дать вам дипломатическое поручение, Фавори! – молвил Митенька, принимаясь за суп.

Фавори весь превратился в преданность; тело его словно пополам распалось: верхняя часть выдалась вперед и застыла в неподвижности, нижняя – отпятилась назад и судорожно виляла. Фавори был убежден, что Козелков пошлет его узнать об здоровье Марьи Петровны, и потому ухмыльнулся всем своим поганым лицом.

– Нет, не то! – сказал Козелков, как бы отгадывая его мысли, – поручение, которое я намерен на вас возложить, весьма серьезно. – Митенька выговорил эти слова очень строго; но, должно быть, важный вид был не к лицу ему, потому что лакей Степан, принимавший в эту минуту тарелку у Фавори, не выдержал и поспешил поскорее уйти.

– Дело в том, – продолжал Козелков, – что я нахожусь в величайшем затруднении. Теперь у меня здесь целое скопище, а я решительно ничего не знаю, что у них делается. Никто мне не докладывает.

– Вашество...

– Я поручаю вам каждодневно докладывать мне обо всем! Вы должны знать обо всем! Вы должны проникать всюду! Вы должны быть везде – и нигде!

Козелков до того разревновался, что даже жестами показывал Фавори, как он должен быть везде и нигде.

– Я всегда полагал, – ораторствовал он, – что губернским чиновникам должны быть предоставлены все средства... С Божиею помощью, быть может, это и устроится, но теперь у меня этих средств нет. Вы должны в этом случае, так сказать, восполнить для меня недостаток административных средств.

– Поверьте, вашеество...

– Знаю. Вы должны будете говорить старикам: это всё молодые своей болтовней наделали! С другой стороны, молодым людям должно внушать, что все произошло благодаря безобразию стариков. Одним словом, вы обязаны употребить все усилия, чтоб поселить спасительное междоусобие!

Козелков остановился и зорко посмотрел на своего собеседника, как бы желая узнать, готов ли он. Но Фавори был готов, так сказать, от самого рождения, и потому не удивительно, что Митенька остался доволен своим осмотром.

– Я должен раскрыть перед вами свои виды вполне, – сказал он. – Я должен сказать вам, что смотрю на администрацию преимущественно и *даже исключительно* с дипломатической точки зрения. По моему мнению, администрация есть борьба, а наука не показывает ли нам, что борьба без дипломатии немыслима?

Сказавши это, Дмитрий Павлыч сам разинул рот от удивления. Фавори внимал и благоговел.

– Исходя из этого принципа, я нахожу, что мы, администраторы, должны преимущественно, и *даже исключительно*, заботиться о том, чтобы выиграть время. Объясню вам это сейчас примером...

Козелков задумался: какой отыскать пример? Но примера на этот раз не отыскалось.

– Все равно, вы меня понимаете. Но, выигрывая время, мы достигаем разом двух результатов: во-первых, мы отклоняем то, что своею преждевременностью могло бы, так сказать, возмутить обычное гармоническое течение жизни, во-вторых...

Козелков опять задумался, ибо второй результат решительно не приходил ему в голову. Он знал, что всякая вещь непременно должна иметь два и даже три результата, и сгоряча сболтнул это, но теперь должен был убедиться, что есть в мире вещи, которые могут иметь только один, а даже, пожалуй, и вовсе не иметь ни одного результата.

– Исполню, вашеество! – возразил Фавори, чтобы вывести из затруднения обожаемого начальника.

– Я надеюсь на вашу расторопность, а главное, на вашу преданность. Помните, Фавори, что я не умею быть неблагодарным.

Сказавши это, Митенька встал из-за стола, а Фавори поспешил отправиться для исполнения возложенного поручения. Козелков опять взглянул на окна либерала Собачкина и увидел, что в квартире его темно.

– Где-то они каверзы свои теперь сочиняют? – невольно шевельнулось в его голове.

II

А в городе между тем происходила толкотня и суета невообразимая. Не только гостиницы, но и постоялые дворы были битком набиты; владельцы домов и квартиранты очищали лучшие комнаты своих квартир и отдавали их под постой, а сами на время кой-как размещались на задних половинах, чуть-чуть не в чуланах. Целые обозы мелкопоместных дворян ежедневно прибывали в город и удивляли обывателей своими новенькими полушубками и затейливыми меховыми шапками. Предводитель только пыхтел и отдувался, потому что весь этот люд ему надобно было разместить, обогреть и накормить. Мелкопоместные понимали, что в них имеется нужда, знали, что случаи такого рода повторяются не часто (раз в три года), и спешили воспользоваться своими правами широкою рукой. На улицах все чаще и чаще встречался тот крепкий, сельским хлебом выкормленный

народ, при виде которого у заморенного городского жителя уходит душа в пятки. Румяные щеки, жирные кадыки, круглые и обширные затылки, диковинные шапки – вот спектакль, который представляли городские улицы с утра до вечера. В клубе шло почти что столпотворение.

Предводитель пыхтит и отдувается. Выборы положительно живого его обжигают. «Вы, батюшка, то сообразите, – жалеючи объясняет мелкопоместный Сила Терентьич, – что у него каждый день, по крайности, сотни полторы человек перебивает – ну, хоть по две рюмки на каждого: сколько одного этого винища вылакают!» И точно, в предводительском доме с самого утра, что называется, труба нетолченая. Туда всякий идет, как в трактир, и всякий не только ест и пьет, но требует, чтобы его обласкали. Каждый день предводитель устраивает у себя обеды на сорок – пятьдесят персон и угощает «влиятельных»; но этого мало: он не смеет забыть и про так называемую мелюзгу. Он шутит с ними, называет их Иванычами; он пожимает им руки и влиятельнейшим из них посылает даже бланманже («Татьяна Михайловна кланяться приказали и велели доложить, что сами на тарелку накладывать изволили»). Одна мысль денно и ночно преследует его: а ну, как прокатят на вороных!

Супруга Платона Иваныча очень усердно ему содействует. Она устраивает спектакли и лотереи в пользу детей бедных мелкопоместных, хлопочет о стипендиях в местной гимназии и в то же время успевает бросать обворожающие взгляды на молодых семиозерских аристократов и не прочь пококетничать с старым графом Козельским, который уже три трехлетия сряду безуспешно добивается чести быть представителем «интересов земства» и, как достоверно известно, не отказывается от этого домогательства и теперь. Митенька забыт и заброшен; его не приглашают даже распоряжаться на репетициях, чтобы не дать ни малейшего повода подумать, что между «земством» и «бюрократией» существует какая-нибудь связь. Тем не менее, несмотря на все усилия предводителя достигнуть единодушия, общество видимо разделилось на партии. Главных партий, по обыкновению, две: партия «консерваторов» и партия «красных». В первой господствуют старцы и те молодые люди, о которых говорят, что они с старыми стары, а с молодыми молоды; во второй бушует молодежь, к которой пристало несколько живчиков из стариков. «Консерваторы» говорят: шествуй вперед, но по временам мужайся и отдыхай! «Красные» возражают: отдыхай, но по временам мужайся и шествуй вперед! Разногласие, очевидно, не весьма глубокое, и дело, конечно, разъяснилось бы само собой, если б не мешали те внутренние разветвления, на которые подразделялась каждая партия в особенности и которые значительно затемняли вопрос о шествовании вперед.

Таких разветвлений было очень много. «Консерваторы» насчитывали их три. Была, прежде всего, партия «маркизов», во главе которой стоял граф Козельский и которая утверждала, что главное достоинство предводителя должно состоять в том, чтобы он обладал «грасами». Сам граф был ветхий старикашка, почти совершенно выживший из ума, но, с помощью парика, вставных зубов и корсета, казался еще молодцом; он очень мило сюсюкал, называл семиозерских красавиц «belle dame» и любил играть маркизов на домашних спектаклях. Партия эта была малочисленна, и сколько ни старался граф попасть в предводители, но успеха не имел, и вместо предводительства всякий раз был избираем в попечители губернской гимназии. Другая партия (партия «крепкоголовых»), во главе которой стоял Платон Иваныч, утверждала, что для предводителя нужно только одно: чтоб он шел неуклонно. Странники ее были многочисленны и славились дикою непреклонностью убеждений, вместимостью желудков, исполинскими размерами затылков, необычайно громадною кулаков и способностью производить всякого рода шумные манифестации, то есть подносить шары на блюде, кричать «ура!» и зыком наводить трепет на противников. Самые отважные люди других партий приходили в смущение перед свирепыми взглядами этих допотопных мастодонтов, и в собраниях они всегда без труда овладевали всяким делом. Платон Иваныч знал это и потому ревниво следил, чтоб никто другой, кроме его, не присвоил права прикармливать этих новых эфиопов. Наконец, третья партия называлась партией «диких» и также была довольно многочисленна. Члены ее были

люди без всяких убеждений, приезжали на выборы с тем, чтобы попить и поесть на чужой счет, целые дни шатались по трактирам и удивляли половых силою клапштосов и уменьем с треском всадить желтого в среднюю лузу. Многие из них были женаты и обладали многочисленными семействами, но все сплошь смотрели холостыми, дома почти не жили, никогда путным образом не обедали, а всё словно перехватывали на скорую руку. К общественным делам они были холодны и шары всегда и всем клали направо. Что касается до партии «красных», то и она разделялась на три отдела: на так называемых «стригунов», на так называемых «скворцов» и на так называемых «плакс или канюк». К «стригунам» принадлежали сливки семиозерской молодежи, люди с самоновейшими убеждениями и наилучшим образом одетые. «Стригуны» мечтали о возрождении и в этих видах очень много толковали о principes.⁴⁴ На Россию они взирали с сострадательным сожалением и знания свои по части русской литературы ограничивали двумя одинаково знаменитыми именами: Nicolas de Bézobrazoff и Michel de Longuinoff, которого они, по невежеству своему, считали за псевдоним Michel de Katkoff. В крестьянской реформе они, подобно г. Н. Безобразову, видели «попытку... прекрасную!», но в то же время утверждали, что если б от них зависело, то, конечно, дело устроилось бы гораздо прочнее. «Скворцы» собственных убеждений не имели, но удачно передразнивали «стригунов», около которых преимущественно и терлись. Это были веселые и совершенно пустые малые, которые выходили из себя только тогда, когда их называли «скворушками». Они сразу полюбили Козелкова, и Козелков тоже полюбил их сразу, и, конечно, между ними непременно установилось бы entente cordiale,⁴⁵ если б политические теории «стригунов» о самоуправлении, о прерогативах земства и бюрократическом невмешательстве не держали «скворцов» в постоянном страхе. «Это бюрократ!» – говорили «скворушки», с некоторым смущением указывая на Митеньку... Что же касается до «плакс или канюк», то партия эта была не многочисленна и почти исключительно состояла из мировых посредников.

Таковы были эти «великие партии», лицом к лицу с которыми очутился Дмитрий Павлыч Козелков. Мудрено ли, что, с непривычки, он почувствовал себя в этом обществе и маленьким, и слабеньким.

Тем не менее он все-таки решился попытать счастья и с этою целью отправился вечером в клуб.

В клубе преимущественно собирались консерваторы и лишь те немногие из «скворцов», которым уж решительно некуда было деваться. «Маркизы» собирались в так называемой «уборной», беседовали о «грасах», рассказывали скоромные анекдоты и играли в лото. «Крепкоголовые» занимали центр, играли в карты, шевелили усами и прерывали угрюмое молчание для того только, чтобы царапнуть водки. «Дикие» толпились в бильярдной; «скворцы» порхали во всех комнатах понемножку, но всего более в «уборной», ибо не только чувствовали естественное влечение к «маркизам», но даже наверное знали, что сами со временем ими сделаются.

Козелков вошел в уборную. «Скворцы», будучи вне надзора «стригунов», так со всех сторон и облепили его («однако ж я любим!» – с чувством подумал Митенька). «Маркизы» толковали о какой-то Марье Петровне, о каком-то родимом пятнышке, толковали, вздыхали и хихикали.

– А! вашество! – приветствовал его граф. – А я сейчас рассказывал а ces messieurs про нашу бывшую предводительшу! Представьте себе...

Козелков сочувственно хихикнул в ответ. Маркизы и скворцы облизнулись.

– Le bon vieux temps!⁴⁶ – вздохнул граф, – тогда, вашество, старших уважали! –

⁴⁴ Принципах (фр.) .

⁴⁵ Сердечное согласие (фр.) .

⁴⁶ Доброе старое время! (фр.)

внезапно прибавил он, многозначительно и строго посмотрев на «скворцов» и даже на самого Дмитрия Павлыча.

Козелков несколько застыдился; ему и самому словно совестно сделалось, что он каким-то чудом попал в «сановники». Он уже хотел и с своей стороны сказать несколько острых слов насчет непочтительности и опрометчивости нынешнего молодого поколения, хотел даже молвить, что это «от их, именно от их болтовни все и дело пошло», но убоился «скворцов», которые так и кружились, так и лепетали около него. Поэтому он вознамерился благоразумно пройти посредочке.

– Я полагаю, граф, что это только недоразумение, – сказал он, – и я, конечно... употреблю зависящие от меня меры...

Он не кончил и, по привычке, сам разинул рот, услышавши свое собственное изречение. «Маркизы» тоже выпучили на него глаза, как бы спрашивая, что он вознамерился над ними учинить.

– Но каков у вас посредник, граф? – спросил Козелков, чтобы прекратить общее изумление.

Графа даже передернуло всего.

– Позвольте мне, вашество, не отвечать на этот вопрос, – сказал он, величественно выправляясь и строго озирая Митеньку.

– Но отчего же, граф?

– А оттого-с, что есть вещи, об которых в обществе благовоспитанных людей говорить нельзя-с, – продолжал граф, и потом, к великому изумлению Козелкова, прибавил: – Я, вашество, маркиза в «Le jeu du hasard et de l'amour»⁴⁷ играл!

– Я сам, граф, играл некогда в «Le secrétaire et le cuisinier»,⁴⁸ – с гордостью ответил Митенька.

– Да, Скриб тоже имеет свои достоинства, но все это не Мариво! Заметьте, вашество, что в нас эта грация почти врожденная была! А как я лакея представлял! Покойница Лизавета Степановна (она «маркизу» играла) просто в себя прийти не могла!

Граф поник головой на минуту и потом, махнув рукою, прибавил:

– А теперь у нас даже в предводители каких-то жокрисов⁴⁹ выбирают!..

– Бог даст, любезный граф, дворянство откроет глаза, и твои достоинства будут оценены! – прошамкал один из «маркизов».

– Не верю!

– Но не может же быть, чтоб передовое сословие...

– Не верю!

– Я, граф, с своей стороны, готов... – шепнул было Митенька, но тотчас же и умолк, потому что граф окинул его величественным взором с ног до головы.

– Мы, вашество, не понимаем друг друга; я о содействии не прошу! – холодно сказал он и уселся за лото.

Козелкову оставалось только покраснеть и удалиться.

– Бюрократ! – прошипел ему вслед один из «маркизов».

Через минуту стук кресел, шарканье ног и смешанный гул голосов известили «маркизов», что Козелкова приветствуют «крепкоголовые».

Между «крепкоголовыми» самыми заметными личностями были Созонт Потапыч Праведный и Яков Филиппыч Гремикин. Праведный происходил из приказных; это был

⁴⁷ «Игра случая и любви» (фр.).

⁴⁸ «Секретарь и повар» (фр.).

⁴⁹ Простофиль (от фр. jocrisses). – Примеч. ред.

мозглявый старичишка, весь словно изъеденный жёлчью, весь сведенный непрерывною судорогой, которая, как молния в грозных облаках, так и вилась во всем его брэнном теле. Но репутацию этот человек имел ужаснейшую. Говорили, что, во время процветания крепостного права, у него был целый гарем, но какой-то гарем особенный, так что соседи шутя называли его Дон Жуаном наоборот; говорили, что он на своем веку не менее двадцати человек засек или иным образом лишил жизни; говорили, что он по ночам ходил к своим крестьянам с обыском и что ни один мужик не мог укрыть ничего ценного от зоркого его глаза. Весь околоток трепетал его; крестьяне, не только его собственные, но и чужие, бледнели при одном его имени; даже помещики – и те пожимались, когда заходила об нем речь. Пять губернаторов сряду порывались «упечь» его, и ни один ничего не мог сделать, потому что Праведного защищала целая неприступная стена, состоявшая из тех самых людей, которые, будучи в своем кругу, гадливо пожимались при его имени. Зато, как только пронеслась в воздухе весть о скорой кончине крепостного права, Праведный, не мешкая много, заколотил свой господский дом, распустил гарем и уехал навсегда из деревни в город. Здесь он занялся в обширных размерах ростовщичеством, ежедневно посещал клуб, но в карты не играл, а поджидал, не угостит ли его кто-нибудь из должников чаем. В партии «крепкоголовых» он представлял начало письменности и ехидства; говорил плавно, мягко, словно змей полз; голос имел детский; когда злился, то злобу свою обнаруживал чем-то вроде хныканья, от которого вчуже мороз подирал по коже. Словом сказать, это был человек мысли. Напротив того, Гремикин был человек дела. Здоровенный, высокий, широкий в кости и одаренный пространым и жирным затылком, он рыком своим поражал, как Юпитер громом. Он был не речист и даже угрюм; враги даже говорили, что он, в то же время, был глуп и зол, но, разумеется, говорили это по секрету и шепотом, потому что Гремикин шутить не любил. Употреблялся он преимущественно для производства скандалов и в особенности был прелестен, когда, заложив одну руку за жилет, а другою слегка подбоченившись, молча становился перед каким-нибудь крикливым господином и взорами своих оловянных глаз как бы приглашал его продолжать разговор. «Крепкоголовые» хихикали и надрывали животики, видя, как крикливый господин (особливо если он был из новичков) вдруг прикусывал язычок и превращался из гордого петуха в мокрую курицу. «Стригуны», «скворцы» и «плаксы» ненавидели и боялись его; Козелков тоже провидел в нем что-то таинственное и потому всячески его избегал. И его тоже трепетали мужики, и свои, и чужие, но он и не подумал бежать из деревни, когда крепостное право было уничтожено, а, напротив, очень спокойно и в кратких словах объявил, что «другие как хотят, а у меня будет по-прежнему». И до него тоже добиралось пять губернаторов, но тоже ничего не доспели, потому что Гремикин сразу отучил полицию ездить в свое имение. «Нет тебе ко мне въезду», – сказал он исправнику, и исправник понял, что въезду действительно нет и не может быть. Два раза он был присужден на покаяние в монастырь за нечаянное смертоубийство, но оба раза приговор остался неисполненным, потому что полиция даже не пыталась, а просто наизусть доносила, что «отставной корнет Яков Филиппов Гремикин находится в тягчайшей болезни». Когда он играл в преферанс, то никто ему вистовать не отваживался, какую бы сумасшедшую игру он ни объявил. Понятно, что для «крепкоголовых» такой человек был сущий клад и что они ревниво окружали его всевозможными предупредительностями.

Козелков очень любезно поздоровался с Праведным и боязливо взглянул на Гремикина, который, в свою очередь, бросил на него исподлобья воспаленный взор. Он угрюмо объявил десять без козырей.

– Ну-с, как дела в собрании, почтеннейший Созонт Потапыч? – любезно спросил Козелков.

– Посредников, вашество, экзаменуем, – отвечал Праведный своим детским голоском и так веселенько хихикнул, что Дмитрий Павлыч ощутил, как будто наступил на что-то очень противное и ослизлое.

– Десять без козырей, – снова объявил Гремикин.

– Однако мой приход, кажется, счастье вам принес, Яков Филиппыч? – подольстился

Козелков.

– Я иногда... всегда!.. – отвечал колосс, даже не поворачивая головы, – скорее таким манером ремизы списываются...

– С Яковом Филиппычем это, вашество, бывает-с, – вступился один из партнеров, очевидно, смущенный, – а ну-те, я повистую!

– Не советую! – мрачно цыркнул колосс и тут же смешал карты.

Игра продолжалась, но, очевидно, для одной проформы, потому что Гремикин без церемоний объявил несколько раз сряду десять без козырей и живо стер свои и чужие ремизы. Партнеры его только вздыхали, но возражать не осмелились.

– Подьячего под хреном и рюмку водки – да живо! – по окончании игры цыркнул Гремикин клубному лакею.

Дмитрий Павлыч сконфузился и принял это на свой счет.

– Так вы говорите, Созонт Потапыч, что у вас посредники... – обратился Козелков к Праведному, чтоб рассеять овладевавшее им смущение.

– Из поджигателей-с! – кротко молвил Праведный и хныкнул.

– Скажите, однако!

– Всех на одну осину! – сквозь зубы произнес Гремикин.

– Проэкзаменуем-с, – еще кротче продолжал Праведный.

– На осину – и баста! и экзаменовать нечего!

– Нет-с, зачем же-с! По форме, Яков Филиппыч, по форме-с всё сделаем-с... Позовем, этак, к столу-с, и каждый свою лепту-с...

– Но скажите, пожалуйста... может быть, я... Если б вам угодно было сообщить мне ваши соображения... я мог бы...

– Нет-с, вашество, этак-то лучше-с... Вот мы их уже позовем-с, кротким манером побеседуем-с, а потом и по-просим-с...

– Но ежели они не согласятся?

Праведный опять хныкнул.

– Ну уж, об этом спросите, вашество, у Якова Филиппыча! – молвил он как-то особенно мягко.

Козелков взглянул на Гремикина и увидел, что тот уже смотрит на него во всю ширину своих воспаленных глаз.

– Мы, вашество, «доходить» не любим! – продолжал между тем Праведный, – потому что судиться, вашество, – еще не всякий дарование это имеет! Пожалуй, вашество, еще доказательств потребуем, а какие же тут доказательства представить можно-с?

– Поверьте, почтеннейший Созонт Потапыч, что я всегда готов! – горячо вступился Козелков, – я просто по одному слову благородного человека...

– Знаем, вашество! и видим это! Это точно, что у вашегоства чувства самые благородные...

– Следовательно, отчего ж вам не обратиться ко мне? обратитесь с полной откровенностью, доверьтесь мне... откритесь, наконец, передо мной! – затолковал Дмитрий Павлыч и в самом деле ощутил, что в груди его делается как будто прилив родительских чувств.

– Дождись! – прошипел Гремикин, но так ясно, что шип его проникнул во все углы комнаты.

– Нет-с уж, вашество, зачем вам беспокоиться! мы это сами-с... сперва один к нему подойдет, потом другой подойдет, потом третий-с... и всё, знаете, в лицо-с!..

– «Поджаривать» это по-нашему называется, – отозвался из угла чей-то голос.

– Это так-с, это точно-с. Потому, он тут, вашество, словно вьюн живой на сковороде: и на один бок прыгнет, и на другой бок перевернется – и везде жарко-с!

Праведный вздохнул и умолк; прочие присутствующие тоже молчали. Гремикин смотрел на Козелкова так пристально, что последнему сделалось совсем неловко.

– А нельзя ли, голубчик, стаканчик чайку мне? – обратился Праведный к лакею, – да

жиденюкого мне, миленький, жиденюкого!

Митенька вздрогнул при звуках этого голоса; ему серьезно померещилось, что кто-то словно высасывает из него кровь. Снова водворилось молчание; только карты хляскали по столам, да по временам раздавались восклицания игроков: «пас»; «а ну, где наше не пропадало!» и т. д. или краткие разговоры вроде следующих:

– Опять-таки ты, Семен Иванович, характера не выдержал! ведь тебе говорено было, что сдавать тебе не позволим!

– Клянусь...

– Нечего «клянусь»! Сам своими глазами видел! Король-то бубен кому следовал? мне следовал! А к кому он попал? к кому он попал?

– Да что с ним толковать! Сдавайте за него, Терентий Петрович, – да и всё тут!

– Нет, брат! играть с тобой еще можно, но позволять тебе карты сдавать – ни-ни! и не проси вперед.

Или:

– Уж я, брат, ему рожу-то салил, салил, так он даже обалдел под конец!

– Неужто?

– Право! глядит, это, во все глаза и не понимает ни где он, ни что с ним... только перевертывается!

– Ха-ха-ха!

Козелков потихоньку встал с своего места и направил шаги в бильярдную.

– Бюрократ! – пустил ему вслед Гремикин.

«Отчего они меня так называют! отчего они не хотят мне довериться!» – мучительно подумал Козелков, услышав долетевшее до него восклицание.

Но в бильярдной происходила целая история.

– Кто смеет Олимпиаду Фавстовну здесь упоминать? – гремел чей-то голос.

– Да уж это так! была бы здесь Олимпиада Фавстовна, она бы не позволила тебе рыло-то мочить! – отвечал другой, не менее решительный голос.

– Как ты смел самое имя жены моей в этом кабаке произносить? – настаивал первый голос.

– Да уж это так! часто уж очень, брат, к водке прикладываешься!

Митенька не решился проникать далее и полегоньку начал отступать к дверям. Ему даже показалось, что кто-то задушенным голосом крикнул «караул», но он решился игнорировать это обстоятельство и только спросил у швейцара, суетившегося около него с шинелью:

– Каждый день у вас так бывает?

– Кажный, вашество, день!

Как-то легко и хорошо почувствовал себя Дмитрий Павлыч, когда очутился на улице и его со всех сторон охватило свежим морозным воздухом. Кругом было пустынно и тихо, только кучера дремали на козлах у подъездов, да изредка бойко пробегал по тротуарам какой-нибудь казачок, поспешая в погребок за вином. Козелков хотел вывести какое-нибудь заключение из того, что он видел в тот вечер, но не мог ничего сообразить. С одной стороны, он понимал, что не выполнил ни одной йоты из программы, начертанной правителем канцелярии; с другой стороны, ему казалось, что программа эта должна выполняться сама собой, без всякого его содействия.

«С Божьею помощью...» – подумал он и в это самое время поравнялся с квартирою Коли Собачкина.

Квартира Собачкина была великолепно освещена и полна народу. По-видимому, тут было настоящее сходбище, потому что все «стригуны» и даже большая часть «скворцов» состояли налицо. Митеньку так и тянуло туда, даже сердце его расширилось. Он живо вообразил себе, как бы он сел там на канаве и начал бы речь о principes; кругом внимали бы ему «стригуны» и лепетали бы беспечные «скворцы», а он все бы говорил, все бы говорил...

– Итак, messieurs! если на предстоящее нам дело взглянуть с точки зрения вечной идеи

права... – заговорил было Козелков вслух, но оглянулся и увидел себя одного среди пустынной улицы.

III

А у Коли Собачкина было действительно целое сходбище. Тут присутствовал именно весь цвет семиозерской молодежи: был и Фуксёнок, и Сережа Свайкин, и маленький виконтик де Сакрекокен, и длинный барон фон Цанарцт, был и князек «Соломенные Ножки». Из «не-наших» допущен был один Родивон Петров Храмолов, но и тот преимущественно в видах увеселения. Тут же забрался и Фавори, но говорил мало, а все больше слушал.

Собрались; уселись в кружок против камелька и начали говорить о *principes*.

Юные семиозерцы были в большом затруднении, ибо очень хорошо сознавали, что если не придумают себе каких-нибудь *principes*, то им в самом непродолжительном времени носу нельзя будет никуда показать.

– Позвольте, *messieurs*, – сказал наконец Коля Собачкин, – по моему мнению, вы излишне затрудняетесь! Я нахожу, что *principes* можно из всего сделать... даже из регулярного хождения в баню!

Присутствующие несколько изумились.

– Во всяком случае, это не будут крестовые походы! – скромно заметил Фуксёнок.

– Не прерывай, Фуксёнок! и вы, господа, не изумляйтесь, потому что тут совсем нет никакого парадокса. Что такое *principe*? – спрашиваю я вас. *Principe* – это вообще такая суть вещи, которая принадлежит или отдельному лицу, или целой корпорации в исключительную собственность; это, если можно так выразиться, девиз, клеймо, которое имеет право носить Иван и не имеет права носить Петр. Следовательно, если вы приобретете себе исключительное право ходить в баню, то ясно, что этим самым приобретете и исключительное право опрятности; ясно, что на вас будут указывать и говорить: «Вот люди, которые имеют право ходить в баню, тогда как прочие их соотечественники вынуждены соскабливать с себя грязь ножом или стеклом!» Ясно, что у вас будет принцип! Ясно?

«Стригуны» молчали; они понимали, что слова Собачкина очень последовательны и что со стороны логики под них нельзя иголки подточить; но в то же время чувствовали, что в них есть что-то такое неловкое, как будто похожее на парадокс. Это всегда так бывает, когда дело идет о великих *principes*, и, напротив того, никогда не бывает, когда идет речь о предметах низких и обыкновенных. Так, например, когда я вижу стол, то никак не могу сказать, чтобы тут скрывался какой-нибудь парадокс; когда же вижу перед собой нечто невесомое, как, например: геройство, расторопность, самоотверженность, либеральные стремления и проч., то в сердце мое всегда заползает червь сомнения и формулируется в виде вопроса: «Ведь это кому как!» Для чего это так устроено – я хорошенько объяснить не могу, но думаю, что для того, чтобы порядочные люди всегда имели такие *sujets de conversation*,⁵⁰ по поводу которых одни могли бы ораторствовать утвердительно, а другие – ораторствовать отрицательно, а в результате... *du choc des opinions jaillit la vérité!*⁵¹ Так точно было и в настоящем случае. «Стригуны» сознавали, что Собачкин прав, но в то же время ехидные слова Фуксёнка: «А все-таки крестовых походов из этого не выйдет!» – невольно отдавались в ушах. Собачкин угадал молчание, следовавшее за его словами.

– Я понимаю, – сказал он, – вас сбивают с толку крестовые походы... *Mais entendons-nous, messieurs!*⁵² Я совсем не из тех, которые отрицают важность такого

⁵⁰ Темы для беседы (*фр.*) .

⁵¹ Из столкновения мнений возникает истина! (*фр.*)

⁵² Но сговоримся, господа! (*фр.*)

исторического précédent,⁵³ однако позвольте вам заметить, что ведь в крестовых походах участвовали целые толпы, но разве все участвовавшие получили право ссылаться на них? Нет, это право получили только les preux chevaliers!⁵⁴ Вы слышите... вы чувствуете, что и здесь сила совсем не в факте участия, а в праве ссылаться на него... Ясно?

Собачкин окинул присутствующих торжествующим взором; «стригуны» поколебались и начали что-то понимать.

– Пропинационное право... – задумчиво пробормотал длинноногий фон Цанарцт.

– Mais vous concevez, mon cher,⁵⁵ что право хождения в баню я привел вовсе не с точки зрения какой-нибудь драгоценности!

– Пропинационное право полезно было бы получить... – еще раз, и задумчивее прежнего, повторил Цанарцт.

– Господа! в шестисотых годах, в Малороссии, жида имели право... – заикнулся Фуксёнок.

– Так то жида! – отвечал Собачкин и бросил такой леденящий взор, что Фуксёнок даже присел.

– Messieurs! расшибем Фуксёнку голову! – вдруг воскликнул князек «Соломенные Ножи», как бы озаренный свыше вдохновением.

– Bravo! bravo! расшибем Фуксёнку голову! – повторили «скворцы» хором.

– Chut, messieurs!⁵⁶ Ваша выходка напоминает канныбальское времяпровождение нашего старичья! Я уверен, что они даже в настоящую минуту дуют водку и занимаются расшибанием кому-нибудь головы в клубе – неужели вы хотите идти по стопам их! Ах, messieurs, messieurs! – неужели же и действительно такова наша участь, что мы никогда не будем в состоянии ни до чего договориться?

Тон, которым были сказаны Собачкиным эти последние слова, звучал такую грустью, что «стригуны» невольно задумались. Вся обстановка была какая-то унылая; от камелька разливался во все стороны синеватый трепещущий свет; с улицы доносилось какое-то гуденье: не то ветер порхал властелином по опустелой улице, не то «старичье» хмельными ватагами разъезжалось по домам; частый, мерзлый снежок дребезжал в окна, наполняя комнату словно жужжанием бесчисленного множества комаров...

– Господа! необходимо, однако ж, чем-нибудь решить наше дело! – первый прервал молчание тот же Собачкин, – мне кажется, что если мы и на этот раз не покажем себя самостоятельными, то утратим право быть твердыми безвозвратно и на веки веков!

Фавори, до сих пор смиреннько сидевший в уголку и перелистывавший какой-то кипсек, навострил уши.

– Новгородцы такали-такали, да и протакали! – меланхолически заметил Фуксёнок.

– «Les novogorodiens disaient oui, disaient oui – et perdirent leur liberté»; «Die Novogorodien sagten ja, und sagten ja – und verloren ihre Freiheit»,⁵⁷ – вдруг отозвались голоса из разных углов комнаты.

Лица на минуту из хмурых опять сделались веселыми.

– Я все-таки полагаю, что узел вопроса заключается в пропинационном праве, –

⁵³ Прецедента (фр.) .

⁵⁴ Благородные рыцари (фр.) .

⁵⁵ Но вы понимаете, милый мой (фр.) .

⁵⁶ Тише, господа! (фр.)

⁵⁷ Новгородцы говорили да, говорили да – и потеряли свободу (фр.) .

глубокомысленно отрубил Цанарцт. – Вино, *messieurs*, – это такой продукт, относительно которого все руки развязаны. С одной стороны, употребление его возбраняется законами нравственности, и, следовательно, ограничение его производства не противоречит требованиям самых строгих моралистов; с другой стороны, – это продукт не только необходимый, но и вполне соответствующий требованиям народного духа. Следовательно, правильный и изобильный исток его обеспечен на долгие времена! Вот, *messieurs*, те данные, которые заставляют меня особенно настаивать на этом предмете!

Однако ж эта речь произвела действие не столь благоприятное, как можно было ожидать, потому что всякий очень хорошо понимал, что для того, чтоб сообщить пропинационному праву тот пользительный характер, о котором упоминал Цанарцт, необходимо было обладать достаточными капиталами. Но капиталов этих ни у кого, кроме Цанарцта, не оказывалось, по той простой причине, что они давным-давно были просвистаны достославными предками на разные головоушибательные увеселения. Поэтому, если и чувствовалась надобность в каком-либо исключительном праве, то отнюдь не в виде пропинационного, а в таком, которое имело бы основание преимущественно нравственное и философическое («вот кабы в зубы беспрекословно трескать можно было!» – секретно думал Фуксёнок, но мысли своей, однако, не высказал). Мысль эту в совершенстве усвоил себе Коля Собачкин.

– Я вполне согласен с доводами Цанарцта насчет пропинационной привилегии, – сказал он, – но могу допустить ее только на втором плане и, так сказать, между прочим. Это право носит на себе слишком явную печать эгоистических целей, чтобы можно было прямо начать с него. По мнению моему, мы обязаны прежде всего показать себя бескорыстными и великодушными; мы должны дать почувствовать, что в нас заключается начало цивилизующее. Я знаю, что и знаменитейший из публицистов нашего времени не отвергает важности пропинационного права, но, вместе с тем, он указывает и на нечто другое, на что преимущественно должны быть устремлены наши взоры. Это нечто, эта драгоценная панацея, от которой мы должны ожидать врачевания всех зол... есть *selfgovernment*,⁵⁸ в том благонадежном смысле, в котором его понимают лучшие люди либерально-консервативной партии!

Фавори наострил уши сугубо. Общий одобрительный шепот пронесся по комнате, хотя, по правде сказать, очень немногие усвоили себе истинный смысл речи Собачкина.

– Потому что главная цель, к которой мы должны стремиться, – продолжал Собачкин, – это приобрести в свою собственность принцип, так сказать, нравственный! А затем...

Оратор остановился на минуту, как бы смакуя ту сладость, которую он намеревался выпустить в свет.

– А затем и все прочие принципы естественным порядком перейдут к нам же! – договорил он вполголоса.

«Скворцы» встрепенулись и, считая предмет исчерпанным, вознамерились было, по обыкновению, шутки шутить, но Собачкин призвал их к порядку и продолжал.

– В этом смысле, – сказал он, – мы должны начать действовать с завтрашнего же дня, и притом действовать решительно и единодушно!

– А старики? – произнес кто-то из присутствующих.

«А старики?» – пронеслось над душою каждого. Начались толки; предложения следовали одни за другими. Одни говорили, что ежели привлечь на свою сторону Гремикина, то дело будет выиграно наверное; другие говорили, что надобно ближе сойтись с «маркизами» и ополчиться противу деспотизма «крепкогоголовых»; один голос даже предложил подать руку примирения «плаксам», но против этой мысли вооружились решительно все.

– Да вспомните же, господа, кто у нас у шаров-то стоит! – горячился князь

⁵⁸ Самоуправление (*нем.*) .

«Соломенные Ножки». – Ведь Гремикин стоит! Гремикин! поймите вы это!

– Гремикина! Гремикина, *messieurs*, надо приобрести! – кричали «скворцы».

– Вот вы увидите, что мы и теперь накидаем только шаров, да и разведемся, ничего не сделавши!

– Ну, нет, это дудки!

– *Messieurs!* да позвольте же мне высказать свое мнение!

– *Messieurs!* выслушайте! ради Христа!

Поднялся шум и гам, столь родственный русскому сердцу; когда же лакей доложил, что подано кушать, то все *principes* окончательно забылись. Фавори только этого и дожидался, потому что знал, что настоящее его торжество начнется за ужином. Он мастерски пел гривуазные песни и при этом как-то лихо вертел направо и налево головою и шевелил плечами. Все это очень нравилось искателям принципов, которые все-таки канкан ценили выше всего на свете. И действительно, как только подали ужинать, Фавори мало-помалу начал вступать в свои права. Уже за первым блюдом он очень шикарно спел «*Un soir à la barrière*»,⁵⁹ а за вторым до того расхотелся, что вышел из-за стола и представил, как, по его мнению, Гремикин должен канкан танцевать. Но, сделавши это, он струсил и впал в уныние, потому что очень живо вообразил себе, что сделает с ним Гремикин, если узнает об его продерзости. Но так как впечатления проходили по его французской душе быстро, то и это мгновенное уныние скоро уступило главному всесильно им обладавшему чувству, чувству доказать всем и каждому, что он славный малый и что для общего увеселения готов во всякое время сглупить живьем своего собственного отца. Даже Козелкову досталось в этих юмористических упражнениях, хотя и тут Фавори не преминул слегка потрепетать. Под конец он даже притворился пьяным, чтобы окончательно отнять у своих амфитрионов повод женироваться⁶⁰ с ним и в то же время приобрести для себя некоторое оправдание в будущем.

– А что вы скажете насчет Марьи Петровны? – приставали к нему «скворцы».

– Марья Петровна, *messieurs*... это я вам скажу... у ней... – болтал Фавори и выбалтывал такую мерзость, от которой у «скворцов» и у «стригунов» захватывало дух от наслаждения.

И длился этот вечер до самых заутрень, длился весело и шумно. И долго потом не мог забыть Фуксёнок рассказов Фавори о Козелкове и Марье Петровне и, возвратившись в свой мирный уезд, несколько месяцев сряду с большим успехом изображал, как Гремикин танцует канкан. Великий художник нашел-таки себе достойного подражателя.

IV

Время шло да шло, а в собрании всё «экзаменовали» посредников. Напрасно вопияли «стригуны», что в настоящие «торжественные минуты» не до дразгов, а надо, дескать, подумать о спасении принципа и дать хороший отпор бюрократии – никто не убеждался и не унимался. Платон Иваныч, которому пуще всего хотелось посидеть на своем месте еще трехлетие, очень основательно рассудил, что чем больше господа дворяне проводят время, тем лучше для него, потому что на этой почве он всегда будет им приятен, тогда как на почве более серьезной, пожалуй, найдутся и другие выскочки, которые могут пустить в глаза пыль. Поэтому он всячески разжигал рьяных экзаменаторов, число которых росло не по дням, а по часам. Большинство до того увлеклось «экзаменами», что даже возвышалось некоторым образом до художественности, придавало своим запросам разнообразные литературные формы, изображало их в лицах и т. п.

⁵⁹ «Вечерком у заставы» (*фр.*) .

⁶⁰ Стесняться (от *фр.* se gêner). – *Примеч. ред.*

– *Вы* вынудили меня, милостивый государь, прибегнуть к ручной расправе! – ораторствовал один. – Я отроду, государь мой! – слышите ли? – отроду пальцем никого не тронул, а, по милости вашей, должен был, понимаете ли? вынужден был «легко» потрепать *его* за бороду!

– Вы сделали меня вором! – вопиал другой.

– Каково мне эти плюхи-то есть? – вопрошал третий.

– Нет, вы представьте себе, что он со мной сделал! – докладывал четвертый, – сидит этак он, этак я, а этак стоит Катька-мерзавка... Хорошо. Только, слышу я, говорит он ей: вы тоже, голубушка, можете сесть... это Катьке-то! Хорошо. Только я, знаете, смотрю на него, да и Катька тоже смотрит: не помстилось ли ему! Ничуть не бывало! Сидит себе да бородку пощипывает: «Садитесь, говорит, садитесь!» Это Катьке-то!

– Как вы оправдаете такой поступок? – сурово произносит предводитель.

– Позвольте, господа, заявить мне здесь жалобу от имени доброй, больной жены моей! – начинает пятый.

Одним словом, жалобам и протестам не предвидится конца. Посредники пыхтят и делают презрительные мины, но внутренне обливаются слезами. Изредка Праведный пустит шип по-змеиному: «Поджигатели!» – и посмотрит не то на окошко, не то на экзаменуемого посредника; от шипа этого виноватого покоробит, как бересту на огне, но привязаться он не может, потому что Праведный сейчас и в кусты: «Это я так, на окошко вот посмотрел, так вспомнилось!» И опять оболется сердце посредника кровью. Словом сказать, такое положение – хоть не кажи морды!

– И на что мы сюда притащились! – толкуют между собой «плаксы».

– Всех на одну осину повесить – и баста! – цыркает во все горло проходящий мимо Гремиков и *нечаянно* задевает одного из плакс локтем.

В эту минуту голос Платона Иваныча покрывает общий шум.

– Господа! – говорит он, – баллотируется предложение об исключении господина Курилкина из собрания! Не угодно ли брать шары?

Курилкин обращается к прокурору и просит разъяснить закон; прокурор встает и разъясняет. Происходит общая суматоха; «крепкоголовые» не верят, «стригуны» презрительно улыбаются; «плаксы» временно торжествуют.

Козелков следит из своего кабинета за этою суматохой и весело потирает руки.

– А ведь я ловко-таки продернул их! – говорит он правителю канцелярии.

– Я, вашеество, докладывал-с...

– Да; это вы хорошо делаете, что излагаете передо мной ваши мысли, но, конечно, я бы и сам...

Одним словом, так развеселился наш Дмитрий Павлыч, что даже похорошел. Он видел, что надобность искать броду уже миновалась, и потому не избегал даже Гремикина; напротив того, заигрывал с ним и потом уверял всех и каждого, что «если с ним (Гремиковым) хорошенько сойтись, то он совсем даже и не страшен, а просто добрый малый».

Мало того, он почувствовал потребность выкинуть какую-нибудь штуку. Это бывает. Когда человека начинает со всех сторон одолевает счастье, когда у него на лопатках словно крылья какие-то вырастают, которые так и взмывают, так и взмывают его на воздух, то в сердце у него все-таки нечто сосет и зудит, точно вот так и говорит: «Да сооруди же, братец, ты такое дело разлюбезное, чтобы такой-то сударь Иваныч не усидел, не устоял!» И до тех пор не успокоится бедное сердце, покуда действительно не исполнит человек всего своего предела.

Козелкову давно уж не нравился Платон Иваныч. Не то чтобы они не сходились между собой в воззрениях – воззрений ни у того, ни у другого никаких ни на что не было – но Дмитрию Павлычу почему-то постоянно казалось, что Платон Иваныч словно грубит ему. Козелкову, собственно, хотелось чего? – ему хотелось, чтоб Платон Иваныч был ему другом, чтобы Платон Иваныч его уважал и объяснялся перед ним в любви, чтобы Платон Иваныч

приезжал к нему советоваться: «Вот, вашество, в какое я затруднение поставлен», – а вместо того Платон Иваныч смотрел сурово и постоянно, ни к селу ни к городу упоминал о каких-то «фофанах». Каждое из этих упоминаний растопленным оловом капало на сердце Козелкова, и, несмотря на врожденное его расположение к веселости, дело доходило иногда до того, что он готов был растерзать своего врага. Конечно, растерзать он не растерзал, но зло таки порядочно укоренилось в нем и ждало только удобного случая, чтоб устроить свое маленькое дельце.

Настоящая минута казалась благоприятною. Опасения миновались, затруднений не предвиделось, и Козелков мог дерзать без риска. До срока уж оставалось только два дня; завтра должны состояться уездные выборы, на послезавтра назначалось самое настоящее, генеральное сражение.

Козелков имел по этому случаю совещание.

– Платошка этот... претит! – сказал он и впился глазами в правителя канцелярии.

– Человек необрезанный-с.

– Я, знаете, думаю даже, что он много общим интересам вредит!

– Уж на что же, вашество, хуже-с!

– Потому что возьмите хоть меня! Я человек расположенный! я прямо говорю: я – человек расположенный! но за всем тем... когда я имею дело с этим грубияном... я не знаю... я не могу!

– А вы, вашество, сюрприз им сделайте-с!

– Ну да, я об этом и подумываю!

– Вы, вашество, вот что-с: завтра, как уездные-то выборы кончатся, вы вечером на балу и подойдите к ним, да так при всех и скажите-с: «Благодарю, мол, вас, Платон Иваныч, что вы согласно с моими видами в этом важном деле действовали». Господа дворяне на это пойдут-с.

– А что вы думаете! в самом деле!

– Это верно-с. Они на этот счет просты-с.

Козелков повеселел еще больше. Он весь этот день, а также утро другого дня употребил на делание визитов и везде говорил, как он доволен «почтеннейшим» Платоном Ивановичем и как желал бы, чтоб этот достойный человек и на будущее трехлетие удержал за собой высокое доверие дворянства.

– Согласитесь сами, – говорил он, – вот теперь у нас выборы – ну где же бы мне, при моих занятиях, управить таким обширным делом? А так как я знаю, что там у меня верный человек, то я спокоен! Я уверен, что там ничего такого не сделается, что было бы противно моим интересам!

Козелков говорил таким образом преимущественно барыням, так как мужей никогда нельзя было найти дома. Барыни, разумеется, тотчас же пересказали мужьям и, разумеется же, так перепутали слова Козелкова, что нельзя было даже разобрать, кто о ком говорил: Козелков ли о Платоне Иваныче, или Платон Иваныч о Козелкове. Но обстоятельство это не только не повредило делу, а, напротив того, содействовало его успеху, ибо оно раздражило любопытство мужской половины, сделало сердца их готовыми к восприятию сплетни, но самую сплетню до поры до времени еще скрыло. Наконец наступил и вечер, во время которого все сие должно было совершиться.

Просторная зала клуба вся залита светом. От огромного количества зажженных свеч и множества народа атмосфера душна и влажна. Около дам, замечательных либо красотою, либо развязностью манер, живо образовались целые кружки молодежи. Демуазельки прохаживаются по залу вереницами, очень часто убегают в уборную и, возвратившись оттуда, о чем-то шепчутся и хихикают. Баронесса фон Цанарцт, высокая, стройная, роскошная, решительно привлекает все сердца; она одета в великолепное желтое платье, которое очень идет к ее смуглому и резко выразительному лицу; около нее так и жужжит целый рой вздыхающих и пламенеющих «стригунов». В одном из углов сидит томная мадам Первагина и как-то знойно дышит под влиянием речей и взглядов Сережи Свайкина; она

счастлива и, быть может, одна из всех наличных дам не завидует баронессе. «Крепкоголовых» не видать никого; они изредка выглядывают из внутренних комнат в залу, постоят с минуту около дверей, зевнут, подумают: «а ведь это всё наши!» – и исчезнут в ту зияющую пропасть, которая зовется собственно клубом. «Маркизы» все налицо в зале и показывают публике свои грасы. Музыка слаживается и ждет только сигнала, чтобы наполнить залу целыми потоками посредственного достоинства гарнизонной гармонии. Господа офицеры натягивают перчатки.

И вдруг весь этот люд закружился, а с ним вместе заколыхался и горячий воздух. «Стригуны» вальсируют солидно, «скворцы» прыгают и изгибаются; Фуксёнок, при малом своем росте, представляется бесплодно стремящимся достать до плеча своей дамы; князек «Соломенные Ножки» до того перегнулся, что издали кажется совершенным складным ножиком; Цанарцт выбрал какого-то подростка из demuазелек и мнетя с ним на одном месте, словно говорит: «А ну, душенька, вот так ножкой! ну, и еще так!» Мадам Первагина не вальсирует, а, так сказать, млеет.

– Приходите завтра утром, – шепчет она своему кавалеру, Свайкину. – Я вам покажу картинки...

Но вот и опять музыка смолкла; demuазельки тотчас же ринулись в уборную, и вслед за тем оттуда послышалось невинное хихиканье. Баронесса опять стояла среди залы, окруженная целой толпой, и по временам взглядывала на входную дверь, как будто ждала кого-то. Читатель! увы, я должен сознаться, что она ждала Козелкова! Да; в течение каких-нибудь семи, восьми дней успело многое измениться, и баронесса не устояла-таки против обаяний, которые тонкою струей источает из себя административный соблазн. От нее одной Козелков не утаил своих намерений и даже успел сделать из нее верную союзницу, очень ловко намекнув, что барон слишком уж скромн, что от него зависело бы и т. д. При этом Козелков такими жадными глазами смотрел на баронессу, что ей делалось в одно и то же время и жутко, и сладко. Целая цепь губернских торжеств и поклонений в одно мгновение пронеслась в ее воображении, целое облако острых губернских фимиамов разом нахлынуло на нее и отуманило ее голову. И как ни упирался скаредный сын Эстляндии против искушений жены, как ни доказывал, что винокурная операция требует неотлучного пребывания его в деревне, лукавая дочь Евы успела-таки продолбить его твердый череп и с помощью обмороков, спазмов и других всеильных женских обольщений заставила мужа положить оружие.

Наконец Козелков явился весь радостный и словно даже светящийся. Он прямо направил стопы к баронессе, и так как в это время оркестр заиграл ритуфель кадрили, то они сели в паре. Визави у них был граф Козельский и пикантная предводительша.

– Прикажете, вашество, начинать? – вдруг грянул над самым его ухом батальонный командир, который в то же время был и распорядителем танцев.

Козелков вздрогнул и грациозно склонился к баронессе, которая, в свою очередь, бросила на усердного командира не то насмешливый, не то утвердительный взгляд. Командир махнул платком, и пары заколыхались.

– Он согласен, – сказала баронесса Козелкову.

– Стало быть, вам остается только быть любезной нынешний вечер с молодыми людьми и графом.

– А вы?

– Я свое дело сделаю... но, баронесса...

Митенька вздохнул так, как будто бы ему было очень жарко.

– Что еще? – спросила баронесса и, обернувшись к нему, улыбнулась всем своим прекрасным лицом.

Но он не отвечал и все продолжал вздыхать.

– Какой вы еще мальчик, однако ж!

– Баронесса! – чуть-чуть простонал Козелков.

– Молчите! вы смотрите на меня с таким ужасным красноречием, что даже самые

непонятливые – и те могут легко убедиться. Давайте лучше говорить *de choses indifférentes*,⁶¹ и потом оставьте меня на целый вечер.

– Я, баронесса, уеду домой.

– Это жаль, но если нужно... Впрочем, я сама думаю, что так будет лучше...

В это время Платон Иваныч, конечно, всего менее ожидал каких-либо нападений или подвохов и преспокойно стоял себе в одной из карточных зал, окруженный приверженцами и заранее предвкушая завтрашнее свое торжество. Он даже слегка рассуждал о принципах и в «шутливом русском тоне» проходилась насчет бюрократии, и хотя рассуждения его были отменно глупы, но они удовлетворяли «крепкоголовых», которые в ответ ему ласково сопели. Одним словом, Платон Иваныч торжествовал, а в городе носились уже слухи насчет какого-то чудовищного обжорства, которое готовил предводитель в заключение выборов.

В такую-то минуту в эту самую комнату вошел Дмитрий Павлыч Козелков и прямо подошел к Платону Иванычу.

– Господа! – сказал он голосом, несколько дрожавшим от волнения, – пользуюсь этим случаем, чтобы перед лицом вашим засвидетельствовать мою искреннюю признательность достойнейшему Платону Ивановичу! Платон Иванович! мне приятно сознаться, что в таком важном деле, каково настоящее собрание гг. дворян, вы вполне оправдали мое доверие! Вы не только действовали совершенно согласно с моими видами и предначертаниями, но, так сказать, даже благосклонно предупреждали их. Еще раз благодарю!

Платон Иваныч сгоряча ничего не понял и с чувством пожал протянутую ему Козелковым руку. Окружающие, большую частью, были умилены, но некоторых уже нечто кольнуло. Сказавши свою речь, Козелков рысцой поспешил оставить клуб.

Гремикин, как говорится, взвился...

На другой день, с самого утра, по городу уже ходил слух о кандидатуре барона фон Цанарцта, как о такой, которая имеет всего более шансов на успех. И действительно, к четырем часам пополудни эти слухи получили полное осуществление. Платона Иваныча, по обыкновению, окружили и просили еще раз пожертвовать собой на пользу сословия, но когда он изъявил готовность баллотироваться (и при этом даже заплакал), то, против обыкновения, его прокатили на вороных. Графа Козельского вновь и огромным большинством выбрали в попечители губернской гимназии.

Нахожу излишним прибавлять здесь, что чудовищное обжорство, задуманное Платоном Иванычем, не состоялось, и город дня через два принял свою будничную, пустынную физиономию.

Я охотно изобразил бы, в заключение, как Козелков окончательно уверился в том, что он Меттерних, как он собирался в Петербург, как он поехал туда и об чем дорогой думал и как наконец приехал; я охотно остановился бы даже на том, что он говорил о своих подвигах в вагоне на железной дороге (до такой степени все в жизни этого «героя нашего времени» кажется мне замечательным), но предпочитаю воздержаться.

«Она еще едва умеет лепетать»

I

Побывавши в Петербурге, Козелков окончательно убедился, что для того, чтобы хорошо вести дела, нужно только всех удовлетворить. А для того, чтобы всех удовлетворить, нужно всех очаровать, а для того, чтобы всех очаровать, нужно – не то чтобы лгать, а так объясняться, чтобы никто ничего не понимал, а всякий бы облизывался. Он припомнил, что

⁶¹ О безразличных вещах (*фр.*).

всякий предмет имеет несколько сторон: с одной стороны – то-то, с другой стороны – то-то, между тем – то-то, а если принять в соображение то и то – то-то, и наконец, в заключение – то-то. Да, пожалуй, в крайнем случае можно обойтись и без «заключения», и «очарование» не только от этого не терпит, но даже действует тем сильнее, чем более открывается всякого рода сторон и чем меньше выводится из них заключений. Ибо таким образом слушатель постоянно держится, так сказать, на привязи, постоянно чего-то ждет, постоянно что-то как будто получает и в то же время никаким родом это получаемое ухватить не может.

Козелков даже и говорить стал как-то иначе. Прежде он совестился; скажет, бывало, чепуху – сейчас же сам и рот разинет. Теперь же он словно даже и не говорил, а гудел; гудел изобильно, плавно и мерно, точно муха, не повышающая и не понижающая тона, гудел неустанно и час и два, смотря по тому, сколько требовалось времени, чтоб очаровать, – гудел самоуверенно и, так сказать, резонно, как человек, который до тонкости понимает, о чем он гудит. И при этом не давал слушателю никакой возможности сделать возражение, а если последний ухитрялся как-нибудь вернуть свое словечко, то Митенька не смущался и этим: выслушав возражение, соглашался с ним и вновь начинал гудеть как ни в чем не бывало. И действительно, внимая ему, слушатель с течением времени мало-помалу впадал как бы в магнетический сон и начинал ощущать признаки расслабления, сопровождаемого одновременным поражением всех умственных способностей. Мнилось ему, что он куда-то плывет, что его что-то поднимает, что впереди у него мелькает свет не свет, а какое-то тайное приятство, которое потому именно и хорошо, что оно тайное и что его следует прямо вкушать, а не анализировать.

Самая фигура Митеньки изменилась. Был он, в первобытном состоянии, невысок ростом и несколько сутуловат, а теперь сделался, что называется, бель-омом⁶² и даже излишне выпрямился; прежде было в лице его что-то до такой степени уморительное, что всякий так и порывался взять его за цапы, – теперь и это исчезло, а взамен того явилось какое-то задумчивое, скорбное, почти что гражданственное выражение. Точно он вот-вот сейчас о чем-то думал и пришел к безрадостному заключению, что надо и еще думать, все думать... думать без конца. Манеры он приобрел благосклонные, но сдержанные, и хотя всем без исключения протягивал руку, но акт этот совершал с такою щепетильною осмотрительностью, что лицу, до которого он относился, оставалось или благоговеть, или же прыснуть со смеху.

К правительственным мерам Митенька стал относиться критически. Находил, что многого еще остается желать и что хотя, конечно, всего вдруг нельзя, однако не мешало бы кой-что и поприкинуть. Но и в этом случае он надеялся, что практика значительно поправит теорию, а под практикою разумел себя и других Козелковых, рассеянных по лицу Российской империи. «Вся суть, *mon cher*, заключается в исполнителях, – развивал он по этому случаю свою теорию, – если исполнители хороши, и главное (*c'est le mot*⁶³), если они *с направлением*, то всякий закон...»

Уже с самой минуты вшествия своего в вагон железной дороги он начал поражать всех своим глубокомыслием, зрелостью суждений и, так сказать, преданным фрондерством. Во-первых, он встретился там с Петей Боковым, своим другом, сослуживцем и однокашником, который тоже ехал по направлению к Москве. Разумеется, образовался обмен мыслей.

– Ты к себе? – спросил Митя.

– Да; а ты тоже к себе? – в свою очередь, спросил Петя.

– Да. Пора. Надо дело делать.

Оба друга умолкли и уставились глазами в землю, как будто застыдились. Спутники их

⁶² Красавцем мужчиной (от фр. *bel homme*). – Примеч. ред.

⁶³ Вот настоящее слово (фр.).

переглянулись; одни, которые неопытнее, заключили, что с ними путешествуют инкогнито два средних лет чимпандзе,⁶⁴ возвращающиеся к стадам своим; другие же, которые поопытнее и преимущественно из помещиков, тотчас догадались, в чем дело, и, взирая то на Митеньку, то на Петеньку, думали: «А что, ведь это, кажется, наш?»

– Знаешь ли, что я полагаю? я полагаю, что обязанности начальников края совершенно ни с чем не сообразны! – продолжал между тем Митенька, вдруг переставши стыдиться.

Петенька гамкнул что-то в ответ. Спутники опять переглянулись; опытные сказали себе: «Ну да, это он! это наш!», неопытные: «Эге! как нынче чимпандзе-то выравниваться начали!» А советник ревизского отделения Ядришников, рискнувший на лишних шесть целковых, чтобы посмотреть, что делается в вагонах первого класса, взглянул на Митеньку до того почтительно, что у того начало пучить живот от удовольствия.

– Я полагаю, что начальник края обязан заниматься, так сказать, одною внутреннею политикой! – продолжал умствовать Митенька.

– Нынче, вашество, этим делом штаб-офицеры заведывают! – доложил Ядришников и тут же усумнился, понравится ли его речь Митеньке; но последний не только не рассердился, но даже взглянул на него с благосклонностью.

– Я не об том говорю, – отвечал он, – я говорю об том, что начальнику края следует всему давать тон – и больше ничего. А то представьте себе, например, мое положение: однажды мне случилось – а la lettre⁶⁵ ведь это так! – разрешать вопрос о выдаче вдовьего паспорта какой-то ратничихе!

– Я тебе лучше скажу! – вступился Петенька, – предместник мой завел, чтобы все низшие присутственные места представляли ему на утверждение дела о покупке перьев, ниток и прочей канцелярской дряни! Разумеется, я это уничтожил, но, спрашиваю тебя, каков гусь мой предместник!

– Я говорил и повторяю: если вы желаете, чтоб мы дело делали, развяжите нам руки! Развяжите нам руки! – повторяю я, потому что странно, наконец, и требовать от человека с связанными руками, чтоб он действовал!

В этом духе беседовал Козелков довольно продолжительное время, в заключение же объявил себя решительно против излишней, иссушающей соки централизации и угрожал, что если эта система продолжится, то «некогда плодоносные равнины России в самом скором времени обратятся в пустыню».

– Нам надо дать возможность действовать, – прибавил он, – надо, чтобы начальник края был хозяином у себя дома и свободен в своих движениях. Наполеон это понял. Он понял, что страсти тогда только умолкнут, когда префекты получают полную свободу укрощать их.

– Я совершенно с тобой согласен, – отозвался с чувством Петенька.

Я не знаю, согласились ли с Козелковым прочие пассажиры, но с своей стороны спешу заявить, что никаких препятствий к приведению в исполнение его преднамерений не встречаю.

Только приезд в Москву остановил потоки козелковского красноречия, но и тут, выходя из вагона, он во всеуслышание сказал другу своему, Петеньке:

– Я полагаю, mon cher, что нам не мешало бы вступить в соглашение с здешними публицистами!

Однако ж к публицистам не поехал, а отправился обедать к ma tante⁶⁶ Селижаровой и

⁶⁴ Чимпандзе – особый вид из семейства человекообразных обезьян, после *гориллы* наиболее подходящий своею физическою организацией к человеку. – *Примеч. авт.*

⁶⁵ Буквально (*фр.*) .

⁶⁶ Тетушке (*фр.*) .

за обедом до такой степени очаровал всех умным разговором о необходимости децентрализации и о том, что децентрализация не есть еще сепаратизм, что молоденькая и хорошенькая кузина Вера не выдержала и в глаза сказала ему:

– Какой вы, однако ж, Митенька, сделались умный!

II

Приехавши к «себе», Митенька был встречен гурьбою «преданных». Еще до отъезда своего в Петербург он постепенно образовал около себя целое поколение молодых бюрократов, которые отличались тем, что ходили в щегольских пиджаках, целые дни шатались с визитами, очаровывали дам отличным знанием французского диалекта и немилосерднейшим образом лгали. Во главе этой камарильи стоял правитель канцелярии, который хотя был малый на возрасте и происходил из семинаристов, однако, как человек сообразительный, вынужден был следовать за общим потоком. Митенька гордился этою молодежью и называл ее своею гвардиею, но в городе членов ее безразлично называли то «сосунками», то «поросятами».

Нынче довольно много развелось таких бюрократов. Начальники неутомимо стараются о том, чтобы окружить себя молодыми людьми, которые бы имели отчетливое понятие об английском проборе и показывали в приемах грацию. Это, по мнению их, возвышает администрацию, сообщая ей известного рода шик. Некоторые даже снимают с себя фотографические портреты в таком виде: посредине сидит молодой начальник, по бокам – молодые подчиненные, – и, право, группы выходят хоть куда! Начальник обыкновенно представляется нечто разъясняющим, подчиненные – понимающими. Что разъясняет начальник и что понимают подчиненные – об этом до сих пор не мог дать отчета ни один фотограф, однако я никак не позволю себе предположить, чтобы это был с их стороны наглый обман.

Итак, «преданные» гурьбой встретили Митеньку. Произошла сцена. В былые времена администратор ограничился бы тем, что прослезился, но Митенька, как человек современный, произнес речь.

– В настоящую минуту, господа, – сказал он, – мне более, нежели когда-нибудь, необходимо ваше усердие. Прежде я многое предугадывал, теперь – убедился. Виды выяснились совершенно. Нам предстоит только условиться насчет плана будущей кампании – о плане этом вы будете в свое время поставлены мною в известность – и затем дружно направить свои усилия к единой общей цели. Не обещаю вам, что труд будет легкий; напротив того, не скрою, что он даже будет очень и очень тяжел, но надеюсь, что, с Божьею помощью, мы преодолеем препятствия и уничтожим преграды. Главное, *messieurs*, – быть всегда на страже. Вы поставлены, так сказать, у кормила общественного спокойствия, а с общественным спокойствием – по крайней мере, таково мое мнение – в сильной степени связано общественное благосостояние. С одной стороны, ничто так не обеспечивает благонамеренный человеческий труд, как общая тишина, с другой стороны, что же может нам гарантировать тишину, как не благонамеренный человеческий труд? Эти две великие общественные силы неразрывны (Митенька соединил при этом пальцы обеих рук и сделал вид, что не может их растащить), и если мы взглянем на дело глазами проницательными, то поймем, что в тесном их единении лежит залог нашего славного будущего. Тем не менее, взирая на предмет беспристрастно, я не могу не сказать, что нам еще многого кой-чего в этом смысле недостает, а если принять в соображение с одной стороны славянскую распушенность, а с другой стороны, что время никогда терять не следует, то мы естественно придем к заключению, что дело не ждет и что необходимо приступить к нему немедленно. *Eheu, Posthume, Posthume!* – так предостерегает нас древний поэт, и мы не имеем права не воспользоваться его советом. Итак, господа, бодрость и смелость! Будем вместе работать и вместе надеяться. С своей стороны, я всегда, как вы знаете, готов ходатайствовать перед высшим начальством за достойнейших.

Такова была, в первый раз по возобновлении, вступительная речь Митеньки. Правитель канцелярии сейчас же определил ее достоинство, сказав, что это речь без подлежащего, без сказуемого и без связки, но «преданные» поняли. С своей стороны, хотя я и согласен с мнением правителя канцелярии, но нахожу, что такого рода красноречие составляет истинное благополучие и положительный ресурс при нашей бедности. С помощью его можно администрировать, можно издавать журналы, можно даже написать целый трактат о бессмертии души. И будет хорошо.

Разумеется, если б у нас были другие средства, если б мы, по крайней мере, впрямь желали что-нибудь сказать, – тогда дело другое; а то ведь и сказать-то мы ничего не хотим, а только так, зря выбрасываем слова из гортани, потому что на языке болона выросла. Стало быть, тут речи без подлежащего, сказуемого и связки приходится именно как раз впору. Во-первых, обилие словотечения может обмануть слушателя; во-вторых, ежели слушатель и не обманется, то что же он сделает? – плюнет и отойдет прочь – и ничего больше.

Сказав свое слово, Козелков не устыдился, как делывал это прежде, но зажмурил глаза и представился утомленным.

– Без вашества к нам «земские учреждения» пришли-с, – робко молвил правитель канцелярии.

– Будем орудовать-с.

– Прикажете, вашество, распоряжение сделать?

– Будем распоряжаться-с.

Присутствующие думали, что Козелков вновь вступает в состояние единословия, однако ошиблись. Действительно, он несколько минут простоял словно отуманенный, но так как закваска была положена, то не успели слушатели оглянуться, как уже толчея была в исправности и по-прежнему толкла безостановочно.

– «Земские учреждения», *messieurs*, – сказал он, – вот часть той перспективы, которая виднеется перед нами в будущем. Все картины, *messieurs*, пишутся по частям и постепенно, и ни одна из них никогда еще не являлась на свет вдруг, готовою во всех своих частях. Начатая с известного пункта, картина растет, растет, развивается, развивается, все дальше и дальше, покуда, наконец, художник не почувствует потребности довершить начатое, осветив дело рук своих лучами солнца. И все в мире следует этому мудрому закону постепенности. Все живет, все работает, все делает свое дело потихоньку и не спеша. Все смотрит вперед, *messieurs*. И я почитаю себя счастливым, что могу быть перед вами истолкователем тех чувств, которыми более или менее всякий из вас волнуется. Да; еще в школах нас заставляли заучивать мудрое изречение: «Надежда утешает царя на троне, земледельца за сохою, страждущего на одре смерти», и еще:

Надежда! кроткая посланница небес.

И я нахожу, что незабвенные наши педагоги очень хорошо поступали, что упражняли наши молодые умы подобными изречениями. Итак, повторяю: картина еще не нарисована, но она будет нарисована – в этом порукою вам... я! Я многое мог бы сказать вам по этому поводу, о многом желал бы условиться, объясниться, посоветоваться (я человек, *messieurs*, и, как человек, могу ошибаться), но нахожу полезнейшим оставить этот предмет до времени. А покамест, *messieurs*, подумайте! и ежели встретите какие-либо сомнения, обращайтесь ко мне с полною откровенностью. Подумайте, *messieurs*.

Единодушное «ура!» было ответом на эту новую предику обожаемого начальника. Но Козелков уже утомился и только махнул рукой на шумные заявления «преданных».

Дело было вечером, и Митенька основательно рассудил, что самое лучшее, что он может теперь сделать, – это лечь спать. Отходя на сон грядущий, он старался дать себе отчет в том, что он делал и говорил в течение дня, – и не мог. Во сне тоже ничего не видал. Тем не менее дал себе слово и впредь поступать точно таким же образом.

III

А на дворе между тем не на шутку разыгралась весна. Крыши домов уж сухи; на обнаженных от ледяного черепа улицах стоят лужи; солнце на пригреве печет совершенно по-летнему. Прилетели с юга птицы и стали вить гнезда; жаворонок кружится и заливается в вышине колокольчиком. Поползли червяки; где-то в вскрывшемся пруде сладострастно квакнула лягушка. Огнем залило все тело молодой купчихи Бесселендеевой.

– Не могу я ноченьки спать! все тебя, ненаглядного, вижу! – говорит она старому, дряхлому мужу своему.

– Спи! – рычит старый муж и, перекрестивши рот, перевертывается на другой бок.

Словом, всё, все улицы города Семиозерска переполнены какою-то особенною, горячею атмосферой.

Митенька тоже ощущает на себе признаки всемогущей весны. Во-первых, на лице у него появилось бесчисленное множество прыщей, что очень к нему не идет. Каждый раз, вечером, перед сном, он садится перед зеркалом и спрашивает камердинера своего Ивана:

– А что, брат, кажется, уж и в самом деле весна?

– Сами видите! – угрюмо отвечает Иван.

– Много?

– Не есть числа!

– Дай пудру!

Во-вторых, он каждый день, около сумерек, пробирается окольными переулками к дому, занимаемому баронессой фон Цанарцт. В отдалении, на почтенном расстоянии, реют квартальные.

Но административные заботы парализуют все, даже порывы любви. Нет той силы, нет той страсти, которая изгнала бы из головы Митеньки земские учреждения. «Что такое земские учреждения?» – спрашивает он себя сто раз на дню, и хотя объяснить не может, но понимает, чувствует, что понимает. И таким образом влияние весны уничтожается само собою и выражается в одних прыщах. Напрасно хочет он забыть свои преждевременные опасения, напрасно хочет упиться вином любви: в ту самую минуту, когда уста его уже отваживаются прикоснуться к чаше, вдруг что-то словно кольнет его в бок: «А про земские-то учреждения и забыл?»

– Вы не поверите, Marie, как я озабочен! – говорит он баронессе, которая смотрит на него отчасти с досадой, отчасти иронически, – эти земские учреждения... я начинаю, наконец, думать о нигилизме!

– Так вы... нигилист? – произносит баронесса и смотрит еще насмешливее, как будто хочет сказать: «Базаров никогда не позволил бы себе поступать таким нелепым образом с хорошенькой женщиной...»

– Скажу вам, Marie, по секрету: мы все, сколько нас ни есть, мы все немножко нигилисты... да! Разумеется, мы обязаны покамест держать это под спудом, но ведь шила в мешке не утаишь, и истина, *bon gré, mal gré*,⁶⁷ должна же когда-нибудь открыться!

Баронесса с изумлением слушает это нового рода признание, но оно начинает интересовать ее.

– *Au fait*,⁶⁸ что такое нигилизм? – продолжает ораторствовать Митенька, – откиньте пожары, откиньте противозаконные волнения, урезоньте стриженных девиц... и, спрашиваю я вас, что вы получите в результате? Вы получите: *vanitum vanitatum et omnium vanitatum*,⁶⁹ и

⁶⁷ Волей-неволей (*фр.*) .

⁶⁸ На самом деле (*фр.*) .

⁶⁹ *Vanitas vanitatum et omnia vanitas* (*лат.*) – суета сует и всяческая суета.

больше ничего! Но разве это неправда? разве все мы, начиная с того древнего философа, который в первый раз выразил эту мысль, не согласны насчет этого?

Митенька наклоняется очень близко к плечу баронессы и заискивающими глазами смотрит ей в лицо.

– Не нужно только бунтовать, – прибавляет он нежно.

– Но надеюсь, что вы бунтовать не будете?

– Конечно, против вас, Marie, какой же бунт с моей стороны возможен?

– Ну, а *не против* меня? – допрашивает Marie.

– Вы меня не знаете, Marie, – говорит он таинственно, – я совсем не таков, каким кажусь с первого взгляда. Конечно, я служу... но ведь я честолюбив! Marie! поймите, ведь я честолюбив! Откиньте это, взгляните в меня пристальнее – и вы увидите, что административная оболочка далеко не исчерпывает всего моего содержания!

– Итак... вы повстанец?

– Я не говорю этого, баронесса, – опять-таки, зачем впадать в крайности? – но я могу... я во всяком случае могу сохранить свою независимость! Этого, я надеюсь, никто от меня не отнимет!

Митенька чувствует, что он все более и более запутывается, но приход барона очень кстати выводит его из неловкого положения.

– А знаешь ли, Шарль, ведь Дмитрий Павлыч хочет идти... как еще это в газетах пишут... «до лясу», кажется? – продолжает приставать баронесса.

– Что ж, вашество, в городской лес уединиться изволите? – любезно шутит барон.

– Баронесса меня просто сегодня преследует... но, серьезно, у меня есть много кой о чем переговорить с вами, барон!

– К вашим услугам, вашество.

– Во-первых, барон, как хотите, а эти земские учреждения ужасно заботят меня...

– Что же в особенности внушает вашеству опасения?

– Нет, не опасения собственно, но... как хотите, а это предмет такой важности, что прежде, нежели приступить к нему, необходимо, по моему мнению, обсудить его внимательно и со всех сторон.

– Я, с своей стороны, полагаю, вашество, что нам предстоит только исполнить...

– Исполнить – это так; но, с другой стороны, нельзя не принять во внимание и того, что и при самом исполнении необходимо принять меры к обеспечению некоторой свободы совести...

Барон кусает губы; баронесса просто хохочет.

– Нет, мсье Козелков, я вижу, что вы и в самом деле помышляете «до лясу»! – говорит она.

– Вы смеетесь, баронесса, а между тем тут действительно идет дело о предмете первой важности.

Митенька окончательно начинает гневаться, и разговор упадает сам собою. Через несколько минут он удаляется, сопровождаемый насмешливыми взглядами баронессы. В отдалении реют квартальные.

На другой день губернские остроумцы развозят по городу известие, что Козелков скрылся «до лясу» и что его даже видели в городском лесу токующим с тетеревами.

IV

Дни проходят за днями; Митенька все болтает.

– Вы поймите мою мысль, – твердит он каждый день правителю канцелярии, – я чего желаю? я желаю, чтобы у меня процветала промышленность, чтоб священное право собственности было вполне обеспечено, чтоб порядок ни под каким видом нарушен не был и, наконец, чтобы везде и на всем видна была рука! Вы понимаете: «рука»! Вот программа, с которою я выступаю на административное поприще, и натурально, что покуда я не

осуществлю всех своих предположений, покуда, так сказать, не увенчаю здания, я не буду в состоянии успокоиться. Не претендуйте же на меня, почтеннейший Разумник Семеныч, что я частенько-таки буду повторять вам: вперед! вперед! вперед! Есть вещи, об которых никогда нельзя достаточно наговориться, и к числу их принадлежат именно те цели, о которых я вам говорю и которых достижение составляет всю задачу моей администрации. Повторяю: покуда мы с вами не достигнем их, покуда я не приду к убеждению, что, где бы я ни был, рука моя все-таки везде будет давать себя чувствовать необременительным, но тем не менее равномерным давлением, – до тех пор, говорю, я не положу оружия. А теперь будем подписывать бумаги.

Речи эти, ежедневно и регулярно повторяемые, до такой степени остервенили правителя канцелярии, что он, несмотря на всю свою сдержанность и терпкость, несколько раз покушался крикнуть: «молчать!» И действительно, надо было войти в кожу этого человека, чтобы понять весь трагизм его положения. Каждый день, в течение нескольких часов, быть обязательным слушателем длинноухих речей и не иметь права заткнуть уши, убежать, плюнуть или иным образом выразить свои чувства, – как хотите, а такое положение может навести на мысль о самоубийстве. Во время этих речей почтеннейший Разумник Семеныч бледнел, и краснел, и ощущал в руках судорогу и даже чуть ли не колики в желудке. А Митенька между тем подписывал бумаги одна за другой и все болтал, все болтал.

– Я бы желал, – ораторствовал он, – чтобы все, начиная от самого приближенного ко мне лица и до самого последнего субалтерн-офицера, поняли мою мысль так же точно, как я ее сам понимаю. Я желал бы собрать всю губернию, соединить, так сказать, на одно мгновение все административные рычаги в один пункт и сказать им: «Господа! вот моя мысль! вот моя программа! Поймите, господа, что я вам говорю, и сообразуйтесь!» Да-с, почтеннейший Разумник Семеныч, я был бы совершенно счастливым начальником, если б это оказалось возможным!

– Что ж, вашество, это не трудно-с; можно завтра же оповестить-с, – отвечал правитель канцелярии, заранее обольщаясь мыслью, что часть лежащей на нем тяжести обрушится на других.

– Вы полагаете оповестить здешних?

– Точно так, здешних-с.

– Да, это недурно; но все же это не то. Я желал бы, чтобы вся губерния – понимаете, *вся* губерния? – присутствовала при этой моей, так сказать, внутренней исповеди. Вы читали Карамзина?

– Так точно-с.

– Помните там одно место, когда Иоанн Грозный, убежденный добродетельным Сильвестром, решается... это может вам дать некоторую идею о том, чего бы именно я желал!

– Осмелюсь, вашество, доложить, что царь Иван Васильевич не должен был испрашивать разрешения высшего начальства, чтоб устроить подобное торжество, а вашество...

Митенька закручинился.

– Да, – сказал он, – ведь я забываю об этих подробностях. Да, Разумник Семеныч, вся жизнь наша – подробности, и притом жалкие, несносные подробности! Желал бы парить, желал бы лететь – ан смотришь, крылья вдоль и поперек связаны!

– Так прикажете, вашество, здешних покамест оповестить?

– Да, покамест... а впоследствии надеюсь постепенно, с Божьею помощью, и прочих приобщить к осуществлению моих планов!

Разумеется, правитель канцелярии поспешил исполнить данное приказание, но исполнил его таким образом, что по городу сейчас же разнеслись целые легенды.

Последствием этого было, что на другой день местные гранды сказались больными (так что все присутственные места в Семиозерске были в этот день закрыты), а исправник, как только прослышал о предстоящей исповеди, ту ж минуту отправился в уезд. Явился только

городской голова с гласными да бургомистр с ратманами, но Митенька и тут нашелся.

– Много званных, но мало избранных, – так начал он речь свою, – очень рад, господа, что имею дело с почтенными представителями одного из почтеннейших сословий нашего любимого отечества, нашей дорогой сердцу России. Милостивые государи! нет сомнения, что труд есть то оживляющее начало, которое в каждом благоустроенном обществе представляет собой главный государственный нерв. Трудящийся человек тих, скромн, покорен начальству и заботится об исправном платеже податей и повинностей. Трудящийся человек спешит на защиту отечества в минуту опасности, ибо знает, что опасность эта угрожает и его труду. Ленивый, напротив того, беспокоен, строптив, к начальству непочтителен и к уплате податей равнодушен. Ленивый на самую опасность отечества взирает беззаботно и на защиту его не спешит. Таково, милостивые государи, значение труда в общей государственной системе, и я совершенно счастлив, что имею честь объяснять это перед вами, как перед естественными его представителями.

Дмитрий Павлыч остановился, чтобы перевести дух и в то же время дать возможность почтенным представителям сказать свое слово. Но последние стояли, выпучивши на него глаза, и тяжело вздыхали. Городской голова понимал, однако ж, что надобно что-нибудь сказать, и даже несколько раз раскрывал рот, но как-то ничего у него, кроме «мы, вашество, все силы-меры», не выходило. Таким образом, Митенька вынужден был один нести на себе все тяжести предпринятого им словесного подвига.

– Я желал бы, чтобы вы поняли мою мысль, господа! – продолжает он. – Чего я хочу, к чему я стремлюсь? Ответ на это очень простой. Я хочу, чтобы все, по возможности, были довольны, чтобы никто не был обижен, чтобы всякий мог беззаботно пользоваться плодами рук своих. Я стремлюсь к тому, чтоб у меня процветала промышленность, чтобы священное право собственности было для всех обеспечено и чтобы порядок ни под каким видом нарушен не был. Надеюсь, почтенные представители, что в этих желаниях и стремлениях нет ничего такого, чему бы вы не сочувствовали. (Представители еще более пялят глаза на Митеньку; некоторые, однако ж, кланяются; городской голова шепчет: «Мы, вашество, все силы-меры».) Не сомневаюсь, друзья мои, не сомневаюсь! знаю и вижу. Но с другой стороны, ежели я буду желать и стремиться один, если я буду усиливаться, а почтенные представители отечественной гражданственности и общности не будут оказывать мне содействия («мы, вашество, все силы-меры», – озлобленно сопит голова), то спрашиваю я вас, что из этого может произойти? А вот что, друзья мои: я могу уподобиться фореитору, который, не замечая, что постромки, привязывавшие к экипажу выносных лошадей, оборвались, все мчится вперед и вперед, между тем как экипаж давно остановился и погряз в болоте...

Вымолвивши такую штуку, Митенька окончательно стал в тупик и даже раскрыл рот. Проходит несколько томительных минут, покуда Митенька наконец убеждается, что кончить как-нибудь все-таки надобно. На сей раз он решается «завершить здание» посредством фигуры воззвания, поощрения или возбуждения.

– Итак, господа, вперед! Бодрость и смелость! Вы знаете мою мысль, я знаю вашу готовность! Если мы соединим то и другое, а главное, если дадим нашим усилиям надлежащее направление, то, будьте уверены, ни зависть, ни неблагонамеренность не осмелятся уязвить нас своим жалом, я же, с своей стороны, во всякое время готов буду ходатайствовать о достойнейших пред высшим начальством. Прощайте, господа! не смею удерживать вас посреди ваших полезных занятий. До свидания!

Митенька сделал прощальный знак рукою и вышел. Но почтенные представители долго еще не могли прийти в себя от удивления. Все мнилось им, что это недаром, и что хотя Митенька ни слова не упомянул о пожертвовании, но пожертвование потребуется. Градской голова до такой степени был убежден в этом, что, сходя с крыльца Митенькиной квартиры, обратился к своим сотоварищам и молвил:

– Что ж, православные, по мере силы-возможности каждого есть долг и обязанность! А ну-тко, Господи благослови! ура!

Дни идут за днями, а Митенька все болтает.

– Знаете ли что? – говорит он однажды правителю канцелярии.

При этом вступлении Разумник Семеныч зеленеет, запускает под жилет руку и всюю пятерней до крови скребет себе грудь.

– Я желал бы иметь в своем распоряжении публициста! – продолжает между тем Митенька с невозмутимейшим хладнокровием.

«Лгунице ты необузданный!» – шипит про себя Разумник Семеныч, но вслух говорит:

– То есть как же это, вашество, публициста?

– Под публицистом я понимаю такого механика, которому я мог бы подать мысль, намекнуть, а он бы сейчас привел все это в порядок!

– Если вашему угодно что-нибудь приказать, то, кажется, мы всегда...

– Нет, это не то! я вижу, что вы меня не понимаете! Вы исполняете свои обязанности, а публицист должен исполнять свои! В Петербурге это ведется так: чиновники пишут свое, публицисты – свое. Если начальник желает распорядиться келейно, то приказывает чиновнику; ежели он желает выразить свою мысль в приличной форме, то призывает публициста! Вы меня поняли?

– Понял-с.

– Следственно, вы должны понять и то, что человек, который бы мог быть готовым во всякое время следовать каждому моему указанию, который был бы в состоянии не только понять и уловить мою мысль, но и дать ей приличные формы, что такой человек, повторяю я, мне решительно необходим. В настоящее время я без рук: ибо, спрашиваю я вас, в чем, собственно, заключается моя обязанность? Моя обязанность заключается в том, чтобы подать мысль, начертить, сделать наметку... но сплотить все это, собрать в одно целое, сообщить моим намерениям гармонию и стройность – все это, согласитесь, находится уже, так сказать, вне круга моих обязанностей, на все это я должен иметь особого человека! Вы меня поняли? Вы поняли, что я хочу вам сказать?

– Но какие же, вашество, будут занятия у этого публициста?

– Выслушайте меня. Вы уже знаете из объяснений со мной, что на мне собственно лежит, так сказать, внутренняя политика – и ничего больше. Все эти бумаги: донесения, предписания, подтверждения – все это только печальная необходимость, которой я подчиняюсь единственно потому, что куда это так требуется. Но главное – все-таки политика. Что такое «политика»? Политика, почтеннейший Разумник Семеныч, – это такое обширное понятие, которое в немногих словах объяснить довольно трудно. Политика – это всё. Достаточно будет, если я на первый раз скажу вам, что политика может быть разных родов: может быть политика здравая и может быть политика гибельная; может быть политика, ведущая к наилучшему концу, и может быть политика, которая ни к чему, кроме расстройств, не приводит. Но для того, чтобы мысль моя была для вас еще яснее, очерчу в легком абрисе мою собственную политику. Я желаю, во-первых, чтобы у меня процветала торговля, во-вторых, чтобы священное право собственности было вполне обеспечено, и в-третьих, наконец, чтобы порядок ни под каким видом нарушен не был. Вот моя внутренняя политика. Но будем продолжать нить нашего рассуждения. Имея таким образом определенную внутреннюю политику, я, с одной стороны, должен быть весьма озабочен ею, с другой же стороны, эта самая озабоченность должна на каждом шагу возбуждать во мне самые разнообразные мысли. При настоящем моем, так сказать, изолированном положении, что делается с моими мыслями? Хотя и горько, но я должен сознаться, что большая их часть забывается и исчезает бесследно. Я мыслю и в то же время не мыслю, потому что не имею в распоряжении своем человека, который следил бы за моими мыслями, мог бы уловить их, так сказать, на лету и, в конце концов, изложить в приличных формах. Вот здесь-то, почтеннейший Разумник Семеныч, именно и нужен мне публицист, то есть такой механик,

которому я мог бы во всякое время сказать: «Вот, милостивый государь, моя мысль! Теперь не угодно ли вам привести ее в надлежащий вид!» Вы меня поняли?

– Понимаю, вашество, и осмелюсь, с своей стороны, доложить...

– Знаю, почтеннейший Разумник Семеныч, знаю! и ко всему мною уже высказанному могу прибавить одно: вы меня знаете и, следовательно, можете быть уверены, что я всегда готов ходатайствовать перед высшим начальством за достойнейших!

В тот же день публицист был отыскан. Это был некто Златоустов, учитель словесности в семиозерской гимназии, homo scribendi peritus,⁷⁰ уже несколько раз помещавший в местной газете статейки о предполагаемых водопроводах и о преимуществе спиртового освещения перед масляным. Вечером он уже имел с Митенькой продолжительное совещание, во время которого держал себя очень ловко, то есть смотрел своему амфитриону в глаза, улыбался и по временам нетерпеливо повертывался в кресле, словно конь, готовый по первому знаку заржать и пуститься в атаку. Одним словом, показал вид, что сочувствует и понимает. А в следующем же номере губернских ведомостей был напечатан следующий leading⁷¹ к читателям:

НАШИ ЖЕЛАНИЯ

«Читатель! тебе покажется странным, что мы чего-нибудь желаем. Тебе все еще сдается, что мы не созрели, не имеем права желать и что за нас должен желать кто-то другой... разуверься! Посмотри кругом себя и вложи пальцы в язвы. Что ты видишь окрест? ты видишь просвещенное начальство, которое, с своей стороны, ничего так страстно не жаждет, как того, чтобы ты желал, и не только желал, но и выражал свои желания устно и письменно. Что такое „начальство“? – спросишь ты меня. – Начальство, отвечаю я тебе, есть то зижду-щее, всепроникающее начало, которое непрестанно бдит и изыскивает. О чем бдит? что изыскивает? Вот те вопросы, над которыми тебе предстоит задуматься, читатель, и над которыми ты несомненно задумаешься, если дашь себе труд вникнуть в смысл моих слов. Я же, с своей стороны, продолжаю.

Итак, несмотря на кажущуюся странность подобной претензии, мы желаем. Чего мы желаем? Мы желаем: во-первых, чтобы промышленность в нашем краю процветала, во-вторых, чтобы священное право собственности повсюду и для всех было обеспечено и, в-третьих, наконец, чтобы порядок ни в каком случае нарушен не был. Желания, по-видимому, очень скромные; да они и не «по-видимому» только скромны, но и в самом существе своем. Ибо кто же из вас, читатели, желал бы, чтобы рынки наши представляли картину запустения, чтобы собственность наша была отнята или поругана или чтобы мир потряслся громами революций? Конечно, вряд ли найдется такой чудак, а это несомненно доказывает, что стремления, нами высказанные, не только скромны, но и вполне осуществимы. Однако на деле оно выходит не совсем так.

Что такое промышленность? спрашиваем мы самих себя. – Промышленность (industrie), отвечают нам экономисты, есть совокупность тех плодов, которые составляют необходимый результат занятия рук человеческих. Следовательно, где руки человеческие не праздны, там есть занятие, где есть занятие – там в результате плоды, то есть промышленность. То ли мы видим у нас? На это позволим себе отвечать фактом, которого мы, к несчастью, были очевидцами. На днях, отправившись, для прогулки, в загородный сад, мы шли мимо заведения, над дверьми которого нахально красуется вывеска: «И дешево и сердито». И в самом заведении и около него толпилось простонародье, хотя день был не праздничный, погода стояла ясная и теплая, и все, казалось, приглашало к животворящему труду.

⁷⁰ Человек, опытный в писании (лат.) .

⁷¹ Передовая (англ.) .

Нас это изумило; мы обратились к одному из стоявших у дверей с вопросом: какая причина такого многочисленного сборища? – и получили ответ: известно, зачем в кабак ходят! Не удовлетворившись этим, мы вновь спросили: «Но отчего же вы не работаете, друзья?» – но на этот вопрос вместо ответа последовал наглый, возмущающий душу смех!! Вот наша промышленность!

Затем, что такое собственность? и в чем должно заключаться ее обеспечение? Те же экономисты отвечают нам: собственность есть прямое и законное продолжение промышленности, это есть промышленность, так сказать, консолидированная. Из такого определения не вправе ли мы будем вывести следующий силлогизм: где человеческие руки не праздны, там есть занятие, где есть занятие, там в результате есть плод, а где есть плод, там неминуемо должна быть и собственность (proprietas)? Tout s'enchaîne, tout se lie dans ce monde,⁷² говорит один знаменитый писатель, и ежели мы признаем законность этой связи (а не признать ее невозможно), то, само собой разумеется, должны будем признать и законность того явления, которое из нее выходит. Но то ли мы видим у нас? На это опять-таки позволим себе ответить рассказом об одном происшествии, которого мы были на днях не только очевидцами, но и жертвою. Не далее как 7-го сего месяца, ночью, в квартиру нашу вошли воры. Мы спали. Только на другой день утром уже удостоверились мы, что были самым наглым образом лишены наиболее ценного нашего имущества. Разумеется, мы тотчас же обратились в полицию – и что же встретили? Вместо того чтобы немедленно броситься по горячим следам и отыскать преступников, полиция к нам же обратилась с вопросами: где мы во время происшествия были, что делали и не вымышлен ли нами самый факт с какими-либо противозаконными целями!!! Вот наши понятия о собственности!

Все это прямо приводит нас к вопросу об обеспечении. Ежели собственность есть явление законное, то само собой разумеется, что она должна быть обеспечена и что пользование ею должно считаться неприкосновенным правом того, кому она путем наследования или купли принадлежит. Но что больше и действительнее всего может обеспечить спокойное обладание собственностью? Ответ на этот вопрос заключается в третьем и главном нашем желании – в том, *чтобы порядок ни в каком случае нарушен не был.*

И действительно, рассматривая «порядок» с точки зрения полного и гармонического соответствия всех частей целого, мы без труда найдем, что в нем одном заключается зиждительная государственная сила. Он дает нам обеспечение и ограду; с одной стороны, он успокаивает и проливает утешение в сердце труженика, с другой – устрашает и полагает препону тунеядцу, ищущему без труда воспользоваться плодами рук своего ближнего; он поощряет гражданина скромного, верного и преданного и угрожает карой гражданину наглому, беспокойному и преданному анархическим стремлениям. И ежели мы вспомним петербургские пожары 1862 года, то одного того факта достаточно будет, чтобы убедиться в истине наших слов.

Итак, мы все желаем порядка – это несомненно; но для того, чтобы достигнуть этой дорогой для нас цели, что должны мы сделать, читатель? И на это есть ответ очень простой: мы должны все вообще и соединенными силами содействовать просвещенному начальству в его благих стремлениях к прекращению беспорядков. Знаем, что вошло в обычай и даже сделалось как бы модой обвинять начальство в тех неурядицах, которых мы, к сожалению нередко, бываем свидетелями. Но справедливо ли это? сойдемте в глубину нашей совести, исповедуемте самих себя: исполняем ли мы, общество, как следует наши обязанности в отношении к начальству? Мы, конечно, могли бы в ответ на это привести великое множество фактов, очень знаменательных, но... на сей раз умолкаем.

Однако же умолкаем лишь на время. А покуда попросим читателя поразмыслить над нашим настоящим обращением: быть может, ему удастся разрешить кое-что и без нашей помощи».

⁷² Все переплетено, все связано в этом мире (фр.) .

Когда Митеньке принесли номер ведомостей, в котором была напечатана эта статья, то он, не развертывая, подал его правителю канцелярии и сказал:

– Вот мой публицист!

VI

Дни идут за днями, а Митенька все болтает.

Все его оставили, все избегают. Баронесса ощущает нервные припадки при одном его имени; супруг ее говорит: «Этот человек испортил мою Marie!» – и без церемонии называет Митеньку государственною слякотью; обыватели, завидевши его на улице, поспешно перебегают на другую сторону; долго крепился правитель канцелярии, но и тот наконец не выдержал и подал в отставку.

– Я вас решительно не понимаю, Разумник Семеныч! – сказал ему Козелков, когда тот объяснил предмет своего прошения.

– Имею желание отдохнуть-с.

– Помилуйте! теперь такое время... с одной стороны, земские учреждения, с другой стороны, внешние и внутренние неурядицы...

– Не в меру, вашество, притеснять меня изволите!

– Я вас притесняю? я?

– Предика эта... каждый день-с!

Правитель канцелярии даже побагровел от испуга при этом воспоминании.

– Но, согласитесь сами, должен же я убедиться, что вы поняли мою мысль!

– Имею желание отдохнуть-с!

– Странно!

Митенька с горечью швырнул прошение на стол.

– Будет сделано распоряжение-с, – сказал он сухо и расшаркнулся.

Когда правитель канцелярии вышел, Митенька раздумался.

«Вот, – думал он, – человек, который отчасти уже понял мою мысль – и вдруг он оставляет меня, и когда оставляет? – в самую решительную минуту! В ту минуту, когда у меня все созрело, когда план кампании был уже начертан, и только оставалось, так сказать, со всех сторон ринуться, чтоб овладеть!»

Митенька в одну минуту оделся и полетел в губернское правление с секретною целью застать членов врасплох и сразу обдать их потоком своего красноречия. Те так и ахнули.

– Господа! – сказал он, засевши в кресло, – я желал бы, чтоб вы поняли мою мысль. Покуда мы будем тянуть в разные стороны, я в одну, а вы в другую, – до тех пор, говорю я, управление у нас идти не может! Быть может, вы захотите знать, чего я желаю, – в таком случае, прошу раз навсегда, выслушайте меня внимательно и запомните, что я вам скажу. Желания мои более нежели скромны; я желаю, чтоб у меня процветала промышленность, чтобы священное право собственности было вполне обеспечено и чтобы порядок ни под каким видом нарушен не был. Вот программа, с которою я вступил на поприще административной деятельности. Конечно, программа эта обширна, даже, смею сказать, слишком обширна; конечно, она обнимает собой все, так сказать, нервы общественного благоустройства, но, с другой стороны, разве вы не имеете во мне советника, всегда готового разрешить все ваши недоумения? разве вы не имеете во мне всегда верную и надежную опору? Господа! я ничего более не желаю, кроме того, чтоб вы поняли мысль мою и приняли ее к соображению. Все остальное я беру на себя. Излишним считаю повторять вам, что я, с своей стороны, всегда готов ходатайствовать пред высшим начальством за достойнейших. Вы знаете, что в этом отношении я твердо держу свое слово. Прощайте.

Это было последнее словесное торжество Митеньки. Он изнемог под бременем собственного своего красноречия и вечером почувствовал себя дурно, а к ночи уже бредил.

– Доврался-таки! – говорил Иван с укоризною, когда Митенька, весь в огне, показывал

уже признаки горячечного состояния.

– Ты пойми мою мысль, болван! – отвечал ему Митенька, – я чего желаю? – я желаю, чтоб у меня процветала промышленность, чтобы поля были тщательно удобрены, но чтобы в то же время порядок ни под каким видом нарушен не был!

И вдруг, среди самого, по-видимому, мирного настроения мысли, он вскочил как озаренный и не своим голосом закричал:

– Раззорю!

Сомневающийся

«Он» начал задумываться почти внезапно.

Вид задумывающегося человека вообще производит тягостное впечатление, но когда видишь задумывающегося помпадур, то делается не только тяжело, но даже неловко. И тут и там – тайна, но в первом случае – тайна, от которой никому ни тепло, ни холодно; во втором – тайна, к которой всякий невольным образом чувствует себя прикосновенным. Эта последняя тайна очень мучительна, ибо неизвестно, что именно она означает: сомнение или решимость?

Если задумчивость имеет источником сомнение, то она для обывателей выгодна. Сомнение (на помпадурском языке) – это не что иное, как разброд мыслей. Мысли бродят, как в летнее время мухи по столу; побродят, побродят и улетят. Сомневающийся помпадур – это простой смертный, предпринявший ревизию своей души, а так как местопребывание последней неизвестно, то и выходит пустое дело.

Совсем другого рода задумчивость, предшествующая решимости: это задумчивость, полная содержания, но содержания неизвестного, угрожающего. А так как история слишком редко представляет примеры помпадуров сомневающихся, то и обыватели охотнее истолковывают помпадурскую задумчивость решимостью, нежели сомнением. Задумался – значит вознамерился нечто предпринять. Что именно?

На этот раз, однако ж, содержание задумчивости составляло сомнение. Вчера еще он был полон сил и веры – и вдруг усомнился.

Из объяснений с правителем канцелярии он совершенно случайно узнал, что существует закон, который в известных случаях разрешает, в других – связывает. И до того времени ему, конечно, было небезызвестно, что закон есть, но он представлял его себе в виде переплетенных книг, стоящих в шкафу. Когда эти книги валялись по столам и имели разорванный и замасленный вид, то он называл это беспорядком; когда они стояли чинно на полке, он был убежден, что порядок у него в лучшем виде. Но разрешающей или связывающей силы закона он не знал и даже скорее предполагал, что закон есть не что иное, как дифирамб, сочиненный на пользу и в поощрение помпадурам. И так как он был человек скромный и всегда краснел, когда его в глаза хвалили, то понятно, что он не особенно любил заглядывать в законы.

И вот, в одно прекрасное утро, когда он предположил окончательно размахнуться, правитель канцелярии объявил ему о существовании закона, который маханию руками поставляет известные пределы.

– Возьмем хоть бы лозу, – сказал он, – есть случаи, в которых действие ее признается полезным, и есть другие, в которых действие сие совсем не допускается-с.

– Что ж, вы, что ли, будете указывать мне, когда можно и когда нельзя? – спросил «он» несколько иронически.

– Не я-с, а закон-с.

– Весьма любопытно.

На этот раз разговор исчерпался; но в то же утро, придя в губернское правление и проходя мимо шкафа с законами, помпадур почувствовал, что его нечто как бы обожгло. Подозрение, что в шкафу скрывается змий, уже запало в его душу и породило какое-то странное любопытство.

Что заключается в этих томах, глядящих корешками наружу? Каким слогом написано то, что там заключается? Употребляются ли слова вроде «закатить», «влепить», которые он считал совершенно достаточными для отправления своего несложного правосудия? или, быть может, там стоят совершенно другие слова? И точно ли там заключается это странное слово «нельзя», которое, с самой минуты своего вступления в помпадур, он считал упрямленным и о котором так не в пору напомнил ему правитель канцелярии?

Все это было до такой степени любопытно, что, несмотря на то, что он всячески старался не выказать своего беспокойства, но под конец не выдержал-таки и, как-то боязливо улыбаясь, обратился к правителю канцелярии:

– А, нуте-с: желаю я, например, подвергнуть телесному наказанию мещанина Прохорова... как-с? разрешите вы мне или нет?

– Мне что же-с! не я, а закон-с.

– Ну, положим, хоть бы и закон-с?

Правитель канцелярии направился было к шкафу, но на полдороге остановился.

– Келейно высечь-с? – спросил он.

– Нет, не келейно, а как следует... по закону-с!

Правитель канцелярии раскрыл том и показал статью о лицах, изъятых от телесного наказания.

Он прочитал однажды; потом как-то механически повторил прочитанное по складам. На него вдруг пахнуло чем-то совершенно новым и неожиданным.

– А в указе, который по сему предмету издан был, даже прямо истолковано, – объяснял между тем правитель канцелярии, – что мещане потому от телесного наказания изъемяются, что они, как образованные, имеют больше чувствительности...

– А в каком университете Прохоров образование получил?

– Какое образование-с... просто дикий человек-с!

– Влепить ему!

Никогда он не был в таком возбужденном состоянии духа.

Опасность, казалось, придала ему крылья и превратила предназначенную Прохорову казнь в какую-то личную против него месть. При обыкновенном ходе вещей Прохоров, быть может, был бы отпущен с одним внушением, теперь же он представлял собою врага, на котором должна была найти себе применение первая из помпадурских доблестей: презрение к опасностям. До сих пор, не сомневаясь в дифирамбическом содержании закона, помпадур руководился исключительно инстинктом, и потому размахивался лишь в таких случаях, когда того требовала его широкая натура. Теперь эта самая широкая натура, разожженная непредвиденным препятствием, выступила разом со всеми своими правами и как бы подсказывала ему: да докажи ты ему, милый человек, каково таково существует в пользу его изъятие!

– Не позволите ли келейно-с? – докладывал встревоженный правитель канцелярии, – все одно свою порцию получит-с!

Но он уже не слушал, а с какою-то дурной иронией повторял:

– Нет, по закону-с! Я – по закону-с! Не отступая-с... ни на шаг-с... ни на волос-с!

И затем приготовился выйти из присутствия, но в дверях, как бы вспомнив нечто, опять повернулся всем корпусом и твердым голосом произнес:

– Влепить-с!

Очевидно было, однако ж, что это был последний, почти насильственный взрыв темперамента, не ведавшего узды. Мысль была уж возбуждена и ежели не осадила человека сразу, то в ближайшем будущем должна была выйти победительницей.

Мучимый любопытством, он напрасно старался подавить тревожное чувство, овладевшее всем существом его. Он дурно обедал, дурно спал после обеда. Работа разложения делала свое дело, и прежнее прочное и цельное мирозерцание терпело видимые ущербы. До сих пор он относился к встречающимся в природе разновидностям

почти бессознательно, как к созданию своего внутреннего я . И вдруг оказывается, что разновидности существуют в природе вполне независимо от личных его вкусов и даже предъявляют претензию на обязательное их признание.

«Из сего изъемяются»... Эти слова он видел сам, собственными глазами, и чем больше вдумывался в них, тем больше они его поражали. Первая степень изумления формулировалась так: отчего же я этого не знал? Во второй степени формула уже усложнялась и представлялась в таком виде: отчего же, несмотря на несомненность изъятий, я всегда действовал так, как бы их не существовало, и никакого ущерба от того для себя не получал?

Это был вопрос настолько для него существенный, что он даже предложил его правителю канцелярии.

– До поры до времени-с, – уклончиво отвечал последний, – вот и Филипп Филиппыч (предместник помпадура) тоже блаженствовали, да приехал ревизор-с...

– Позвольте! не об этом вас спрашивают. Ревизор – это само собою. Это коли и я захочу: приеду и прекращу. Но ведь вы говорите, что они, эти изъятия-то, всегда существуют и существовали?

– Всегда-с.

– Не в ревизоре, а в законе... вот здесь, у вас в шкафу?

– Точно так-с.

– Почему же?!

Он выпрямился во весь рост, как бы говоря: ты видишь, однако, что я до сих пор живехонек!

– То-то, всё до поры до времени-с.

Ответ этот, однако ж, не удовлетворил его, потому что правитель канцелярии только переставлял центр тяжести: от помпадура к ревизору. А ему хотелось знать, каким образом этот центр тяжести, будучи первоначально заключен в шкафу с законами, вдруг оттуда исчез, а теперь, в роли не помнящего родства, перебегает от помпадура к ревизору, а от ревизора опять к помпадуру.

– Дурак! – сказал он резко.

Правитель слегка зарумянился и уткнулся в бумагу.

Он это заметил и поспешил поправиться:

– Извините, пожалуйста: я погорячился. Постарайтесь привести это дело в ясность. Итак, вы утверждаете, что изъятия существуют?

– Существуют-с.

– Что они не могут быть ни отменены, ни изменены? Что и я, и ревизор, и черт, и дьявол – все одинаково обязаны иметь их в виду и соображаться с ними? Так, что ли?

– Точно так-с.

– Почему ж?!

Он опять выпрямился во весь рост, как бы спрашивая: да почему ж я до сих пор жив-живехонек?

– Все до поры до времени-с...

– Садитесь!

Загадка не давалась, как клад. На все лады перевертывал он ее, и все оказывалось, что он кружится, как белка в колесе. С одной стороны, складывалось так: ежели эти изъятия, о которых говорит правитель канцелярии, – изъятия солидные, то, стало быть, мне мат. С другой стороны, выходило и так: ежели я никаких изъятий никогда не знал и не знаю и за всем тем чувствую себя совершенно хорошо, то, стало быть, мат изъятиям.

Что правитель смешал тут два предмета совершенно разнородных: ревизора и шкаф с законами, – это было для него ясно. Что такое ревизор? Это человек, сложенный из такого же материала, как и он, помпадур. Это помпадур в квадрате – и ничего больше. Он приступает к делу с такими же голыми руками, как и самый последний из помпадуров. Он может знать, что происходит в шкафу с законами, но может и не знать – дело от того отнюдь не

пострадает. Он тоже ограничен словами «до поры до времени» и, стало быть, в свою очередь, должен состоять в непрерывном опасении другого ревизора. Этот последний будет уже помпадур в кубе, но все-таки не более как помпадур, имеющий в виду грядущего вдали помпадура четвертой степени. Какое же отношение ко всему этому может иметь шкаф с законами?

Но, быть может, в этом шкафу заключался не самый источник «поры» и «времени», а только тот материал, который давал возможность в удобный, по усмотрению, момент определить «пору» и «время»? Это ли хотел сказать правитель канцелярии?

Вероятнее всего, последний именно так и разумел это дело. Он был слишком опытен в обращении с шкафами, чтобы видеть в них что-нибудь больше, нежели простые шкафы. За бытность его в этой должности, перед глазами его преемственно прошло до десятка помпадуров, и все они исчезли, как дым, именно в силу правила: до поры до времени. В этом правиле заключалась, по мнению его, вся жизнь. Он распространял его не только на помпадуров, но и на всю природу, на все окружающее. Видел ли он беззаветное ликование или осторожность, доходящую до трепета, он говорил: до поры до времени, и всегда оказывался пророком. На ликующего человека набегал помпадур и с словами: «Ты что горло-то распустил?» – приказывал взять его в часть. Тот же помпадур набегал и на осторожного человека и с словами: «Прятаться, что ли, ты от меня хочешь?» – тоже приказывал взять его в часть. Даже и самого себя правитель канцелярии не исключал из этого правила и знал, что и для него придет пора и время.

Но здесь он был непоследователен и, вместо того чтобы ждать бодро и твердо наступления своего часа, уклонялся, лавировал и всячески старался об его отдалении. Инстинкт самосохранения был слишком силен, именно тот инстинкт, который заставляет осужденного на казнь питать надежды, которым никогда не суждено сбыться. Подстрекаемый этим инстинктом, он обращал тоскливые взоры к шкафу с законами и как бы выжидал от него защиты. Он знал, что ожидания его тщетны, – и все-таки ждал. Это была слабая сторона его философии, почти отрицание ее, и нельзя сказать, чтоб он не понимал этого. Иногда огораживание себя от преждевременного наступления «часа» требовало от него таких усилий, что он даже помышлял бросить это дело. «Брошусь, да и поплыву по всему раздолью, как прочие!» – раздумывал он, но инстинкт самосохранения так и зудил, так и нашептывал: погоди! может быть, и завтра жив будешь! И таким образом он жил, питая, с одной стороны, твердое упование, что «час» неизбежен, с другой – ободряя себя смутною надеждою, не придет ли к нему в этот страшный момент на выручку шкаф с законами.

Помпадур понял это противоречие и, для начала, признал безусловно верною только первую половину правительской философии, то есть, что на свете нет ничего безусловно-обеспеченного, ничего такого, что не подчинялось бы закону поры и времени. Он обнял совокупность явлений, лежавших в районе его духовного ока, и вынужден был согласиться, что весь мир стоит на этом краеугольном камне «Всё тут-с». Придя к этому заключению и применяя его специально к обывателю, он даже расчувствовался.

– Ведь вот, – говорил он сам с собою, – у него даже минуты нет... совсем безопасной! Возьмем, например, хоть меня. Ну, ревизор, ну, там черт-дьявол... конечно, это в своем роде момент! Но ведь не свалится же он ко мне как камень на голову. Всё же предупредят как-нибудь; цидулочку, по секрету, добрый человек напишет: едет, мол. Ну, вот тогда хоть бы этого самого Прохорова на время и убрать можно, чтоб ревизору в глаза не кинулся. Да и самый ревизор, – ведь он тоже помпадур! разве ему эти чувства неизвестны! Стало быть, можно и разговор с ним повести. А обыватель? кто его предупредит? и что он предпринять может? Для него всегда «пора» и всегда «время». Завсегда он со всех сторон окружен. Он думает кусок до рта донести, а тут пришла «пора» – и полетел кусок на пол. Вот-с.

Бог весть куда привело бы его это грустное настроение мыслей, если б он не сознавал, что вопрос должен быть разрешен, помимо сентиментальных соображений, лично для него самого. И он приступил к этому разрешению прямо, без колебаний.

– Если пора и время неизбежны, – размышлял он, – то, стало быть, нечего об них и

думать. Существование их равняется несуществованию, ибо необеспеченность, возведенная в принцип, вполне равняется обеспеченности. *Omnia mea mecum porto*⁷³ – что с меня возьмешь! Если я совсем-совсем не обеспечен, то это значит, что я обеспечен вполне. *Где стол был яств, там гроб стоит* — и ничего больше. Сегодня я помпадур, стою прямо и бодро; завтра явился помпадур в квадрате – прилетел и переломил. *Где пиришеств раздавались клики, надгробные там воют лики* — вот и все.

– Да-с, все-с, – повторил он уже вслух, и это течение мыслей было бы крайне для него благоприятно, если б оно не было расстроено одним, совершенно случайным обстоятельством.

Дело в том, что, разгуливая беспокойно по комнате, он как раз налетел на шкаф с законами.

– Вот где «пора» и «время»! – шепнул ему какой-то таинственный голос.

– Вздор-с! – заревел он во все горло в ответ этому предостережению, но тут же сконфузился и побледнел.

Инстинкт самосохранения, уже испортивший цельность мирозерцания правителя канцелярии, вспыхнул и в нем.

Он судорожно схватил в руки том и начал его перелистывать. Что он там увидел! Боже! что он увидел!

Он увидел, что вся жизнь человеческая предусмотрена и определена. Всё, начиная с питания и кончая просвещением и обязанностью устраивать фабрики и заводы и содержать в исправности мосты и перевозки. На всё – подробное правило, и за неисполнение каждого правила – угроза. Ему, ему... угроза! Да, и ему. И его жизнь предусмотрена и определена, и она обставлена многосложнейшими обязанностями и отношениями. Он был центром, около которого группировались: и обывательское продовольствие, и обывательская нравственность, и просвещение, и торговля. И всему этому присвоилось название «обязанностей», но отнюдь не «прав». Правда, что для выполнения этих обязанностей он был вооружен угрозой, но размеры этой угрозы также были определены заранее, и выходить из этих размеров представлялось небезопасным.

«Воспрещается», «вменяется в обязанность» – вот выражения, с которыми он совершенно неожиданно вынужден был познакомиться. Ни «закатить», ни «влепить» – ничего подобного. Прохоров же был «изъят» несомненно.

Он был подавлен, уничтожен. Тем не менее капризная мысль его и тут не изменила своему обычному характеру. Он не сказал себе: «Вот какое бремя лежит на мне, безвестном кадете, выбравшемся в помпадуры! вот с чем надлежало мне познакомиться прежде, чем расточать направо и налево: „влепить“, да „закатить“!» – но вскочил, как ужаленный, и с каким-то горьким, нервным смехом воскликнул:

– После этого... после этого... зачем же мы, помпадуры, нужны?!

* * *

«Нужны ли помпадуры»? Неотразимая ясность этого вопроса оскорбляла нашего помпадура до крови. И всего большее при этом было то, что оскорбление шло изнутри, что он сам, своею неумеренною пытливостью, вызвал его.

С этой минуты горькое чувство окрасило все его существование. Прямого врага не было, но чувствовалось по всему, что враг этот существует, что он невидимо сопутствует всюду, во всякое время. Явилась страстная потребность полемизировать, но когда полемика восприняла начало, то оказалось, что она имеет характер косвенный, робкий. В ее иронии не сказывалось свободы; ее дерзость проявлялась порывами и свидетельствовала о напряженном состоянии душевных сил. Проходя мимо шкафа, он улыбался и делал головой

⁷³ Все свое ношу с собою (лат.) .

иронический жест, но даже малопроницательный человек мог догадаться, что и улыбкой и жестом он только обманывает самого себя. С такую неуверенностью улыбается человек перед врагом, которого он имеет причины опасаться, но перед которым считает, однако ж, нужным слегка похорохориться. Как-то сойдет ему с рук эта улыбка? Пройдет ли враг мимо, не заметив ее, или же заметит и тут же за нее покарает?

Он начинал полемизировать с утра. Когда он приходил в правление, первое лицо, с которым он встречался в передней, был неизменный мещанин Прохоров, подобранный в бесчувственном виде на улице и посаженный в часть. В прежнее время свидание это имело, в глазах помпадур, характер обычая и заканчивалось словом: «влепить!» Теперь – на первый план выступила полемика, то есть терзание, отражающееся не столько на Прохорове, сколько на самом помпадуре.

– Ну-с, господин Прохоров, что скажете? – начинает он, останавливаясь перед безобразным малым с отекившим лицом и налитыми кровью глазами.

– Виноват, ваше благородие!

Горькая улыбка появляется на лице помпадур.

– Что же-с... с Богом! Будто вы не знаете, что вы изъятые!.. Да-с, изъятые. Это не я говорю, а закон-с. По случаю вашей образованности-с...

– Ваше высокоблагородие! помилосердствуйте! с нынешнего дня даже зарок себе положил.

– Зачем же зарок-с? кушайте! В прежнее время я вас за это по спине глаживал, а теперь... закон-с! Да что же вы стоите, образованный молодой человек? Стул господину Прохорову! По крайности, посмотрю я, как ты, к-к-каналья, сидеть передо мной будешь!

Он не выдерживает роли и, хлопнув дверью, весь кипящий и колышущийся, входит в канцелярскую камору. Но там ожидают его новые поводы для полемики: журналы, исходящие бумаги, нераспечатанная почта и проч.

– Зачем вы всю эту чепуху на стол ко мне навалили? – обращается он к правителю, указывая на ворох.

– Бумаги-с...

– Знаю, что бумаги. Да ведь вы говорили, что есть закон?

– Точно так-с.

– Следственно, и докладывайте их господину закону, а меня от каверз увольте!

Правитель беспокойно следит за его телодвижениями.

– Я теперь так поступать буду, – продолжает ораторствовать помпадур, – что бы там ни случилось – закон! Пешком человек идет – покажи закон! в телеге едет – закон! Я вас дойму, милостивый государь, этим законом! Вон он! вон он! – восклицает он, заведя из окна мужика, едущего на базар, – с огурцами на базар едет! где закон? остановить его!

– Не возбраняется-с.

– Где сказано «не возбраняется»? Покажите!

Правитель краснеет и извивается, как вьюн на сковороде. К счастью, помпадур, исчерпав один предмет, уже чувствует потребность перейти к другому.

– Вон у меня на пожарном дворе все рукава у труб ссохлись, – говорит он, – посмотрим, как-то починит их господин закон!

Водворяется временное молчание. Правитель канцелярии садится на место и тихо поскрипывает пером. Сам помпадур, несколько успокоенный, останавливается перед зеркалом и вглядывается в вклеенные по бокам его указы. Но, увы! он не только не извлекает из них никаких поучений, но, напротив того, с каким-то бесконечно горьким упреком произносит:

– Ты!!

Бумаги, однако ж, не ждут. Как ни постылы кажутся ему они в настоящую минуту, но он волей-неволей садится к столу и начинает с ожесточением распечатывать один пакет за другим.

– И зачем они мне предписывают! – восклицает он, – знают, что есть закон, ну и

предписывали бы закону! Ан нет, всё ко мне да ко мне!

Слышится шелест бумаги и бормотание: «предписывается вам», «велеть ему, помпадуру», «неотложно», «немедленно», «под опасением взыскания по законам».

– Я вам говорю! – придирается он к правителю канцелярии.

– Что изволите приказать-с?

– Я не приказываю, а говорю. Приказывает закон, а я только говорю. Я спрашиваю вас: зачем они мне предписывают, коли закон есть?

– Потому собственно... – оправдывается правитель, но оправдание его выходит неловкое, спутанное.

Правитель канцелярии сам чувствует эту неловкость. Случайно затеявши кутерьму, он встал в тупик при виде бездны противоречий, в которую ввергло его совместное существование закона и помпадура.

– Садитесь.

Помпадур подмахивает одну бумагу за другой, но однажды начатая работа мысли уже не покидает его. Он смутно сознает, что объяснения ему ждать неоткуда. По крайней мере он найдет его не здесь, не в стенах канцелярской каморы. Эти стены положительно начинают давить его. Пространство, окруженное ими, кажется ему заколдованным кругом, в который не может пробраться ни один простой и ясный ответ. Здесь все заколочено наглухо, все смотрит упреком, все допрашивает, язвит, загадывает загадки и тут же бросает эти загадки без всякой попытки к их разрешению. Где взять это разрешение? где искать его?

Он еще в кадетском корпусе слышал, что есть на свете явление, именующееся борьбой с законом. Что многие боролись успешно, но многие же и изнемогали в этой борьбе. Так, например, один губернатор более двух десятилетий боролся, и даже чуть было не победил, но приехал ревизор и сразу заставил победителя положить оружие. Минута этого пленения губернаторского была страшною минутой для многих. Помпадуры гибли десятками; зеркальная поверхность административного моря возмутилась почти мгновенно; униженные и оскорбленные подняли голову, ликующие и творящие расправу опустили ее долу; так называемые ябедники выползли из своих нор и предерзостно называли себя представителями общественной совести. Крушение было общее.

Роль борющегося с законами человека имела свою привлекательность, и очень может быть, что в другое время он охотно остановился бы на ней. Но, во-первых, он понимал, что бороться (успешно или неуспешно) могут только очень сильные люди и что ему, безвестному помпадуру бог весть которой степени, предоставлена в этом случае лишь мелкая полемика, которая ни к чему другому не может привести, кроме изнурения. Во-вторых, он зашел уже слишком в глубь вопроса, чтобы увлечься какою-нибудь эпизодическою подробностью, как бы блестяща она ни была. Его занимало совсем не то, что борьба возможна, а то, *в силу чего она возможна* и почему для одних она оканчивается лаврами, а для других – постыдным бегством в отставку и даже под суд. Что-нибудь из двух: либо закон, либо он, помпадур. Так по крайней мере представлялось это дело его пониманию. Если закон может умиротворить мещанина Прохорова – пускай и умиротворит; если закон может исправить ссохшиеся рукава у пожарных труб – пускай и исправит!

– Пускай-с! – восклицал он мысленно.

Но если закон не может ни исправить, ни умиротворить, то пусть же он и не мешает ему, помпадуру, пусть не становится поперек его предначертаний!

Неуязвимость этой логики была ясна, как день.

Но вот, нить его размышлений прерывается криками, несущимися с пожарного двора. То бунтует Прохоров, требуя, чтоб его решили немедленно. Poleмика возобновляется.

– Как прикажете? – спрашивает правитель канцелярии.

– Зачем вы спрашиваете? ведь вы знаете, что я ничего не могу! Что теперь – *Закон!* Как там написано, так тому и быть. Ежели написано: господину Прохорову награду дать – я рад-с; ежели написано: влечь! – я и против этого возражений не имею!

В таких безрезультатных решениях проходит все утро. Наконец присутственные часы

истекают: бумаги и журналы подписаны и сданы; дело Прохорова разрешается само собою, то есть измором. Но даже в этот вожделенный момент, когда вся природа свидетельствует о наступлении адмиральского часа, чело его не разглаживается. В бывалое время он зашел бы перед обедом на пожарный двор; осмотрел бы рукава, ящики, насосы; при своих глазах велел бы всё зачинить и заклепать. Теперь он думает: «Пускай все это сделает закон».

Он положительно озлоблен и даже домой идет какою-то нервной, оскорбленную походкой.

К обеду является стряпчий, бездомный малый, давно уж приобревший привычку питаться на счет помпадур. Но разговор как-то не клеится. Первое кушанье съедается молча; перед вторым помпадур решаете пустить в ход мучающую его загадку.

– Давеча мне правитель целую предикку насчет законов прочитал, – произносит он.

– Что же такое?

– Да все насчет этой... обязательной силы, что ли...

Стряпчий выпивает рюмку водки и совершенно флегматично отвечает:

– Давненько уж эти слухи-то ходят!

– А по-твоему, как?

– По-моему: всё до поры до времени.

– Фу! опять это слово! Да пойми же, братец, что ежели есть закон и может этот закон все сделать, так при чем же я-то в помпадурах состою?

– Надоело, видно, тебе жалованье-то получать!

Помпадур пробует продолжать спор, но оказывается, что почва, на которой стоит стряпчий, – та самая, на которой держится и правитель канцелярии; что, следовательно, тут можно найти только обход и отнюдь не решение вопроса по существу. «Либо закон, либо я» – вот какую дилемму поставил себе помпадур и требовал, чтоб она разрешена была прямо, не норовя ни в ту, ни в другую сторону.

– Нет, это все не то! – думалось ему. – Если б я собственными глазами не видел: «закон» – ну, тогда точно! И я бы мог жалованье получать, и закон бы своим порядком в шкафу стоял. Но теперь ведь я видел, стало быть, знаю, стало быть, даже неведением отговариваться не могу. Как ни поверни, а соблюдать должен. А попробуй-ка я соблюдать – да тут один Прохоров такую задачу задаст, что ног не унесешь!

В таких колебаниях и сомнениях проходят дни за днями. Очень возможно, что он и совсем не добился бы ответа на мучившие его вопросы, если б внезапно не осенила его героическая решимость, которую он и привел немедленно в исполнение.

Решимость эта заключалась в том, чтобы исследовать в самом источнике, узнать от чистых сердцем и нищих духом (сии суть столпы), нужны ли помпадуры. В каких отношениях находится к этому источнику практика помпадурская и в каких – практика законов? которая из них имеет перевес? в каком смысле – в смысле ли творческом, или просто в смысле реактива, производящего баламут?

Чтобы осуществить эту мысль, он прибегнул к самому первоначальному способу, то есть переоделся в партикулярное платье и в первый воскресный день *incognito*⁷⁴ отправился на базарную площадь.

День был веселый, и базар многолюдный; площадь была загромождена возами с осенними продуктами; говор несся отовсюду. В воздухе пахло капустой, грибами и овощами. Звякали медные гроши, слышалось хлопанье по рукам, пробное щелканье глиняной посуды, ржание лошадей. В одном месте пели песни, в другом ругались; там и сям кричали: караул! Бабы торговались с такой энергией, что, казалось, готовы были перервать друг другу горло. Были и случаи неповиновения властям: будочник просил у торговки пять грибов на щи, а она давала два, и будочник качал головой, как бы обдумывая, не расстрелять ли бабу за

⁷⁴ Тайно (*um.*) .

упорство...

Но помпадур ничего не замечал. Он был от природы не сентиментален, и потому вопрос, счастлив ли подведомственные ему обыватели, интересовал его мало. Быть может, он даже думал, что они не смеют не быть счастливыми. Поэтому проявления народной жизни, проходившие перед его глазами, казались не более как фантазмагорией, ключ к объяснению которой, быть может, когда-то существовал, но уже в давнее время одним из наезжих помпадуров был закинут в колодезь, и с тех пор никто оттуда достать его не может.

Тем не менее кое-что из происходившего даже ему бросилось в глаза.

Прежде всего его поразило следующее обстоятельство. Как только он сбросил с себя помпадурский образ, так тотчас же все перестали оказывать ему знаки уважения. Стало быть, того особого помпадурского вещества, которым он предполагал себя пропитанным, вовсе не существовало, а если и можно было указать на что-нибудь в этом роде, то очевидно, что это «что-нибудь» скорее принадлежало мундиру помпадура, нежели ему самому.

Второе поразившее его обстоятельство было такого рода. Шел по базару полицейский унтер-офицер (даже не квартальный), – и все перед ним расступались, снимали шапки. Вскоре, вслед за унтер-офицером, прошел по тому же базару так называемый ябедник с томом законов под мышкой – и никто перед ним даже пальцем не пошевелил. Стало быть, и в законе нет того особого вещества, которое заставляет держать руки по швам, ибо если бы это вещество было, то оно, конечно, дало бы почувствовать себя и под мышкой у ябедника.

Стало быть, вещество заключено собственно в мундире; взятые же независимо от мундира, и он, помпадур, и закон – равны.

Заключение это вскоре было самым блистательным образом подтверждено и другими исследованиями.

Как ни старательно он прислушивался к говору толпы, но слова: «помпадур», «закон» – ни разу не долетели до его слуха. Либо эти люди были счастливы сами по себе, либо они просто дикие, не имеющие даже элементарных понятий о том, что во всем образованном мире известно под именем общественного благоустройства и благочиния. Долго он не решался заговорить с кем-нибудь, но, наконец, заметил довольно благообразного старика, стоявшего у воза с кожами, и подошел к нему.

– Вот что, почтеннейший, – начал он, – человек я приезжий, и нужно мне до вашего градоначальника дойти. Каков он у вас?

– Это какой же начальник?

– Да вон тот... главный... что на пожарном дворе живет.

– А кто его знает! надобности нам в нем не видится.

Помпадура даже передернуло при этом ответе.

– Как же это, почтеннейший! до градоначальника – да надобности нет? А ну, ежели, например... что бы, например...

Он стал отыскивать подходящий пример, но как ни усиливался, мог отыскать только следующий:

– А ну, например, ежели в часть попадешь?

– До сих пор Бог миловал. А ежели когда попадем, тогда и узнаем.

– Но, может быть, слухи какие-нибудь ходят... ведь это градоначальник, почтеннейший! говорят же о нем что-нибудь.

– И слухов не знаем. Потому, ничего нам этого не надобно.

– Гм... Стало быть, так и живете? и ничего не опасаетесь?

– Опасаться как не опасаться; завсегда опасаемся, потому что всё до поры до времени.

– Может, закона боишься?

– Говорю тебе: до поры до времени. Выедешь, это, из дому хоть бы на базар, а воротись ли домой – вперед сказать не можешь. Вот тебе и сказ. Может быть, закон тебе пропишут, али бы что...

– Странно это. Если ты ведешь себя хорошо, если ты ничего не делаешь... я надеюсь, что господин градоначальник настолько справедлив...

– Ты и надейся, а мы надежды не имеем. Никаких мы ни градоначальников, ни законов твоих не знаем, а знаем, что у каждого человека своя планида. И ежели, примерно, сидеть тебе, милый человек, сегодня в части, так ты хоть за сто верст от нее убеги, все к ней же воротишься!

Таково было содержание первого разговора. Покончив с кожевенником, помпадур устремился к старичку-мещанину, стоявшему у палатки, увешанной лубочными картинками. Старик был обрит и одет в немецкое платье и сквозь круглые очки читал одну из книг московского изделия, которыми тоже, по-видимому, производил торг.

– Почтеннейший! – обратился он к мещанину, – я человек приезжий и имею надобность до вашего градоначальника. Каков он?

– А как вам, сударь, сказать. Нужды мы до сих пор в господине градоначальнике не видели.

– Однако ж?

– Так точно-с. От съезжей покуда Бог миловал, а о прочем о чем же нам с господином градоначальником разговор иметь?

– Стало быть, так живете, что и опасаться вам нечего?

– Ну, тоже не без опаски живем. И в Писании сказано: блюдите да опасно ходите. По нашему званию каждую минуту опасаться должно.

– Чего же вы боитесь? О градоначальнике, как вы сами сейчас сказали, даже понятия не имеете – закон, что ли, вам страшен?

– И о законе доложу вам, сударь: закон для вельмож да для дворян действие имеет, а простой народ ему не подвержен!

– Не понимаю.

– Да и не легко понять-с, а только действительно оно так точно. Потому, народ – он больше натуральными правами руководствуется. Поверите ли, сударь, даже податей понять не может!

– Однако чего же nibудь да боитесь вы?

– Планиды-с. Все до поры до времени. У всякого своя планида, все равно как камень с неба. Выйдешь утром из дому, а воротишься ли – не знаешь. В темном страхе – так и проводишь всю жизнь.

– Но я надеюсь, что господин градоначальник настолько справедлив, что ежели вы ничего не сделали...

В это время к беседующим подошел сельский священник и дружески поздоровался с продавцом картин.

– Вот, отец Трофим, господин приезжий сведение о господине градоначальнике получить желают.

– Надобность имеете? – спросил отец Трофим.

– Да-с, надобность.

– Личного знакомства с господином градоначальником не имею, да и надобности до сих пор, признаться, не виделось, но, по слухам, рекомендовать могу. К храму Божьему прилежен и мзду приемлет без затруднения... Только вот с законом, по-видимому, в ссоре находится.

– А они вот и насчет законов тоже разговорились, – вставил свое слово продавец картин, – спрашивают, боится ли простой народ закона?

– Закон, я вам доложу, наверху начертан. Все равно, как планета...

Но он уже не слушал дальше. Завидев пошатывающегося вдаль, с гармонией в руках, мастерового, он правильно заключил, что этот человек несомненно сиживал на съезжей, а следовательно, во всяком случае имеет понятие о степени и пределах власти градоначальника.

– Эй, почтенный, слышь!

Но не успел он формулировать свой вопрос, как мастеровой сразу огорошил его восклицанием:

– Вашему благородию, господину прахвостову!

Он шарахнулся, как обожженный, и скрылся в толпу. Там, чтобы не быть узнанным, подсел он на скамеечку к торговке, продававшей сусло и гречневика.

– А позвольте, голубушка, узнать, – сказал он, – каков таков здешний градоначальник?

Но торговка даже не взглянула на него, а просто сказала краткое, но сильное слово:

– А что? видно, давно ты на съезжей не сиживал?

Он был удовлетворен и уже хотел возвратиться восвояси, но по дороге завидел юродивую Устюшу и не вытерпел, чтобы не подойти к ней.

– Устюша! скажи ты мне, сделай милость...

Но блаженная, не дав ему кончить, не своим голосом закричала:

– Воняет! воняет!

В дальнейших исследованиях, очевидно, не предстояло никакой надобности.

Результат перешел за пределы его ожиданий. Ни помпадуры, ни закон – ничто не настигает полудикую массу. Ее настигает только «планида» – и дорого бы он дал в эту минуту, чтобы иметь эту «планиду» в своих руках.

Что такое «закон», что такое «помпадур» в глазах толпы? – это не что иное, как страдательные агенты «планиды», и притом не *всей* «планиды», а только той ее части, которая осуществляет собой карательный элемент. Они не могут ни оплодотворить земли, ни послать дождь или ведро, ни предотвратить наводнение – одним словом, не могут принять творческого участия во всем том круге явлений, среди которых движется толпа и влияние которых она исключительно на себе ощущает. Они могут воспрепятствовать, возбранить, покарать; но творчество никогда им принадлежать не будет, а будет принадлежать «планиде». Даже самая кара их имеет свойство далеко не «планидное», ибо, настигая одних, она не замечает, что тут же рядом стоят десятки и сотни других, которых тоже не мешает подобрать и посадить на съезжую. А потому толпа даже и в каре видит не кару, а несчастье.

В хаотическом виде все эти мысли мелькали в голове помпадура. Одну минуту ему даже померещилось, что он как будто совсем лишний человек, вроде пятого колеса в колеснице; но в следующее затем мгновение эта мысль представилась ему до того обидною и дикою, что он даже весь покраснел от негодования. А так как он вообще не мог порядком разобраться с своими мыслями, то выходили какие-то душевные сумерки, в которых свет хотя и борется с тьмою, но в конце концов тьма все-таки должна остаться победительницею.

Впрочем, во всем этом была и утешительная для его самолюбия сторона, та именно, что ни помпадуру, ни закону никаких преимуществ друг перед другом не отдавалось. Эту сторону он понял сразу и ухватился за нее с жадностью. Конечно, исследование раскрыло ему не одно это, а гораздо больше: оно доказало, что он не что иное, как микроскопический агент великой силы, называемой «планидою», и что, затем, самая полезность его существования вовсе не так несомненна, как это казалось ему самому. Но он поспешил скомкать этот главный результат и проглотить заключающуюся в нем обиду, сделав вид, что не замечает ее. Зато тем с большим жаром он привязался к другому, частному результату, гласившему об упразднении привилегий и преимуществ, приписываемых закону. Он даже шел дальше этого результата; он провидел перспективы и надеялся оттягать частичку в свою пользу.

– Да-с; мы еще потягаемся! – бормотал он в забвении чувств, – посмотрим еще, кто кого!

Но первоначальный толчок, возбудивший потребность исследования, был так силен, что собственными средствами отделаться от него было невозможно. Так как вопрос пришел извне (от правителя канцелярии), то надобно было, чтобы и найденное теперь решение вопроса было проверено в горниле чьего-нибудь постороннего убеждения.

С этою целью он отправился вечером в клуб, это надежнейшее и вернейшее горнило, в котором проверяются и крепнут всевозможные помпадурские убеждения. Обычная картина высшего провинциального увеселительного учреждения представилась глазам его. Кухонный чад, смешанный с табачным дымом, облаками ходил по комнатам; помещики

сидели за карточными столами; в столовой предводитель одолевал ростбиф; издали доносилось шелканье бильярдных шаров; стряпчий стоял у буфета и, как он выражался, принимал внутрь.

– А я, брат, пятнадцатую! – зазевал он, увидев приближающегося помпадур, – примем, что ли?

Но помпадур был серьезен и не хотел, чтобы, по милости водки, плоды его давнишних изнурений пропали даром.

– Ты вот пятнадцатую пропускаешь, – сказал он, – а я между тем успокоиться не могу!

– Что такое?

– Да все по поводу того разговора... за обедом; помнишь?

– Брось!

– Куда тут бросишь! закон, братец!

– Ну, и пушай его! закон в шкафу стоит, а ты напирай!

– Но ведь ты же сам говорил: до поры до времени?

– А это именно и значит: напирай плотней!

– Чудак! а под суд?

– Вот потому-то и напирай!

Стряпчий выпил шестнадцатую, поморщился и прибавил:

– А закон пушай в шкафу стоит!

Очень возможно, что помпадур удовлетворился бы этим подтверждением, потому что оно соответствовало направлению его собственных мыслей. Но «шестнадцатая» смутила его, и он решил продолжить проверку. С этой целью он подсел к предводителю, который в это время уже победил ростбиф и, хлопая глазами, обдумывал план кампании против осетра.

Но настоящим образом он мог изложить только введение; ибо едва он выговорил слово «закон», как предводитель вскричал:

– Брось!

– Закон-с... – повторил помпадур.

– Оставь!

В тот же вечер, за ужином, стряпчий, под веселую руку, рассказывал посетителям клуба о необыкновенном казусе, случившемся с помпадуром. Помпадур сидел тут же, краснел и изредка бормотал: закон-с.

– Брось! – раздалось со всех сторон.

– Напирай плотнее!

На другой день утром помпадур, по обыкновению, пришел в правление. По обыкновению же, в передней первое лицо, с которым он встретился, был Прохоров.

Но время полемики уже миновало.

– Влепить! – сказал он твердым и ясным голосом и с этим словом благополучно проследовал в канцелярскую камору.

Он!!

*Lui!.. toujours lui!!*⁷⁵

Victor Hugo

Совершенно неожиданно, вследствие каких-то «новых веяний времени», в нашем городе сделалось праздным место помпадур. Само собой, в ожидании назначения нового помпадур, провинция всецело предалась азитации. Загадывали и на того, и на другого, и на третьего, и, как всегда, в этих загадываниях первое место принадлежало личным качествам

⁷⁵ Он!.. всегда он!! (фр.)

тех, на которых мог пасть жребий уловлять вселенную. При отсутствии руководства, которое давало бы определенный ответ на вопрос: что такое помпадур? – всякий чувствовал себя как бы отданным на поругание и ни к чему другому не мог приурочить колеблющуюся мысль, кроме тех смутных данных, которые давали сведения о темпераменте, вкусах, привычках и степени благовоспитанности той или другой из предполагаемых личностей. Про одного говорили: «строгонек!»; про другого: «этот подтянет!»; про третьего: «всем был бы хорош, да жена у него анафема!»; про четвертого: «вы не смотрите, что он рот распахня ходит, а он бедовый!»; про пятого прямо рассказывали, как он, не обнаружив ни малейшего колебания, пришел в какое-то присутственное место и прямо сел на тот самый закон, который, так сказать, регулировал самое существование того места. И никому не приходило в голову сказать себе: что же мне за дело до того, каков будет новый помпадур, хорош собой или дурен, добрая у него жена или анафема? Как будто всякий, сознательно или бессознательно, чувствовал, что в этой-то комбинации личного темперамента и внешней обстановки именно и замыкается разгадка будущего...

Как сказано выше, старый наш помпадур упразднился совершенно неожиданно. Мы жили с ним в самых дружелюбных отношениях. Ни он нас не трогал, ни мы его не обижали. Хотя нравственные и умственные его качества всего ближе определялись пословицей: «не лыком шит», но так как вопрос о том, насколько полезны щегольской работы помпадуры, еще не решен, то мы довольствовались и тем, что у нас хоть плохонький, да зато дешевенький. Мы не страдаем шовинизмом; нам не нужно ни блестящих усмирений, ни смелых переходов через Валдайские горы. Наш помпадур сидел смиренно – и этого было с нас достаточно. Бывало, как ни послушишь, – кругом нас везде война. Бьют в барабаны, в трубы играют. В одном месте помпадур целое присутствие наголову разбил; в другом – рассеял целый легион прохожих людей, причем многих услад в заточение; в третьем – в двух словах изъяснил столько, сколько другому не изъяснить в целой сотне округленных периодов. А у нас – благодать. О внешних и внутренних врагах – нет слуха; походов – не предвидится даже в отдаленном будущем; ни барабанного боя, ни трубных звуков, которые свидетельствовали бы о светопреставлении, – ничего! Даже междоусобия – и те исключительно нашли себе убежище в местном клубе и были такого сорта, что никто не решался сказать, действительно ли это междоусобия или просто драки. Именно с этой точки зрения относился к этому явлению и наш старый, почтенный помпадур.

– Я знаю, – говорил он, – что в нашем клубе междоусобия нередки; вероятно, они не менее часты и в клубах других городов. Но я решительно отказываюсь понять, почему столь обыкновенное в нашем обществе явление может тревожить моих сопомпадутов! Не понимаю-с. Возьмите, например, хоть последнее наше междоусобие: князю Балаболкину, за неправильно сделанный в карты вольт, вымазали горячей котлеткой лицо. Поступок прискорбный – это так, но чтобы в нем крылось распространение вредных мыслей или поползновение к умалению чьей-нибудь власти – с этим я никогда не могу согласиться! Никогда-с.

Поэтому, в течение трех-четырёх лет этого помпадурства, мы порядочно-таки отдохнули. Освобожденный от необходимости на каждом шагу доказывать свою независимость, всякий делал свое дело спокойно, без раздражения. Земство облагало себя сборами, суды карали и миловали, чиновники акцизного ведомства делили дивиденды, а контрольная палата до того осмелилась, что даже на самого помпадура сделала начет в 1 р. 43 к.

И помпадур – ничего, даже не поморщился. Ни криков, ни воззвания к оружию, ни революций – ничего при этом не было. Просто взял и вынул из кармана 1 р. 43 к., которые и теперь хранятся в казне, яко живое свидетельство покорности законам со стороны того, который не токмо был вправе утверждать, что для него закон не писан, но мог еще и накричать при этом на целых 7 копеек, так чтобы вышло уж ровно полтора рубля.

Тем более должно было изумить нас известие, что наш добрый помпадур вынужден навсегда прекратить административный свой бег. Все оглядывались, все спрашивали себя:

почему, за что? – и никаких ответов не обретали, кроме отрывочных фраз, вроде «распустил» и «не удовлетворяет новым веяниям времени» (в старину это, кажется, означало: не подтягивает). Но почему же не удовлетворяет? разве мы заговорщики, бунтовщики? разве мы без ума бежим вперед, рискуя самим себе сломать голову? разве мы не всецело отдали самих себя и все помышления наши тому среднему делу, которое, казалось бы, должно отстранить от нас всякое подозрение в превысренности?

Но, рассуждая таким образом, мы, очевидно, забывали завещанную преданием мудрость, в силу которой «новые веяния времени» всегда приходили на сцену отнюдь не в качестве поправки того или другого отклонения от исторического течения жизни, а прямо как один из основных элементов этой жизни. Веяние прорывалось естественно, само собой; необходимость его жила во всех умах, не нуждаясь ни в каких обусловливающих побуждениях. Не бунтовской вопрос «за что?» служил для него исходною точкой, а совершенно ясное и положительное правило: будь готов. Будь готов, то есть: ходи весело, ходи грустно, ходи прямо, ходи вкось, ходи вкривь. Тебе ничего не приказывают, ни от чего не предостерегают; тебе говорят только: будь готов. Не к тому будь готов, чтоб исполнить то или другое; а к тому, чтобы претерпеть. Ты спрашиваешь, что должен ты сделать, чтоб избежать «претерпения»; но разве кто-нибудь знает это? Не чувствуешь ли ты, что даже самый вопрос твой является в ту минуту, когда уже все решено и подписано и когда ничего другого не остается, как претерпеть. Следовательно, это вопрос запоздалый, ненужный. Ты идешь прямо, а полчаса тому назад ты шел вкось – тут-то вот я и налетаю на тебя. Ни ты, ни я, мы оба не можем себе объяснить, почему нужно, чтоб дело происходило наоборот, то есть чтоб полчаса тому назад ты шел прямо, а теперь вкось. Мы чувствуем только, что мы столкнулись и ни под каким видом разминуться не можем. Но если ни ты, ни я не в состоянии угадать, что будет происходить в моей голове в предстоящий момент, то ясно, что единственный практический выход из этого лабиринта – это «претерпеть». И это совсем не каприз с моей стороны, совсем не преднамеренное желание уязвить тебя; это «порядок», с которым я безразлично отношусь и к тебе и ко всякому другому; это – «веяние времени»...

Словом сказать, общее недоумение, возбужденное полученным известием, было таково, что даже воинский начальник, человек крутой и бывалый, – и тот сказал:

– Ангел-с! Ангелы Богу нужны-с!

Само собою разумеется, что неделя, предшествовавшая отъезду старого помпадур, была рядом целодневных празднеств, которыми наше общество считало долгом выразить свою признательность и сочувствие отъезжающему. Это был очень яркий и сильный протест, в основании которого лежала благоразумная мысль: авось не повесят! Все лица сохраняли трогательное и в то же время сконфуженное выражение; но всех более сконфуженным казался сам виновник торжеств. Полный мысли о бренности всего земного, он наклонялся к тарелке и ронял невольную слезу в стерляжью уху. Затем, хотя в продолжение дальнейших перемен он и успевал придать своему лицу спокойное выражение, но с первым же тостом эта напускная твердость исчезала, глаза вновь наполнялись слезами, а голос, отвечавший на напутственные пожелания, звучал бесконечной тоскою, почти напомиравшею предсмертную агонию.

Бесчисленные картины неприятного, серенького будущего проносились в эти мгновенья в его воображении. То, что происходило перед ним в эту минуту, несомненно происходило *в последний раз*, ибо не было примеров, чтоб помпадур, однажды увядший, вновь расцветал в качестве помпадур. Все милое сердцу оставлял он, и оставлял не для того, чтоб украсить собой одну из зал величественного здания, выходящего окнами на Сенатскую площадь, а для того, чтобы примкнуть в ряды ропщущих и бесплодно-чающих, которыми в последнее время как-то особенно переполнены стогны Петербурга. «Бедный!» – читал он на всех лицах, во всех глазах, и это тем более усугубляло его страдания, что никто глубже его самого не сознавал всю наготу будущего, в которое судьба, с обычною бессознательности жестокостью, погружала его. Да, все, что он теперь ест, – он ест *в последний раз*, все, что он теперь видит и слышит, – он видит и слышит *в последний раз*. Сегодня, после обеда, он

последний раз будет играть в ералаш по три копейки (в будущем эта игра ему уже не по средствам); сегодня *в последний раз* полицеймейстер молодцом подлетит к нему с рапортом, что по городу все обстоит благополучно, сегодня частные пристава в последний раз сделают под козырек, когда он поедет с прощальным визитом к архиерею. И вот он с каким-то испугом осматривается кругом. Все обстоит здесь по-прежнему и на прежних местах, но ему кажется, что и люди, и предметы, и даже стены – все сошло с мест и уходит куда-то вдаль. Он уподобляет себя светочу; вчера еще этот светоч горел светлым и ярким огнем, сегодня он потушен и уж начинает чадить; завтра он будет окончательно затоптан и выброшен на улицу вместе с прочею никуда не нужною ветошью...

Увы! в человеческом сердце нет неизгладимых воспоминаний, а воспоминания о помпадурах меньше, нежели всякие другие, выдерживают клеймо неизгладимости. Все эти люди, которые сегодня так тепло чувствуют его, завтра ни единым словом, ни единым жестом не помянут об нем. И как нарочно, в последнее время все таким образом устроилось, чтобы как можно скорее изглаживать помпадурские следы. Прежде, бывало, помпадур, возвращаясь с своего помпадурства вспять, все-таки сутки и больше едет в пределах этого помпадурства. Следовательно, прошедшее оставляет его не вдруг. На каждой станции он слышит сетования и пожелания; зритель ахает, ящик старается прокатить на славу... *в последний раз!*.. «Добрый я! добрый! – мечтал, бывало, помпадур под звон почтового колокольчика, – все-то сословия жалеют обо мне!» И затем, не торопясь, станция за станцией, погружался в бездны будущего. А нынче упраздненному помпадуру предстоит только приехать на станцию железной дороги (благо она тут же, под боком), наскоро всех расцеловать, затем свистнул паровоз – и нет его! До такой степени нет, что не успел еще скрыться поезд за горой, как поезжане, покончив с проводами, уже предаются злобе дня и заводят разговоры о предстоящей «встрече». Кто тот разнузданный романтик, который, в виду этого упрощения проводов и встреч, пребудет настолько закоснел, чтобы, под впечатлением проводов какого-нибудь помпадура, оглашать стогны города кликами: нет Агатона! нет моего друга!?...

Но это был еще только один угол картины, которая проносилась в воображении помпадура в то время, когда он взволнованным голосом благодарил за участие и пожелания. Дальше картина разворачивалась мрачнее и мрачнее и уже прямо ставила его лицом к лицу с самым таинственным будущим.

Нет Агатона! Место, на котором он сидел, сейчас же остыло, и губернский архивариус тщетно отыскивал на полках архива дело об административных намерениях помпадура Агатона 2-го. Такого дела не было заведено, потому что не было самых «намерений». У Агатона мог быть благосклонный (или не терпящий возражений) жест; у него могла быть благодушная (или огрызающаяся) улыбка; у него могло быть приветливое (или ругательное) слово; но административных намерений у него не было. Он, подобно актеру, мог нравиться или не нравиться очевидцам-современникам, но для потомства (которое для него наступает с какою-то особенной быстротою) – он мертвая буква, ничего никому не говорящая, ни о чем никому не напоминающая...

Нет Агатона! Он мчится на всех парах в Петербург и уже с первой минуты чувствует себя угнетенным. Он *равен всем*; здесь, в этом вагоне, он находится точно в таких же условиях, как и *все*. *В последний раз* он путешествует в 1-м классе и уже не слышит того таинственного шепота: это он! это помпадур! – который встречал его появление в прежние времена!

И вот, в то время как паровоз, свистя и пыхтя, все больше и больше отдаляет его от милых сердцу, к нему подсаживается совершенно посторонний человек и сразу, сам того не зная, берedit дымящуюся рану его сердца.

– Вы изволите ехать из N? – спрашивает его незнакомец.

С каким самоуверенным видом, с каким ликованием в голосе ответил бы он в былое время: да... я тамошний помпадур! Я еду в Петербург представить о нуждах своих подчиненных! Я полагаю, что первая обязанность помпадура – это заботиться, чтоб

законные требования его подчиненных были удовлетворены! и т. д. Теперь, напротив того, он чувствует, что ответ словно путается у него на языке и что гораздо было бы лучше, если б ему совсем-совсем ничего не приходилось отвечать.

– Да... то есть я... конечно, я еду из N... – смущенно произносит он наконец.

– Вы тамошний? – продолжает нескромно приставать спутник.

– Да... то есть, не совсем... я служу... то есть служил...

Он старается замять всякий разговор, он даже избегает всех взоров... И только, быть может, через сутки, уже на последних станциях к Петербургу, он разгуляется настолько, чтоб открыть свое действительное положение и поведать печальную историю своей отставки. Тогда с души его спадет бремя, его тяготившее, и из уст его впервые вырвется ропот. Этот ропот начнет новую эпоху его жизни, он наполнит все его будущее и проведет в его существовании черту, которая резко отделит его прошедшее от настоящего и грядущего.

Нет Агатона! В первое время, непосредственно следующее за отставкой, он, впрочем, еще бодрится и старается водиться с так называемыми «людьми». Как бывший помпадур и как действительный статский советник, он легко вторгается в дом к финансисту Фалелею Губошлепову и даже исполняет разные мелкие его поручения. Встречает гостей, которые попроще, и занимает их, представляя лицо хозяина; ездит в гостиный двор за игрушками для губошлеповских детей; показывает Губошлепову, как надевают на шею орден св. Анны; бегаёт на кухню поторопить француза-повара; предшествует Фалелею в ресторанах в те дни, когда устраиваются тонкие обеды для лиц, почему-либо не желающих показываться в фалелеевских салонах; по вечерам, вместе с другими двумя действительными статскими советниками, составляет партию в вист для мадам Губошлеповой, и проч. и проч. За все эти услуги он имеет готовый стол и возможность с утра до вечера оставаться в хорошо натопленных и роскошно убранных салонах своего патрона и, сверх того, от времени до времени, пользуется небольшими подачками, которые он, впрочем, принимает с большим чувством собственного достоинства. Среди этого изобилия он как будто даже повеселел. Узнал толк в винах и сигарах, верно угадывал цену каждого фрукта, прямо запуская лапу туда, где раки зимуют, отпустил брюшко, сшил себе легкий костюмчик, ел так смачно и аппетитно, что губы у него припухли и покрылись глянцем... Но поэт сказал правду:

...на счастье прочно
Всяк надежду кинь...

И правде этой пришлось осуществиться на Агатоне самым жестоким образом. Не успел еще он пустить корни в доме Губошлепова, как последний уж подыскал себе какого-то бывшего полководца. С этих пор патрон уже видимо охладевает к Агатону. Являются на сцену столкновения и пререкания. Вопрос о том, кому из двух соперников владеть сердцем Губошлепова, с каждым днем делается больше и больше назойливым и, конечно, должен разрешиться в ущерб Агатону. Начинается с того, что однажды Агатон уж совсем было запустил лапу в ящик с сигарами какой-то неслыханной красоты, как вдруг почувствовал, что его обожгло.

– Вот эти... поменьше... они вкуснее будут! – сразу озадачил его Губошлепов, указывая взглядом на другой ящик с менее ценными сигарами.

Услышав эту апострофу, Агатон побледнел, но смолчал. Он как-то смешно заторопился, достал маленькую сигарку и уселся против бывшего полководца, попыхивая дымком как ни в чем не бывало. Но дальше – хуже. На другой день, как нарочно, назначается тонкий обедец у Донона, и распорядителем его, как-то совершенно неожиданно, оказывается бывший полководец, а Агатон вынуждается обедать дома с мадам Губошлеповой и детьми.

На третий день Агатон, по поручению Губошлепова, купил какой-то совершенно новый сыр и только что вознамерился похвастаться своей находкой, как вдруг приехал бывший полководец и привез кусок точно такого же сыра. Разумеется, сыр полководца оказался «много превосходнее»...

Тогда Агатон не выдержал и пустился в объяснения. Выдержи он, стерпи, – он, может быть, и теперь покуривал бы прекраснейшие (хоть и не первой красоты) сигарки, попивал бы отличное бордо, ел бы сочную дюшессу и проч. Но он возроптал, заплакал – и тем окончательно выказал свой беспокойный характер.

– Это все в тебе зависть плачет! – сразу осадил его Губошлепов, – а ты бы лучше на себя посмотрел! Какая у тебя звезда (у Агатона была всего одна звезда, и то самая маленькая)? А у него их три! Да и человек он бесстрашный, сколько одних областей завоевал, – а ты! На печи лежа, без пороху палил! И хоть бы ты то подумал, что этаких-то, как ты, – какая орава у меня! По одной рублевой сигарке каждому дай – сколько денег-то будет! А ты лезешь! И лег ты и встал у меня, и все тебе мало!

Агатон обиделся...

Нет Агатона! Он поселился в четвертом этаже, во дворе того самого дома, где живет и бывший его патрон, и прозябает под командой у выборгской шведки Лотты, которая в одно и то же время готовит ему кушанье, чистит сапоги и исполняет другие неприхотливые его требования. Лотта безобразна, редковолоса, лишена бровей и ресниц и за всем тем с ожесточением упрекает его в том, что он загубил ее молодость. Чтоб загладить этот поступок, он старается исполнить малейший ее каприз. Сначала она варила ему кофе, пока он нежился на постели, теперь – он сам варит кофе, пока она, неопрятная и сонная, барахтается в пуховике. Чтоб быть ей приятным, он даже выучился говорить «по-ейному» и так чисто произносит: «анна-мина-нуси», что Лотта не может удержаться, чтоб не дать ему за это пинка. По воскресеньям к Лотте ходит «ейный» двоюродный брат, и тогда Агатон на целый день уходит из дома, сначала в греческую кухмистерскую, потом на ералаш (по 1 /10 копейки за пункт) к кому-нибудь из бывших помпадуров, который еще настолько богат средствами, чтоб на сон грядущий побаловать своих гостей рюмкой очищенной и куском селедки. Там, в интервалах сдачи, ропщущие экс-помпадуры рассказывают друг другу о бывшем привольном житье, о стерляжьей ухе, о цене на рябчиков и индюков, о любопытнейших сенатских указах, о столкновениях, пререканиях и проч. Затем, проглотив по рюмке живительной, все расходятся, а наутро опять наступает понедельник, опять «анна-мина-нуси», обед, ценою не свыше тридцати копеек, после обеда спанье, гранпасьянс, вечерний чай и опять спанье. И так вся неделя...

Нет Агатона! Он до такой степени сам сознает это, что, в знак покорности велениям судеб, отпустил бороду и усы. Худой и выцветший, в поношенном пальто с сильно порыжелым бобровым воротником, он первого числа каждого месяца сидит на площадке лестницы главного казначейства и, в ожидании своей очереди для получения пенсии, беседует с «старушкой». «Старушка» с ридикюлем в руках – это неременная принадлежность главного казначейства. С костылями или без костылей, в капоре или в драдедамовом платке, в старом беличьем салопе или в ватном поношенном пальто, она всегда тут, сидит на площадке, твердою рукою держит ридикюль, терпеливо выжидает выслуженную и выстраданную зелененькую кредитку и слезящимися глазами следит за проходящими франтами, уносящими уймы денег в виде аренд, вспомоществований и более или менее значительных пенсий.

Сказать ли правду? – взирая на нее, помпадур чувствует себя как-то бодрее. Не он один забит, не он один погружен в бездну. Есть на свете существо и еще забитее, еще подавленнее. И он без умолку готов болтать со «старушкой», ибо отныне только такого рода беседа и может влить в его сердце восстанавливающий бальзам. Да; он был им! он несомненно был помпадуром! И если напоминание об его помпадурстве не возбуждает в людях счастливых и довольных ничего, кроме обидного равнодушия, то пусть хоть она, пусть хоть эта «старушка» услышит об этом и позавидует ему!

– Всей-то моей пенсии, – говорит «старушка», – никак двенадцать рублей сорок три копейки в месяц будет. На себя, значит, семь рублей получаю, да на внука – сын у меня на службе помер – так вот на них пять рублей сорок три копейки пожаловали!

– Немного, сударыня!

– Четыре зеленых, сударь; тут и в пир, и в мир. Вот старшей-то внучке скоро года выходят, так, сказывают, два семь гривен вычета будет!

– И живете-с?

– Живем, сударь. Только, надо сказать, житье наше такое: и жить-то бы не надо, да и умирать не хочется. Не разберешь. А тоже вот хоть бы и я: такое ли прежде мое житье было! Дом-то полная чаша была, хоть кто приходи – не стыдно! И мы в гости – и к нам гости! Ну, а теперь – не прогневайся! Один день с квасом, а другой и так всухомятку поедим. Ну, а вы, сударь, чай, много суммы-то получаете?

– Да в месяц восемьдесят один рубль шестьдесят копеек. Не развернешься тоже, сударыня!

– И! что вы! Да кабы нам такие деньги! Вы, стало быть, большую службу-то несли?

– Да... я... помпадуром был! – не без фатовства отвечает Агатон и видимо наслаждается, замечая, как «старушку» берет оторопь при этом признании.

Эта оторопь есть цель всех его разговоров. Достигнув ее, помпадур счастлив; он чувствует, что он не весь еще погас и что есть на свете существо, которое может позаимствоваться от него светом.

– Был, сударыня, был-с! – продолжает он с увлечением и вытягиваясь во весь рост. – Встречали-с! Провожали-с! Шагу по улице не делал, чтобы квартальный впереди народ не разгонял-с! Без стерляжьей ухи за стол не саживался-с! А что насчет этих помпадурш-с...

Агатон махает рукой и направляется к стойке, за которою производится раздача пенсий. Защемив в руку пачку красненьких кредиток, он проходит назад мимо «старушки» и так дружелюбно кивает головой на ее почтительный поклон, что оставляет ее в совершенном недоумении, действительно ли с ней говорил один из тех помпадуров, о которых в газетах пишут: и придут во град, и имут младенцев, и разбивают их о камни?!

Нет Агатона! до такой степени нет, что никому из Н-ских обывателей, приезжающих в Петербург понюхать, чем пахнет, не приходило даже на мысль проведать, где он и как ему живется. Сначала ему так и казалось, что вот-вот ему сейчас доложат: корнет Берендеев приехал! прапорщик Солонина желают вас видеть! Однако проходят дни, недели, месяцы, годы, но ни Берендеев, ни Солонина и ухом не ведут. Помпадур долгое время не может освоиться с мыслью, что он забыт. Слыша, что Берендеев и Солонина уж не один раз наезжали в Петербург с тем, чтобы во всех домах терпимости отрекомендовать себя как непоколебимейших консерваторов, он не хочет верить ушам своим. Да те ли это? «его» ли это Берендеев и Солонина? назойливо допрашивает он очевидцев консерваторских подвигов этих людей и только тогда уже, когда нет больше места сомнениям, раздражается целым ливнем бессильных жалоб против людской неблагодарности. «По целым часам в приемной у меня коптел! у притолоки стоял! за честь себе считал, когда я не то что рукой – мизинцем его поманю!» – восклицает он, весь дрожа и захлебываясь от негодования. Дай волю своему языку, он наверное присовокупил бы: «А вот погоди! я вас ужо в бараний рог согну!» – но нелепость этой угрозы столь очевидна, что самое возникновение ее в разгоряченном мозгу уже производит в нем реакцию в совершенно обратном смысле. Все кончено! все пусто, все голо, все дышит холодом, все исполнено мрака и бесцельной, щемящей тоски... Впереди нет места ни для угроз, ни для осаживаний, ни для ошеломлений! Кому какое дело, приветливая или огрызающаяся улыбка играет у него на устах? кому надобность знать, благосклонный или не терпящий возражений у него жест? Все это имело значение прежде, а теперь...

– Ну и черт с ними! им до меня нет дела, и мне до них дела нет! – принимает он наконец героическое решение и, остановившись на нем, все больше и больше погрязает под ферулой у выборгской шведки Лотты...

Эта картина не последняя. Не вся перспектива исчерпана; вслед за описанными выше проносятся новые картины наготы и бедности, проносятся с быстротою молнии, до тех пор, пока отуманенный взор окончательно не отказывается различать в этой мрачной, зияющей бездне будущего!

«О, если б помпадуры знали! если б они могли знать! – мысленно обращается он к

самому себе, – сколь многого бы они не совершали, что без труда могли бы не совершить! И если даже меня, который ничего или почти ничего не совершил, ждет в будущем возмездие, то что же должно ожидать тех, коих вся жизнь была непрерывным служением мятежу и сквернословию?»

– Господа! предлагаю тост за нашего дорогого, многолюбимого отъезжающего! – прерывает на этом месте мучительные мечты помпадур голос того самого Берендеева, который в этих мечтах играл такую незавидную роль, – вашество! позвольте мне, как хозяину дома, которому вы сделали честь... одним словом, удовольствие... или, лучше сказать, удовольствие и честь... Вашество! язык мой немеет! Но позвольте... от полноты души... в этом доме... Господа! поднимем наши бокалы! Ура!

При этом возгласе картины будущего оставляют на время помпадур, и он вновь возвращается к чувству действительности, то есть чокается и благодарит.

– Благодарю вас, господа! – говорит он, – хотя, признаться, я бы желал, чтобы все здесь происходящее было сном! Пусть это был бы приятный, сладкий сон, доставивший вам случай выразить мне сочувствие, а мне – лучшую награду, которой только может желать честолюбивейший из помпадуров... Но все-таки пусть бы это был сон!

– А уж мы-то, вашество! как бы мы-то! – шипит по-змеиному будущий Иуда-Берендеев.

Однако это был не сон, и как мы ни ухитрились отдалить минуту помпадурского отъезда, но, наконец, все-таки были вынуждены заколоть тельца, чтобы *в последний раз* упитаться достойного юбиляра.

Прекрасно и умирительно было это последнее торжество. Распорядилась им целая комиссия из чиновников особых поручений, под высшим наблюдением губернского предводителя дворянства. В четыре часа пополудни прибыл почтенный юбиляр и под звуки военного марша, словно гонимый сквозь строй, вступил в залу собрания в сопровождении двух ассистентов. На особом столе была сервирована роскошнейшая закуска, но взволнованный помпадур почти не прикоснулся к ней, а только оросил слезою великолепный страсбургский паштет. За обедом подавали: стерляжью уху и *soupe a la reine*⁷⁶ (к ним: расстегаи и семь или восемь сортов пирожков), затем: громаднейший ростбиф, *salade de pomards et de foie de lotte*, *epigramme de chevreuil*, *punch glace*,⁷⁷ жареные фазаны и перепела, *fonds d'artichauts a la lyonnaise*,⁷⁸ и в заключение три или четыре сорта пирожных. Тосты предлагались в бесчисленном количестве, ибо не только начальники отдельных частей, но даже советники и ревизоры пожелали чем-нибудь порадовать отъезжающего на прощание. Председатель суда сказал: «Никогда бы наш гласный, правый и скорый суд не встал такой прочной ногою, если б вашество не удостоили его вашим истинно просвещенным сочувствием». Председатель земской управы сказал: «Никогда земство не привилось бы так счастливо в нашем краю, если б вашество, с первых же шагов, не ободрили его вашим благосклонным содействием!» Управляющий казенной палатой сказал: «Никогда выкупные платежи не поступали в таком изобилии». Управляющий акцизными сборами сказал: «Никогда акциз с вина, а равно и патентный сбор с мест оптовой и розничной распродажи напитков всех наименований не достигали таких размеров». Управляющий контрольной палатой сказал: «Никогда в нашем краю законность не процветала; вашество первый подали пример благосклонной покорности законам, внеся 1 р. 43 к., начтенные на вас контрольной палатой. Факт этот навсегда останется незабвенным в сердцах всех чинов вверенной мне

⁷⁶ Суп по-королевски (фр.) .

⁷⁷ Салат из омаров с налимьей печенкой, рагу из козули, замороженный пунш (фр.) .

⁷⁸ Артишоки по-лионски (фр.) .

палаты, начиная с меня и кончая сторожем!» Советники и ревизоры, каждый порознь, сказали: «Позвольте, вашество, и нам! Никогда законность не процветала в нашем краю! Никогда!» И так далее. Одни предводители не говорили речей, а только кричали: уррра! Наконец выступил и сам юбиляр с ответным прощальным тостом.

– Господа! – сказал он. – Я знаю, что я ничего не совершил! Но именно потому-то я и позволяю себе на прощанье пожелать вам одного. Я от души желаю вам... я желаю... чтоб и другой... чтобы и тот, кто заменит вам меня (крики: «никто не заменит! никто!»)... чтоб и он тоже... ничего, подобно мне, не совершил! Смею думать... да, я именно так позволяю себе думать... что это самое лучшее... что это самое приятное пожелание, какое я могу сделать вам в эту торжественную минуту.

– Урра! – стоном застонала в ответ вся зала.

В семь часов вечера помпадур, усталый и измученный, оставил нас, чтобы заехать в свою квартиру и переодеться. В девять мы собрались на станции железной дороги в ожидании поезда. В 9 / 1 / 2 помпадур наскоро перецеловал нас, выпил прощальный бокал и уселся в вагон. Через минуту паровоз свистнул, и помпадур вместе со всем поездом потонул во мраке!..

«Его уж нет!» – запел кто-то в толпе и этим простым восклицанием сразу возвратил нас к действительности.

Действительность, которая предстояла впереди, для многих из нас была более нежели серьезна.

Как я объяснил выше, главную черту старого помпадура составляла кроткая покорность закону и законности. Окруженный ореолом власти и пользуясь всеми ее фициями, он не был, однако ж, опьянен ими, но любил соединять величие с приветливостью и даже допускал, что самые заблуждения людей не всегда должны иметь непременно последствием расстреляние. Устраняясь лично от прений по предметам внутренней политики, он тем не менее не находил противным человеческому естеству, если кто-либо из его подчиненных, в приличных формах, позволял себе оспаривать пользу и целесообразность того или другого мероприятия. Он даже с удовольствием вслушивался, как люди разговаривают, как из уст их по временам вылетают умные слова и как по поводу какого-нибудь непонятого для него выражения вдруг возникает горячий, но скромный спор. Как будто он догадывался, что ни этот спор, ни возбудившие его непонятные слова не заключают в себе ничего угрожающего общественному спокойствию и что дело кончится все-таки тем, что оппоненты, поспорив друг с другом, возьмутся за шапки и разбредутся по домам.

Такое благодушное настроение помпадура сообщало нашему обществу, или, по крайней мере, просвещенному его меньшинству, совершенно особенный, так сказать, скромно-либеральный характер. Мы составляли единую дружественную семью, которая днем насаждала древо гражданственности в присутственных местах, а по вечерам собиралась в том или другом доме, тоже для насаждения древа гражданственности. Коли хотите, эти собрания были немножко скучны, но зато вполне благонадежны. Мы читали передовые статьи «Старейшей Российской Пенкоснимательницы» и удивлялись благонамеренной их дерзости. Затем мы обсуждали казусы, возникавшие во время утренних заседаний в присутственных местах, и общим советом решали вопросы об истинных свойствах ассигновки, подлежащей удовлетворению, об единокровии и единокровии, о границах, далее которых усышка не должна быть допускаема, о том, следует ли вынуть из пробоя затычки признавать признаком взлома, и т. д. В заключение, мы предавались радости, что все мы такие усердные, нелицеприятные, преданные интересам казны, и, закончивши свой день этим, так сказать, актом самооблюбования, несуетливо расходились восвояси.

Повторяю: каждый из нас был искренно предан своему скромному, среднему делу, и ежели в этой преданности можно было отыскать что-нибудь предосудительное, то разве только то, что мы не шутя были убеждены, что наше «дело» может развиваться полегоньку, без трубных звуков, без оглушений, а тем более без сквернословия. «Наше время не время

широких задач!» – восклицали мы и с непреоборимой серьезностью корпели над рапортами, ведомостями, решениями и предписаниями. Председатель суда, конечно, соболезнавал, когда присяжные заседатели слишком охотно оправдывали обвиняемых, но в то же время никогда не позволил бы себе утверждать, что институт присяжных должен быть подвергнут за это посрамлению. Председатель казенной палаты всем сердцем желал, чтобы подати поступали в казну бездоимочно, но был бы глубоко огорчен, если б это поступление сопровождалось взломом голов у плательщиков. Председатель земской управы страстно лелеял в душе своей идеал переложения дорожной повинности из натуральной в денежную, но первый отступил бы в ужасе, если б ему сказали, что для достижения этого необходимо ту или другую местность объявить в осадном положении. Управляющий акцизными сборами охотно принимал участие в дележе дивиденда, но при этом всегда уповал, что наступит время, когда количество дивиденда будет зависеть не столько от увеличения армии пьяниц, сколько от более правильного распределения напитка между желающими пользоваться им. И так далее. Но, при всем либерализме, мы не только не отрицали необходимости помпадура, но даже прямо говорили, что без помпадура мы пропадем, как шведы под Полтавой. В безграничном нашем усердии мы желали от помпадура только одного: чтоб он не отвлекал нас от рапортов, предписаний и ведомостей, чтоб не истощал казны чересчур блестящими предприятиями и простил бы, если б кто-нибудь из нас, по рассеянности, выказал *простую* теплоту чувств в такую минуту, когда принято выказывать теплоту чувств *особенную*.

Таким образом мы жили, и, надо сказать правду, не видя ниоткуда притеснений, даже возгордились. Стали в глаза говорить друг другу комплименты, называть друг друга «гражданами», уверять, что другой такой губернии днем с огнем поискать, устраивать по подписке обеды в честь чьего-нибудь пятилетия или десятилетия, а иногда и просто в ознаменование беспримерного дотоле увеличения дохода с питий или бездоимочного поступления выкупных платежей.

Понятно поэтому, какое горькое впечатление произвело на нас косвенное известие о каком-то «веянье времени», которое должно было немедленно нас сократить.

Многие из нас думали: как, однако ж, постыдно, как глубоко оскорбительно положение человека, который постоянно должен задавать себе вопрос: за что? – и не находить другого ответа, кроме: будь готов. Я, например, сижу за столом и весь углублен в проверку ведомостей. Никакой вины за собой я не чувствую. Цифры шеренгами и столбцами мелькают в моих глазах; мне тошно от них, я рад бы бежать куда глаза глядят, чтоб только не видеть их, однако я преодолеваю свою тошноту и целым рядом героических насилий над собою достигаю, наконец, итога, не только понятного для меня самого, но такого, который – я положительно в том уверен – поймет и мое начальство. И вдруг, в самом разгаре торжества моего усердия, мне приходится сказать: ты преступен! Ты преступен потому, что когда-то, в каком-то месте, не выказал *достаточной* теплоты чувств! «Помилуйте, – говорю я, – я вот этими ведомостями, я числом входящих и исходящих нумеров – вот чем доказываю я теплоту своих чувств!» – «Вздор! – отвечают мне, – наплевать нам на твои ведомости! Пусть будут все итоги перевераны, пусть будут исходящие бумаги исполнены бессмыслицы – подавай нам не *эту*, а настоящую теплоту чувств!» – «Позвольте, однако! стало быть, у вас есть термометр, с помощью которого вы...» – «Ба! ты еще остришь! Живо! Faites vos bagages, messieurs! faites vos bagages!»⁷⁹ Фюить!»

И вот я, преданнейший из либералов, я, который всю жизнь мечтал: как было бы славно, если б крестьянин вносил выкупные платежи полностью, и притом не по принуждению, а с сладким сознанием выполненного долга, – я должен не оглядываясь бежать «от прекрасных здешних мест», бежать без прогонов, с опасною кличкой человека, не выказавшего *достаточной* теплоты чувств?

За что?!

⁷⁹ Собирайте свой багаж, господа! (фр.)

Поймите меня. Если я желал, чтоб выкупные платежи вносили бездоимочно, то ведь я желал этого не для себя, не для приобретения себе эфемерной популярности, а для того, что сердце мое обливалось кровью при одной мысли, что государственное казначейство может быть поставлено в затруднение. Какой еще нужно теплоты чувств! А если я, сверх того, желал, чтоб эти взносы делались не по принуждению, то опять-таки не затем, чтоб дать поблажку непросвещенной и грубой черни, а затем, что если однажды, в видах скорейшего получения денег, проломить плательщику голову, то он умрет, и в другой раз казне уже не с кого будет взыскивать. Ужели и это не теплота чувств!

Теплота чувств! О вы, которые так много говорите об ней, объясните по крайней мере, в чем должны заключаться ее признаки? Но, уввы! никто даже не дает себе труда ответить на этот вопрос. Напротив того, вопрос мой возбуждает негодование, почти ужас. Как! ты даже этого, врожденного всякому человеку, понятия не имеешь! ты *этого* не понимаешь! *Этого!!* Брысь!

В тоске я обращаюсь к моему сердцу. Сердце-вещун! – говорю я, – ты, которое, десятки лет состоя на казенной службе, должно знать все формы и степени казенной теплоты! Поведай мне, в чем прегрешаю я против них?

И вот сердце отвечает мне: тогда-то, спеша по улице в присутствии, ты забыл сделать под козырек! тогда-то, гуляя в публичном саду, ты рассуждал с управляющим контрольной палатой на тему о бесполезности писать законы, коль скоро их не исполнять, между тем как, *по-настоящему*, ты должен был стоять в это время смиренно и распевать «Гром победы раздавайся!».

О, ужас! я припоминаю! Да... это так... это действительно было! Действительно, я и под козырек не сделал, и не распевал... Но почему же, о сердце! ты не предупредило меня! Ты, которое знаешь, как охотно я делаю под козырек и с каким увлечением я всегда и на всяком месте готов повторять:

О росс! о род непобедимый!

О твердокаменная грудь!

Положим, однако ж, что я преступен, но разве нет для меня смягчающих вину обстоятельств? Та поспешность, с которою я устремлялся в присутствие и которая была причиной, что я не сделал под козырек, – разве это не фимиам в своем роде? Тот восторженный разговор, который я вел о необходимости покоряться законам даже в том случае, если мы признаем, что закон для нас не писан – разве это не перифраза того же самого «Гром победы раздавайся», за нераспевание которого я так незаслуженно оскорблен названием преступника?

Но никто не внимает мне; никто не хочет признать за мной даже смягчающих обстоятельств! *Faites vos bagages, messieurs! faites vos bagages!*

В ожидании таких перспектив, очень естественно, что мы и не заметили, как простыл след нашего доброго старого помпадура. Нам было не до того. Не неблагодарность руководила нами, а простое чувство самосохранения. В тоскливой суете сообщали мы друг другу различные предчувствия и предположения, но все эти предчувствия бледнели и меркли перед одним капитальным и, так сказать, немеркнувшим вопросом:

Кто... ОН?

Кто он? Кто тот благовестник самоновейшего духа времени, которому суждено и на нас распространить его веяния или, лучше сказать, вывести нас в некоторое пустынное и ниоткуда не защищенное место, где всевозможные вихри будут нещадно трепать нас и сзади, и спереди, и с боков?

В чем состоят «веянья» времени?

*Que les mechants tremblent! que les bons se rassurent!*⁸⁰ Все это прекрасно, но кто же те

⁸⁰ Пусть злые трепещут, пусть добрые взирают с доверием! (*фр.*)

«злые», которые обязываются трепетать? Кто те «добрые», которые могут с доверием взирать в глаза прекрасному будущему?

Надо сказать правду, что, предложив себе эти вопросы, мы ответили на них довольно рутинным образом. По прежним примерам, а может быть, и не по примерам, а просто на основании давно упраздненных афоризмов административной азбуки, мы думали, что под «злыми» следует разуметь, во-первых, взяточников, во-вторых, так называемых дантистов и, в-третьих, всякого рода шалопаев и «шлющихся людей». Некоторые из нас (либералы, но уже с значительным консервативным оттенком) прибавляли к этим трем категориям еще четвертую, под наименованием «людей политически неблагонадежных». Но, во всяком случае, так как мы ни к одной из этих категорий (даже к четвертой) себя не причисляли, то многие чуть было тут же не начали взирать с доверием в глаза прекрасному будущему. Однако ж более пристальное рассмотрение дела дало нам почувствовать, что тут есть ошибка, и притом довольно грубая.

Начать хоть с взяточников – могут ли они быть названы «злыми» в новейшем значении этого слова? Известно, что в конце пятидесятых годов воздвигнуто было на взяточников очень сильное гонение. С понятием о «взятничестве» сопрягалось тогда представление о какой-то язве, которая якобы разъедает русское чиновничество и служит немалой помехой в деле народного преуспеяния. Казалось, что ежели уничтожить взятку и населить мир неумытными станowymi приставами, то вдруг потекут реки млека и меда, а к ним на придачу водворится и правда. Так понимало «взятку» тогдашнее общество, так объясняли это слово и составители толковых словарей. Но с тех пор понятия наши значительно расширились, и мы не только не указываем на взяточничество, как на язву, но даже не интересуемся знать, прекратилось оно или существует. Утративши прежние наглые формы, оно вместе с тем утратило и права на наше внимание. Прежние страстные преследования этого гнусного порока утихли или, лучше сказать, заменились иными преследованиями, иных пороков... пороков, порожденных новыми веяниями времени. Словом сказать, вопрос о взяточничестве, некогда столь славный, является в настоящее время до такой степени забытым, что самое напоминание об нем кажется почти ребяческой назойливостью.

Так бывает всегда, когда общественное развитие идет слишком быстро и когда общество, в своем нетерпении, от копеечной взятки прямо переходит к тысячной, десятитысячной и т. д. Филологи, не успевая следить за изменениями, которые вносит жизнь в известные выражения, впадают в невольные ошибки и продолжают звать «взяткой» то, чему уже следует, по всей справедливости, присвоить наименование «куша». Отсюда – путаница понятий. Содержание «взятки» изменилось, границы ее получили совсем другие очертания, притягательные ее силы приобрели особый полет и изумительнейшее, дотоле неслыханное развитие, а составители толковых словарей упорствуют утверждать, что «взятка» есть то самое, что в древности собирал становой пристав в форме кур и яиц и лишь по временам находил, в виде полуимператора, во внутренностях какого-нибудь вонючего распотрошенного трупа. К счастью, однако ж, жизнь не верит этим объяснениям и утверждает прямо, что «взятка» окончательно умерла и на ее место родился «куш».

Но понятно, что «куш» уже совсем другого рода дело и что для разъяснения, в какой мере этот новый экономический деятель препятствует или способствует народному преуспеянию, потребно не мало времени. До сих пор, и то лишь на этих днях, только прусский депутат Ласкер возбудил об этом вопрос, неосторожно назвав «взяткою» двадцатитысячный «куш», полученный неким тайным советником за содействие при выдаче железнодорожной концессии. Разумеется, газетчики обрадовались этому обличению и увидели в нем факт, свидетельствующий о прусской испорченности. Но вот выискивается австрийский журналист, который по поводу этого же самого происшествия совершенно наивно восклицает: «О! если бы нам, австрийцам, Бог послал такую же испорченность, какая существует в Пруссии! как были бы мы счастливы!» Как хотите, а это восклицание

проливает на дело совершенно новый свет, ибо кто же может поручиться, что вслед за австрийским журналистом не выищется журналист турецкий, который пожелает для себя австрийской испорченности, а потом нубийский или коканский журналист, который будет сгорать завистью уже по поводу испорченности турецкой? Очевидно, что разногласия этого не могло бы существовать, если б строгим определением понятия о «куше» была сразу устранена возможность заслонять одну громадную мерзость посредством другой, еще более громадной. Но вот этого-то именно и нет. А покуда не будет достигнуто это устранение, много пройдет времени в спорах, какая степень испорченности желательна, какая терпима и какая, наконец, и не желательна и не терпима.

До тех пор мы будем иметь основание сказать только одно: да; если взятка еще не умерла, то она существует в такой облагороженной форме, что лучше всего делать вид, что не замечаешь ее. Но, кроме того, имеются и высшие соображения, которые не позволяют считать взяточников в числе «злых». Новейшие веянья времени учат все более ценить в человеке не геройство и способность претерпевать лишения, сопряженные с ограниченным казенным содержанием, а покладистость, уживчивость и готовность. Но что же может быть покладистее, уживчее и готовнее хорошего, доброго взяточника? Ради возможности стянуть лишнюю копейку он готов ужиться с какою угодно внутренней политикой, уверовать в какого угодно Бога. Сегодня, напялив мундир, он отправляется в собор поклониться Богу истинному, а завтра – только прикажите! – в том же мундире выйдет на лобное место и будет кричать: распни! распни его!

Ясно, что «новейшие веянья времени» к ним относиться не должны...

Другая категория людей, которая, на основании азбучных определений, заслуживала бы наименования «злых», состоит из тех нервно-расстроенных людей, которые в оглушениях и заушениях ищут успокоения для своей расстроенности. Должны ли они трепетать? Некоторые из нас отвечали на этот вопрос утвердительно, другие говорили прямо: нет, не должны. Но аргументы первых до того страдали риторической амплификацией, что невольно напоминали знаменитое и, как известно, окончившееся полнейшим фиаско выражение «в наше время, когда»... Напротив того, аргументы вторых так плотно стояли на реальной почве, что своею осязаемостью поражали слушателя в самое сердце. «Помилуйте! – говорили последние, – что же такое оглушения и заушения, как не самое яркое выражение новейших веяний времени, как не роскошный плод, в котором они находят свое осуществление!»

И точно, знаменитейшие из наших оглушителей: майор Зуботычин и капитан Рылобейщиков, присутствуя при наших спорах, здоровым и цветущим своим видом выражали не только отсутствие всяких опасений, но и полнейшее доверие к будущему. И при этом оба так простоудушно удостоверили: «Как хотите, а с простым народом без того нельзя-с», что даже несомненные противники системы оглушения – и те становились в тупик, следует ли ставить в вину такие подвиги, которые служат лишь выражением самых заветных и искренних убеждений? Что мог почувствовать при виде их помпадур, который сам являлся вестником «веяний времени»? как мог он поступить относительно их? Очевидно, он должен был призвать к себе Зуботычина и Рылобейщикова и сказать им: «Вы – избранники моего сердца! идите, сейте зубы, сокрушайте челюсти и превращайте вселенную в пустыню! Я с удовольствием буду следить за вашими успехами!»

Ясно, стало быть, что и «дантисты» стоят вне того круга, которому угрожает опасность...

Третья категория «злых» – шалопаи и разного рода «шлющиеся» люди. Но относительно их современные воззрения до того уже выяснились, что мы сами тотчас же поняли неуместность этой категории. Когда Петр Великий бил «шлющихся людей» палкой и приказывал брить им лбы и записывать на службу – это было понятно. Для преобразования России нужно было, чтоб шалопаи были на глазах, чтоб они не гадили втихомолку, а делали это, буде хватит смелости, в виду всей публики. Но впоследствии мы приобрели так много всякого рода свобод, что между ними совершенно незаметно проскользнула и свобода

шалопайствовать. Шалопайи проникли всюду, появились на всех ступенях общества и постепенно образовали такое компактное ядро, что, за неимением другого, более доброкачественного, многие усомнились, не тут ли именно и находится та несокрушимая крепость, из которой новые веяния времени могут производить смелейшие набеги свои? В какой степени основательно или неосновательно такое предположение – это предстоит разрешить времени; но до тех пор, пока разрешения не последовало, ясно, что «шлюющиеся люди», равно как взяточники и дантисты, должны стоять вне всяких угроз.

Оставалась, стало быть, четвертая и последняя категория «злых», категория людей «политически неблагонадежных». Но едва мы приступили к определению признаков этой категории, как с нами вдруг ни с того ни с сего приключился озноб. Озноб этот еще более усилился, когда мы встретились с прикованными к нам взорами наших консерваторов. Эти взоры дышали злорадством и иронией и сопровождались улыбками самого загадочного свойства...

Боже! ужели же мы, всегда считавшие себя «добрыми», мы, носители идеалов о начетах не свыше 1 р. 43 к., мы, преданное среднему делу меньшинство, мы, «граждане», – ужели именно мы-то и обязываемся «трепетать»?!

Да! Это жестоко, но это так! Это можно было угадать уже по тому конфузу, который овладел самими нами, как только произнесены были слова: политическая неблагонадежность. Скажу по секрету, мы уже давно очень хорошо поняли, что речь пойдет не о ком другом, а именно об нас, и лишь по малодушию скрывали это не только от других, но и от самих себя. Все как-то думалось, не совершится ли чудо, не сознаются ли консерваторы, что к ним всего больше подходит та кличка политически неблагонадежных людей, которую так удачно создало веяние времени? Не снимут ли они на себя тяготеющий на нас оговор? Но консерваторы не сознавались, а потому пришлось сознаваться нам самим.

Каким образом случилось, что мы хоть косвенно, но сами признавали себя в числе тех, против которых веяние времени должно было прежде всего направить свои стрелы, – объяснить это довольно легко. В последнее время наш клуб был ареною таких непрерывных и раздражительных междоусобий, что мы, носители идеала о начетах не свыше 1 р. 43 к., лишь благодаря благосклонному содействию старого помпадура одерживали в них слабый верх. Но даже и при существовании этого могущественного прикрытия мы никогда не могли предотвратить, чтобы наши политические противники не напоминали нам, с едва скрываемою дерзостью, кто мы и из каких мы принципов выходим. Повторяю: принципы эти были очень просты и заключались в том, чтобы взятки не брать, к рылобитию не прибегать и с самоотвержением корпеть над рапортами и ведомостями. Но консерваторам и это казалось ужасным. Что бы мы ни предпринимали, какое бы суждение ни высказывали, мы совершенно явственно слышали, как тут же, обок с нами, раздавался ехиднейший шепот, который произносил: красные! Это восклицание преследовало нас всюду: в клубе, на улице, в присутственном месте. Да, и в присутственном месте, потому что даже просьбы на гербовой бумаге, которые приходилось нам разбирать, – и те были насквозь пропитаны ядом этого выражения. Вот почему это слово не было для нас новостью и вот почему, как только оно было произнесено, мы тотчас же поняли, что «красные» – это мы. Прежде мы могли относиться к этой кличке равнодушно и даже шутливо; но теперь, когда мы признавали себя предоставленными лишь собственным силам, – она предстала перед нами во всей наготы. Могли ли мы применить ее к кому бы то ни было, кроме самих себя? Могли ли мы утверждать, что нам и на ум никогда не приходило называть себя «красными», а тем менее быть оными? Увы! улики были налицо, улики страшные, подавляющие! Такие улики, что начет в 1 р. 43 к. сразу выступил в виде холодных капель пота на лбу у управляющего контрольной палатой, как только он вспомнил об нем!

Это была неправда, это была вопиющая клевета. Но тем не менее, как ни обдумывали мы свое положение, никакого другого выхода не находили, кроме одного: да, мы, именно мы одни обязываемся «трепетать»! Мы «злые», лишь по недоразумению восхитившие наименование «добрых». Мы волки в овечьей шкуре. Мы – «красные». На нас прежде всего

должно обрушиться веяние времени, а затем, быть может, задеть на ходу и других...

Уныние овладело нами. Одни из нас дребезжающим голосом разучивали «Гром победы раздавайся», другие выстаивали по целым часам, делая рукою под козырек. Некоторые замыслили измену дорогим убеждениям...

Но все средства оказались непрактичными и нецелесообразными. Не то следует доказать, умеешь ли ты делать под козырек, а то, возведено ли в тебе это делание на степень врожденной идеи. Не о том речь, твердо ли ты заучил романс «Гром победы раздавайся», а о том, составляет ли он операционный базис твоих мыслей и действий. Измена же хотя и казалась наиболее практическим выходом, но ведь и ее прежде надобно доказать или, по малой мере, доложить об ней, а это тоже почти невозможно, потому что «веяния времени» обращают человека в пепел прежде, нежели он успеет разинуть рот...

Одним словом, оставалось только ждать.

В этом ожидании прошло несколько томительных недель, в продолжение которых только один вопрос представлялся нам с полною ясностью:

За что?!

Мы ничего не имели в мыслях, кроме интересов казны; мы ничего не желали, кроме благополучного разрешения благих начинаний; мы трудились, усердствовали, лезли из кожи и в свободное от усердия время мечтали: о! если бы и волки были сыты, и овцы целы!.. Словом сказать, мы день и ночь хлопотали о насаждении древа гражданственности. И вот теперь нам говорят: вы должны претерпеть!

За что?!

Да пересмотрите же наши ведомости! Загляните в наши предписания, донесения, журнальные постановления! Сличите, какой сумбур царствовал до нас и как решительно двинули мы вперед многосложное и трудное дело сличения ведомостей, проверки кассовых журналов, бухгалтерских книг, и проч. и проч.?

Ответ: быть может, это все так, но вы *должны* претерпеть.

Примите по крайней мере во внимание, что ежели мы и провинились, то без заранее обдуманного намерения, по рассеянности, недоразумению, неопытности, глупости и т. д.

Вы должны претерпеть!

За что?!

Наконец ОН приехал...

По внешнему виду, в нем не было ничего ужасного, но внутри его скрывалась молния.

Как только он почуял, что перед ним стоят люди, которые хотя и затаили дыхание, но все-таки дышат, – так тотчас же вознегодовал.

Но он был логичен. Он не вошел даже в разбирательство, кто перед ним: консерваторы или либералы.

И вот он раскрыл рот. Едва он сделал это, как молния, в нем скрывавшаяся, мгновенно вылетела и, не тронув нас, прямо зажгла древо гражданственности, которое было насаждено в душах наших...

Случайность эта спасла нас. При кликах всеобщей суматохи, он дал каждому из нас по несколько щипков и затем всецело предался внутреннему ликованию.

Но по мере того, как он щипал нас, мы чувствовали, как догорает наше милое, дорогое древо гражданственности.

– О древо! – уныло восклицали мы, – с какими усилиями мы возрастили тебя и, возрадив, с каким торжеством публиковали о том всему миру! И что ж! пришел некто – и в одну минуту испепелил все наши насаждения!

Мы уцелели – но уже без древа гражданственности. Мы не собираемся вокруг него и не щебечем. Мы не знаем даже, надолго ли «он» оставил нам жизнь... Но, соображаясь с веяниями времени, твердо уповаем, что жизнь возможна для нас лишь под одним условием: под условием, что мы обязываемся ежемгновенно и неукоснительно трепетать...

Помпадур борьбы, или Проказы будущего

Я с детских лет знаю Феденьку Кротикова. В школе это был отличный товарищ, готовый и в форточку покурить, и прокатиться в воскресенье на лихаче, и кутнуть где-нибудь в задних комнатах рестораника. По выходе из школы, продолжая оставаться отличным товарищем, он в каких-нибудь три-четыре года напил и наел у Дюссо на десять тысяч рублей и задолжал несколько тысяч за ложу на Минерашках, из которой имел удовольствие аплодировать m-lle Blanche Gandon. Это заставило его взглянуть на свое положение серьезнее. Роль доброго товарища обходилась слишком дорого; надо было остепениться и избрать карьеру. И вот, не прошло четырех лет – слышим, что он, прямо из-под ферулы Дюссо, вдруг выказал необыкновенный административный блеск. Еще немного – и Феденька был уже помпадуром в городе Навозном...

Каким образом все это случилось – никто не мог дать себе отчета. Все видели, что Феденька сидит у Дюссо, но никто не подозревал, что он сидит неспроста, а изучает дух времени. У Дюссо же, кстати, собираются наезжие помпадуры и за бутылкой доброго вина развивают виды и предположения, какие кому Бог на душу пошлет, а следовательно, для молодых кандидатов в администраторы лучшей школы не может быть. И Феденька воспользовался ею вполне, то есть прислушивался и смекал. И вот, когда он понял, что для современного администратора ничего больше не требуется, кроме свободных манер, то тотчас же сообразил, что и он в этом отношении не лыком шит. Проникнув в известные сферы, из которых, как из некоего водохранилища, изливается на Россию многоводная река помпадурства, Феденька, не откладывая дела в долгий ящик, сболтнул хлесткую фразу, вроде того, что Россию губит излишняя централизация, что необходимо децентрализовать, то есть эмансипировать помпадуров, усилив их власть; что высшая администрация слишком погружена в подробности и мелочи; что мелочи отвлекают ее от главных задач, то есть от внутренней политики и т. д. Одним словом, высказал все, что говорится у Дюссо за стаканом доброго вина наезжими и жаждущими эмансипироваться помпадурами. Сболтнул – и понравился; понравился – и был признан способным уловлять вселенную...

Я первый порадовался возвышению Феденьки. Во-первых, я знал, что у него доброе сердце, а, по моему мнению, в помпадуре это главное. Если помпадур настолько простодушен, что ничем другим, кроме внутренней политики, заниматься не может, и если при этом он еще зол, то очевидно, что он не сумеет дать другого употребления своему досугу, кроме угнетения обывателя. Злая праздность подозрительна и ревнива. Лишенная знания и тех ограничений, которые оно приносит с собой, она заменяет его простым нахальством, и потому всюду вмешивается, во всем сознает себя компетентною, всем мешает, везде видит посягательство, покушение, оскорбление. Она с утра до вечера хлопает глазами и все ищет, как бы кого истребить, скрутить, согнуть в бараний рог. Клянусь, ничего тут хорошего нет. Напротив того, праздность невежественная, но соединенная с добродушием, не только не вредит, но даже представляет некоторые выгоды. Добрый помпадур застенчив; он никому не мешает и даже избегает лишних объяснений, потому что боится сболтнуть что-нибудь несообразное и выказать несостоятельность. Сознывая себя осужденным исключительно на внутреннюю политику, он все значение последней полагает в том, чтобы не препятствовать другим. Он посещает клуб – и всех призывает к согласию. Он ездит на пироги, обеды и ужины – и всем желает благополучия. Хороши добрые, невежественные помпадуры! При них обыватель с доверием смотрит в глаза завтрашнему дню, зная, что он встретит его в своей постели, а не на съезжей и что никто не перевернет вверх дном его существования по обвинению в недостаточной теплоте чувств. И вот этого именно, этой незлобивой невежественности, соединенной с доброжелательным отношением к обывателю, ждал я и от Феденьки.

Во-вторых, мне было известно, что Феденька имеет и другое драгоценное качество, – что он либерал. Это было время либерализма почти повального, то время, когда вдруг всем сделалось тошно и душно. Феденька отлично выразил это чувство в особенной докладной

записке, представленной им по этому случаю. «Воспрещение курить на улицах, – писал он в этой записке, – ограничения относительно покроя одежды, в особенности же истинно-диоклетиановские гонения противу лиц, носящих бороды и длинные волосы, – все это, вместе взятое, не могло не оказать пагубного воздействия на общественную самостоятельность. Чувствуя себя на каждом шагу под угрозой мероприятий, большую частью направленных противу невиннейших поползновений человеческого естества, общество утратило веру в свои творческие силы и поникло под игом постыдного равнодушия к собственным интересам. Посему, и в видах поднятия народного духа, я полагал бы необходимым всенародно объявить: 1) что занятие курением табака свободно везде, за нижеследующими исключениями (следовало 81 п. исключений); 2) что выбор покроя одежды предоставляется личному усмотрению каждого, с таковым, однако ж, изъятием, что появление на улицах и в публичных местах в обнаженном виде по-прежнему остается недозволительным, и 3) что преследование за ношение бороды и длинных волос прекращается, а все начатые по сему предмету дела предаются забвению, за исключением лишь нижеследующих случаев (поименовано 33 исключения)». Как хотите, а человек, начинавший свой административный бег с такими смелыми задатками, не мог не заслуживать некоторого доверия. Притом же, излагая столь ясно свои либеральные убеждения, он ведь и рисковал. Он ставил на карту все свое административное будущее, ибо ежели смелость его могла понравиться, то она же могла и не понравиться и, следовательно, наделать ему хлопот. Мало того: он мог прослыть опасным мечтателем. К счастью, он попал в такую минуту, когда смелые начинания нравились...

Как бы то ни было, но Феденька достиг предмета своих вождлений. Напутствуемый всевозможными пожеланиями, он отправился в Навозный край, я же остался у Дюссо. С тех пор мы виделись редко, урывками, во время наездов его в Петербург. И я с сожалением должен сознаться, что мои надежды на его добросердечие и либерализм очень скоро разрушились.

Первое время административных подвигов Феденьки было лучшим его временем. Это было время либерализма безусловного, которому не только не служило помехой отсутствие мудрости, но, напротив того, сообщало какой-то ликующий характер. Феденька рвался вперед, нимало не думая о том, какие последствия будет иметь его рвение. Он писал циркуляры о необходимости заведения фабрик, о возможности, при добром желании, населить и оплодотворить пустыни, о пользе развития путей сообщения, промыслов, судоходства, торговли, и изъявлял надежду, что земледелие, споспешествуемое, с одной стороны, садоводством, а с другой, разведением улучшенных пород скота, принесет желаемые плоды и, таким образом, оправдает возлагаемые на него надежды. Он призывал к себе для совещания купцов и доказывал им неотложность учреждения кожевенных и мыловаренных заводов, причем говорил: прошу вас, господа, а в случае надобности, даже требую. Он приглашал дворян и говорил, что дворянское сословие всегда было опорой, а потому и теперь должно первое подать пример. В ожидании же результатов этой судорожной деятельности, он делал внезапные вылазки на пожарный двор, осматривал лавки, в которых продавались съестные припасы, требовал исправного содержания мостовых, пробовал похлебку, изготовляемую в тюремном замке для арестантов, прекращал чуму, холеру, оспу и сибирскую язву, собирал деньги на учреждение детского приюта, городского театра и публичной библиотеки, предупреждал и пресекал бунты и в особенности выказывал страстные порывы при взыскании недоимок.

Но увы! из всех этих либеральных затей Феденька достиг относительного успеха лишь по части пресечения бунтов и взыскания недоимок. Ко всем прочим его запросам общество отнеслось тупо, почти безучастно. Фабрики не учреждались, холера не прекращалась, судоходство не развивалось, купцы продолжали коснеть в невежестве, а земледелие, споспешествуемое сибирскою язвою, давало в результате более лебеды, нежели истинного хлеба. Это тем более озадачило Феденьку, что он, как вообще все администраторы, кончившие курс наук в ресторане Дюссо, не имел надлежащей выдержки и был скорее

способен являть сердечную пылкость, нежели упорство в преследовании административных целей.

Тогда наступил второй период кротиковского либерализма, либерализма меланхолического, жалующегося, укоряющего. Хотя Феденька еще не пришел к отрицанию самого либерализма, но он уже разочаровался в *либералах* и довольно громко выражал это разочарование.

– Любезный друг! – говорил он мне в один из своих приездов в Петербург, – я просил бы тебя ясно представить себе мое положение. Я приезжаю в Навозный и вижу, что торговля у меня в застое, что ремесленность упала до того, что а la lettre⁸¹ некому пришить пуговицу к сюртуку, что земледелие, эта опора нашего отечества, не приносит ничего, кроме лебеды... J'espère que c'est assez navrant, ça? hein! qu'en diras-tu?

– Mais oui... le tableau n'est pas de plus agréables...⁸²

– Eh bien, я вижу все это – и, разумеется, принимаю меры. Я пишу, предлагаю, настаиваю – и что ж? Хоть бы одна каналья откликнулась на мой голос! Ничего, кроме какого-то подлого сопения, которое раздается изо всех углов! Вот они! вот эти либералы, на которых мы возлагали столько надежд! Вот тот либеральный дух, который, по отзывам газет, «охватил всю Россию!» Черта с два! Охватил!!

Тем не менее Феденька не сразу уныл духом; напротив того, он сделал над собой новое либеральное усилие и по всем полициям разослал жалостный циркуляр, в котором подробно изложил свои огорчения и разочарования.

«Неоднократно замечено было мною, – писал он в этом циркуляре, – что в нашем обществе совершенно отсутствует тот дух инициативы, с помощью которого великие народы совершают великие дела. Не раз указывал я, что путей сообщения у нас, можно сказать, не существует, что судоходство наше представляет зрелище в высшей степени прискорбное для сердца всякого истинного патриота, что в торговле главным двигателем является не благородная и вполне согласная с предписаниями политико-экономической науки потребность быть посредником между потребителем и производителем, а гнусное желание наживы, что земледелие, этот главный источник благосостояния стран, именующих себя земледельческими, не радует земледельца, а землевладельцу даже приносит чувствительное огорчение. Указывая на все вышеизложенное, я питал надежду, что голос мой будет услышан и что здоровые силы страны воспрянут от многолетнего безмятежного сна, дабы воспользоваться плодами оного. Скажу более: я был уверен, что отечество наше, искони превосходя государства Западной Европы беспрекословным исполнением начальственных предписаний и непреодолимым благочестием, станет наряду с ними и с точки зрения промышленности и полезных изобретений. И тогда, думалось мне, то есть если б все сие осуществилось, не имели ли бы мы полное основание воскликнуть: с нами Бог – кто же на ны?!

Но, к великому и душевному моему огорчению, я усматриваю, что наше общество продолжает коснеть все в том же бездействии, в каком я застал его и в первое время по приезде моем в Навозный край. А именно: путей сообщения не существует, судоходство в упадке, торговля преследует цели низкие и неблагородные, а при взгляде на земледелие единственная мысль, которая приходит в голову, есть следующая: все труждаются зиждущие! К сему, с течением времени, присоединились: процветание кабаков и необыкновенный успех сибирской язвы. Спрашивается: при всем предыдущем и при деятельном пособничестве последующего, какое имеем мы основание восклицать: кто же на ны?!

⁸¹ Буквально (*фр.*) .

⁸² Надеюсь, это достаточно печально, а? что ты на это скажешь? – Ну, конечно... картина не из приятных... (*фр.*)

Уже умственному моему взору без труда представляется удручающая сердце картина будущего. Край пустынен; полезные и кроткие породы птиц и зверей уничтожились, а вместо оных господствуют породы хищные и бесполезные; благочестие упразднилось, а вместо оногo царствуют пьянство и разврат! Какое сердце патриота не содрогнется при виде столь ужасного зрелища, даже если бы оно было лишь плодом моей предусмотрительной фантазии?!

А между тем из архивных дел достоверно усматривается, что некогда наш край процветал. Он изобиловал туками (как это явствует из самого названия «Навозный»), туки же, в свою очередь, способствовали произрастанию разнородных злаков. А от сего процветало сельское хозяйство. Помещики наперерыв стремились приобретать здесь имения, не пугаясь отдаленностью края, но думая открыть и действительно открывая золотое дно. Теперь – нет ни туков, ни злаков, ни золотого дна. Какая же причина такого прискорбного оскудения?

Я знаю, что упразднение крепостного права многие надежды оставило без осуществления, а прочие и совсем прекратило; я, вместе с другими, оплакиваю сей факт, но и за всем тем спрашиваю себя: имеется ли законное основание, дабы впадать, по случаю оногo, в уныние или малодушие?

Тем не менее я не вхожу в подробное рассмотрение этого вопроса, ибо рассмотрение привело бы меня к расследованию, которое, в свою очередь, повлекло бы за собою полемику, которой, в моем положении, я всячески должен избегать. Ограничиваюсь лишь следующим кратким замечанием. Помещики, под влиянием досады, возбужденной в них упразднением крепостного права, бросились вырубать принадлежащие им леса и продавать оные за бесценок. К сожалению, ощутительной выгоды от сего они не получили никакой, а стране между тем причинили несомненный ущерб. С истреблением лесов надолго, если не навсегда, утвердилось господство иссушающих ветров, которые, не встречая преград в своем веянии, повсюду производят пагубнейшее действие. Обмеление рек уже возымело начало, а в близком будущем предвидится и недостаток влажности в воздухе. Поля угрожают хроническим бесплодием, а человеческие легкие будут лишены возможности вдыхать животворную влажность воздуха. В каком же положении, среди всего сего, нахожусь я, на которого доверие начальства возложило заботы по обеспечению народного продовольствия, равно как и по охранению народного здравия?!

Ввиду всего вышеизложенного, я вновь и в последний раз предлагаю принять решительные меры (не прибегая, однако ж, до времени, к экзекуциям) к поднятию общественного духа и возбуждению в оном наклонности к деяниям смелым и великим. С этою целью имеете вы непрестанно увещевать купцов, разночинцев и мещан; помещикам же и прочим благородным людям кротко, но убедительно доказывать, что временные лишения должны быть переносимы безропотно, с надеждой на милость Божию в будущем. Всем же вообще внушать за достоверное, что я, с своей стороны, готов везде и во всякое время оказывать деятельнейшее содействие всякому благому начинанию.

Об успехе ваших увещаний, внушений и собеседований обязываетесь вы сообщать мне через каждые две недели всенепременно и неупустительно».

Один экземпляр этого циркуляра Феденька прислал мне при письме, в котором говорил: «Ты видишь, душа моя, что я еще бодрюсь; но если и за сим наше судоходство останется в прежнем жалком положении, тогда – *ma foi!*⁸³ – я не остановлюсь даже перед экзекуцией». На что я с первой же почтой ответил: «Мы все удивляемся экспрессии твоего циркуляра: это своего рода *chef d'oeuvre*.⁸⁴ Ах! если б ты жил во времена Великой французской революции! Теория, отыскивающая в помещичьей мстительности причину

⁸³ Честное слово! (*фр.*)

⁸⁴ Шедевр (*фр.*) .

происхождения ветров и обмеления рек, смела и нова. Но не слишком ли, однако ж, смела? Подумал ли ты об этом, мой друг? Смотри, чтобы не было запроста!»

Увы! это был последний пароксизм Феденькина либерализма. Вскоре после этого я на долгое время уехал за границу и совершенно потерял Феденьку из виду. Затем, по возвращении в Петербург, встретившись с одним приезжим из Навозного (то был Рудин, которого Феденька взял к себе в чиновники для особых поручений, несмотря на его крайний образ мыслей), я услышал от него следующую краткую, но выразительную аттестацию о Кротикове: «порет дичь». Это вдвойне меня огорчило: во-первых, потому, что я искренно любил Феденьку и мне всегда казалось, что он может сделать свою карьеру только на либеральной почве, а во-вторых, и потому, что меня в это время уже сильно начали смущать будущие судьбы русского либерализма. Одновременно с Кротиковым, стезю свободомыслия покинули: Иван Хлестаков, Иван Тряпичкин и Кузьма Прутков. Все это было тем более горько, что и до этого времени наш либерализм существовал лишь благодаря благосклонному попустительству некоторых просвещенных лиц.

И вот теперь – еще одним просвещенным попустителем меньше!

Под влиянием этого горького чувства я не выдержал и написал к Кротикову письмо, исполненное укоризн. А через два месяца получил следующий сухой ответ:

«Извини, что не скоро ответил, да и теперь пишу лишь несколько строк: в моем положении, право, не до переписки с бывшими товарищами и друзьями. На вопросы твои, впрочем, считаю долгом объяснить, что, кроме либеральных идей, о которых ты так много и красноречиво написал, есть еще идеи консервативные, о которых ты вовсе умалчиваешь. Вот что ты упустил из вида и что я нелишним считаю тебе напомнить. Каким образом я пришел к убеждению, что либеральные идеи скрывают в себе пагубное заблуждение – здесь объяснять не место. Надеюсь, однако ж, что ты без труда поймешь, что в моем положении заблуждаться не только неприлично, но и непозволительно. Из всех зол, которые до сих пор известны, нет зла более ужасного, как заблуждающийся помпадур, ибо с его заблуждением неизменно связывается заблуждение целого края. Я думаю, это довольно ясно и прибавлять к этому нечего. Затем, моля подателя всех благ, дабы он просветил тебя, остаюсь не разделяющий твоих заблуждений, но все еще любящий тебя *Феодор Кротиков*».

Однако я не только не вразумился этим наставлением, но, возгорев вящею ревностью по либерализму, попытался вразумить самого Феденьку.

«Феденька! – писал я ему, – когда ты был либералом, как резюмировалась твоя политическая программа? – Она резюмировалась следующим образом: учреждение фабрик и заводов, устройство путей сообщения, развитие торговли, процветание земледелия, неустанная разработка недр земли, устность, гласность и т. д. Теперь, когда ты сделался консерватором, какая возможна для тебя программа? – Очевидно, следующая: отсутствие фабрик и заводов, расстройство путей сообщения, застой в торговле, упадок земледелия, господство иссушающих ветров, обмеление рек и т. д. Ибо ты желаешь сохранить то, что есть, а есть именно то, что сейчас мною исчислено. Или, быть может, ты надеешься на кабаки и сибирскую язву? Но, в таком случае, выразишь прямо. Вместо прежних блестящих циркуляров издай новый, в котором категорически объяви, что впредь воспрещается какое бы то ни было развитие, кроме развития сибирской язвы».

Ответа на это письмо не последовало.

После того я имел о Кротикове лишь смутные сведения. Я слышал, что первым поводом к отречению его от либерализма было появление гласных судов и земских управ. Это навело его на мысль, что существуют какие-то корни и нити, которые надобно разыскать и истребить, ибо, в противном случае, ему, Кротикову, не будет житья. Затем наступили известные события в Западной Европе: интернационалка, франко-прусская война, Парижская коммуна и т. д., и все это сильно заботило его, потому что он видел в этих событиях связь с новыми судами и земскими учреждениями. Он внимательно следил за газетами, предполагая, сообразно с тем или другим исходом событий, дать и своей внутренней политике более решительное направление. В ожидании же того, какие идеи восторжествуют, здравые или

так называемые сюбверсивные,⁸⁵ он волновался и угрожал.

– Если восторжествуют здоровые идеи, – говорил он, – я, конечно, буду очень рад. Да-с, очень рад-с. Но, признаюсь откровенно, с политической точки зрения, я был бы недоволен, если б восторжествовала и революция... разумеется, временно... По крайней мере мы, без всякой опасности для себя, могли бы узнать, кто наши внутренние враги, кто эти сочувствователи, которые поднимают голову при всяком успехе превратных идей, как велика их сила и до чего может дойти их дерзость. Et alors, messieurs...⁸⁶

Феденька умолкал и загадочно грозился в ту сторону, где помещались земская управа, окружной суд и акцизное управление.

Но здоровые идеи восторжествовали; Франция подписала унижительный мир, а затем пала и Парижская коммуна. Феденька, который с минуты на минуту ждал взрыва, как-то опешил. Ни земская управа, ни окружной суд даже не шевельнулись. Это до того сконфузило его, что он бродил по улицам и придирался ко всякому встречному, испытывая, обладает ли он надлежащею теплотою чувств. Однако чувства были у всех не только в исправности, но, по-видимому, последние события даже поддали им жару...

Феденька недоумевал. Он был убежден, что тут есть какая-то интрига, но в чем она состоит – объяснить себе не умел. Бедный! Он, видимо, следовал старой рутине и все искал каких-то фактов, которые дали бы ему повод объявить поход. Он не подозревал, что система фактов есть система устаревшая, что нарождается и даже народилась совершенно иная система, которая позволяет без всякого повода, без малейшего факта бить тревогу и ходить войною вдоль и поперек, приводя в трепет оторопелых обывателей...

И вот, как бы для того, чтоб вывести его из недоразумения, в газетах появилось известие, что в версальском национальном собрании образовалась партия, которая на развалинах любезного отечества водрузила знамя «борьбы»...

Слово это было для Феденьки целым откровением. Да, это оно, это то самое слово, до которого он столько лет так тщетно додумывался. Все, что бессвязно копошилось в нем с той самой минуты, когда он внезапно объявил себя консерватором, все, к чему он порывался и к обретению чего делал тщетные попытки, – все нашло для себя осуществление в слове «борьба». Не то чтобы он понял смысл этого слова, но он достиг результата еще более существенного: он понял, что ему нет надобности что-нибудь понимать. До сих пор он отыскивал корни и нити; теперь он убедился, что ни в чем подобном нет надобности и что на будущее время он окончательно освобожден от труда что-нибудь отыскивать.

Это было очень удобно, ибо давало возможность объявить поход, не уяснив себе даже цели его. Отсутствие ясно сознанный цели – вот ахиллесова пята всех администраторов, получавших воспитание у Дюссо и в заведении искусственных минеральных вод. И Феденька почувствовал себя как-то необыкновенно легко и свободно, когда убедился, что ему не нужно ни фактов, ни целей, а нужен только «дух», «направление», «превратные толкования» – и ничего больше. Что означают эти слова – это до него не касается; он рад уже и тому, что есть такие слова, которые хоть и черт знает что означают, но дают исходную точку для борьбы. Борьба, сама себе дающая начало, сама себя питающая и сама себя имеющая пожрать (Феденька, впрочем, не рассчитывал на эту последнюю особенность), борьба против привидений прошлого, настоящего и будущего, борьба необъяснимая в своих источниках и неуловимая в своих последствиях – вот программа, которую предстояло ему разработывать в будущем. Она страдает отсутствием содержания, но зато легче ее ничего нельзя вообразить. Не нужно ни ума, ни изобретательности, ни предусмотрительности; нужен только темперамент да еще кой-какой внешний церемониал, который помог бы

⁸⁵ Разрушительные (от фр. subversit). – Примеч. ред.

⁸⁶ И тогда, господа... (фр.)

скрыть бессодержательность системы и отсутствие целей.

Темпераментом Феденька обладал в избытке; но хотя этого одного было вполне достаточно для совершения великого дела борьбы, однако он почему-то решил, что нужно прибавить кой-что и еще. Задача, предстоявшая ему, была слишком нова, чтоб приступить к ней сплеча, подобно тому как приступали к разрешению *своих* задач его предшественники-помпадурсы. Все бывшие до него помпадурства заимствовали свои определения от которого-нибудь из семи смертных грехов; его же помпадурство должно быть исключительно помпадурством борьбы. «Да-с, это не то, что брать хапанцы или бить по зубам-с; эта штучка будет пограндиознее-с», – хвастался Феденька и, весь исполненный жажды славных дел, решился прежде всего поразить воображение обывателей Навозного.

Церемониал, который придумал по этому случаю Феденька, был очень сложен. Он перебрал в своей памяти весь курс истории Смараглова, весь репертуар театра Буфф и все газетные известия о чудесах в решетке, происходящих в современной Франции. Образовалось нечто волшебное. Крестовые походы, Иоанна д'Арк, храбрый рыцарь Дюнуа, лурдские богомолья, отречение от сатаны в Парэ-ле-Мониале – все нашло себе место в этом громадном плане. Ввиду предстоящего нравственного возрождения Навозного, он не щадил ничего. Пусть завистники утверждают, что его план «борьбы» напоминает оперетту Лекока «Le beau chevalier Dunois»⁸⁷ и не имеет никакого отношения к Навозному; он знает, что в Навозном уже давно прорываются факты, свидетельствующие, что яд, погубивший Францию, проник и туда и что, следовательно, именно теперь план его как нельзя более уместен и своевременен. Не дальше как вчера председатель земской управы в клубе публично рассуждал о какой-то независимости и утверждал, что он сам по себе, а Феденька сам по себе. Вот факт. Скажут, что в этом факте еще нет настоящих корней и нитей – допустим, что это и так! Нет корней и нитей, но есть яд! «Понимаете ли: яд-с!» И надо этот яд истребить. «Да-с».

Душою задуманного заговора будет, конечно, он сам. Он – рыцарь без страха и упрека; он – Баяр из истории Смараглова и Дюнуа из театра Буфф. Пособниками у него будут: правитель канцелярии, два чиновника особых поручений, отрекшиеся от либерализма, и все частные пристава. Для большего эффекта можно будет еще прихватить Ноздрева, Тараса Скотинина и Держиморду. Ассистенты: предводитель и командир гарнизонного батальона. По окончании похода городской голова, в мундире, поднесет ему хлеб-соль. А дабы сообщить предстоящему походу вполне волшебный характер и вместе с тем обеспечить его успех, предстояло еще отыскать что-нибудь вроде Иоанны д'Арк (без нее немисливо чудесное возрождение Навозного), очистить администрацию от плевел и торжественно отречься от сатаны и всех дел его. Тогда «борьба» пойдет как по маслу.

Иоанну д'Арк он имел уже в виду. То была девица Анна Григорьевна Волшебнова, дочь начальника одной из местных команд, с которою Феденька находился в открытой любовной связи, но которая, и за всем тем, упорно продолжала именовать себя девицею.

Положение m-lle Волшебновой было очень фальшивое. Феденька увлек ее обещанием жениться, но впоследствии не только забыл о своих клятвах, но даже прямо объявил, что звание помпадурши и само по себе достаточно почтенно. Вероломство Кротикова не обошлось, однако ж, без скандала, ибо штабс-капитан Волшебнов счел долгом протестовать. Чтоб усмирить его, Феденька был вынужден утвердить какие-то неслыханные цены на провиант и фураж и только этим актом великодушия достиг того, что оскорбленный отец явился к нему с повинною и объявил, что отныне и навсегда все недоразумения между ними покончены.

Обзаведясь помпадуршей, Феденька предназначал ей очень блестящую роль. Он желал, чтоб она блистала на балах и имела салон, который служил бы средоточием внутренней политики и в котором она царила бы, окруженная толпою почтительных поклонников и

⁸⁷ «Прекрасный рыцарь Дюнуа» (фр.) .

плняя всех остроумием, любезностью и грацией. Но Анна Григорьевна была простая и робкая девушка, которая очень серьезно привязалась к своему помпадуру и, в то же время, никак не могла освоиться с таким положением, в котором было слишком много блеска. При всей ее миловидности и грации, ей было далеко до настоящей, заправской помпадурши. Природа не дала ей ни величественного роста, ни роскошного бюста, перед которым бы в умилении останавливался прохожий. Не блистала она и нарядами и как-то наивно краснела, когда навозные Севинье и Рекамье заводили при ней разговор на тему о мужчине и его свойствах. Самое возвышение ее произошло совершенно неожиданно, так что предводительши и советницы, с нетерпением ждавшие, на ком остановится Феденькин выбор, были изумлены и сконфужены таким странным исходом дела.

Феденька очень хорошо видел недостатки Анны Григорьевны и душою скорбел о них. Но некоторое время он все еще не терял надежды и почти насильно навязывал ей политическую роль.

– Vous devez être a la hauteur de votre position, ma chère!⁸⁸ – непрерывно твердил он ей и, чтоб не слышать никаких отговорок, выписал для нее на свой счет несколько дорогих нарядов от Минангуа из Москвы.

Но как ни была она малоопытна, однако ж поняла, что два-три хороших наряда (Феденька не был в состоянии дать больше) в таком обществе, где проматывались тысячи и десятки тысяч, с единственной целью быть как можно более декольте – все равно что капля в море. В угоду ему она сделала, однако ж, несколько попыток, но – Боже! – сколько изобретательности нужно ей было иметь, чтоб тут пришить новый бант, там переменить тюник – и все для того, чтоб отвести глаза публике и убедить, что она является в общество не в «мундире», как какая-нибудь ассессорша, а всегда в новом и свежем наряде! И как бесплодны были эти усилия! Как быстро разлетались они перед пронизательностью этих дам, с первого же взгляда, без ошибки угадывавших однажды виденное платье, под какими бы сложными комбинациями оно ни являлось на сцену во второй раз!

Ей было почти страшно, когда она в первый раз шла с предводителем во второй паре в польском (в первой паре шел он с предводительшей). Она видела, что кругом дебелие дамы шушукаются, что ей дают место с какой-то нахальной торжественностью, что сам предводитель, ведя ее за руку, чуть не напрямки высказывает, что он никогда не снизошел бы до дочери штабс-капитана Волшебнова, если б не требования внутренней политики. Но вот польский кончился; не успела она занять свое место, как музыка заиграла вальс; к ней подлетает приехавший в отпуск гусар и с утонченной любезностью, в которой она, однако ж, угадывает худо скрываемую развязность, приглашает ее на тур. Затем, точно в сновидении, одни за другими следуют: кадрили, полька, опять кадрили, опять вальс и, наконец, мазурка. И все время, с упорством, достойным лучшего дела, следит за нею Феденька и как-то невыразимо страдает, когда она, с добросовестностью недавней институтки, выделяет шассе-круазе.

– Ma chère! vous êtes par trop La Valliere!⁸⁹ – шепчет он, подходя к ней в один из танцевальных промежутков, – я желал бы, чтоб вы взяли себе за образец madame de Maintenon!

И вот, опять-таки в угоду ему, она решается сказать несколько слов об усилении власти и о том, что на помпадурах должен лежать лишь высший надзор, а не подробности; но она делает это так нерешительно и с таким множеством оговорок, что Феденька чувствует свою власть не только не усиленную этим наивным вмешательством, но даже значительно умаленную.

К счастью, все эти промахи имели место в самый разгар Феденькина либерализма и

⁸⁸ Вы должны быть на высоте своего положения, дорогая! (фр.)

⁸⁹ Дорогая! вы слишком похожи на Ла Вальер! (фр.)

потому сошли Анне Григорьевне с рук довольно легко. Испытав неудачу в своих предположениях относительно блестящего салона, в котором он мог бы, с полной искренностью, развивать свои виды и предположения, Феденька дал своей фантазии более буржуазное направление. Небольшая, уютная гостиная, тесный кружок друзей-либералов, скромная беседа о том, что Россия быстрыми шагами стремится на пути к преуспеянию, и, наконец, беспредельно любящее сердце женщины – ужели это недостаточно завидная обстановка даже для наиболее взыскательного помпадур? Феденька решил, что, в крайнем случае, это будет еще очень недурно, а пожалуй, даже лучше, нежели тщетный блеск, который требует значительных денежных издержек и, сверх того, почти всегда сопровождается скандалами...

Когда она узнала об этом решении, то радости ее не было пределов. Две вещи она ненавидела: представительность и внутреннюю политику – и вот он, ее *roi-soleil*,⁹⁰ навсегда освобождает ее от них. Отныне она будет иметь возможность без помехи удовлетворять своим нетребовательным вкусам: своей набожностью и любви к домашнему очагу.

Она еще в институте была набожна (законоучитель, указывая на нее, говорил: вот истинная дочь церкви!), а теперь эта склонность еще более усилилась, ибо у нее есть предмет для молитв. Она молится *за него*; она просит у неба успеха его благим начинаниям и прощения невольным его прегрешениям. Скромно одетая в темненькое платье, она становится у клироса в женском монастыре, и с ее появлением делается словно светлее и уютнее среди этих темных стен. Молодые монахини юрче перебегают от клироса к клиросу и на бегу с добродушным лукавством приветствуют ее. Сама мать игуменья, при виде ее, смягчает постоянно строгое выражение своего лица. Все ее любят здесь, все готовы оказать ласку и привет, не справляясь, согласно или не согласно это будет с видами внутренней политики. Когда она подает любимой своей крылошанке бархатную поминальную книжку, – монашка не дает ей даже сказать, кого следует помянуть.

– Знаю, сударыня! знаю, за кого молитесь! – говорит она с выражением добродушного себе на уме и почти бегом бежит сообщить на ухо отцу протоиерею имя раба Божия Феодора.

Как хорошо, как спокойно ей здесь, под сению этих мирных стен! Какое прекрасное варенье подают у матери игуменьи, какой вкусный квас! Она готова по целым дням болтать с молодыми монашками; у нее есть между ними фаворитки, которые даже вступают с ней в разговор *об нем*, и она нимало не чувствует себя при этом сконфуженною. Все хвалят *его* ум, все утверждают, что никогда не бывало такого помпадур в Навозном. Даже в те горькие минуты, когда она убеждалась, что Феденька изменяет ей (а это случалось нередко, потому что он далеко не был равнодушен к сверкающим плечам и бюстам навозных львиц) – она спешила сюда, чтоб излить свое горе на груди одной из юных затворниц. Она была уверена, что услышит здесь не насмешку и злорадство, а слова ободрения и надежды. В этих случаях она молилась еще усерднее и пламеннее, и все кругом, казалось, молилось вместе с ней о просвещении раба Божия Феодора светом истины. И когда, успокоенная и умиротворенная, она возвращалась домой и встречала там раскаявшегося Феденьку, то ни единым движением не давала ему знать, что замечает его проделки, а только говорила:

– Theodore! помните, что нигде вы не найдете той преданности, той беззаветной любви, какую нашли здесь, в этом сердце! И потому, когда вам наскучат дурные наслаждения, когда вы убедитесь, что за ними таятся коварство и обман – возвратитесь ко мне и отдохните на этой груди!

Дома она чувствовала себя счастливою. Она любила стряпню и предпочитала блузу всякому другому платью. Днем, покуда «он» распоряжался по службе, она хлопотала по хозяйству и всю изобретательность своего ума употребляла на то, чтоб Феденька нашел у нее любимое блюдо и сладкий кусок. Вечером, управившись с делами, он являлся к ней,

⁹⁰ Король-солнце (*фр.*) .

окруженный блестящей плеядой навозных свободных мыслителей, и читал свои циркуляры.

Он был либерален, и она была либеральна. Оба выписали из Петербурга двух товарок ее по институту, ходивших с стриженными волосами и отрицавших авторитеты, и ездили с ними в открытых экипажах по городу. Оба страстно желали, чтоб торговля развивалась, а судоходство оправдывало надежды начальства. Оба верили, что кредит возродит земледелие и даст толчок нашей заснувшей промышленности. И в ожидании всего этого оба сладко вздыхали...

Иногда, на интимных вечерних собраниях, присутствовал и папа Волшебнов, и тогда вечер принимал окончательно семейный характер. Анна Григорьевна ласкалась то к отцу, то к Феденьке, то у одного, то у другого спрашивала, достаточно ли сладок чай. Читали статьи В. П. Безобразова и удивлялись, что такая плодотворная вещь, как кредит, не только не оплодотворяет Навозного, но даже служит как бы к запустению. Упивались передовыми статьями «С.-Петербургских ведомостей», в которых доказывалось, что нет ничего легче, как отрицать и глумиться над прогрессом, и что, напротив того, нет задачи более достойной истинного либерала, как с доверием ожидать дальнейших разъяснений.

И пока в гостиной шли либеральные разговоры, папа Волшебнов хлопотал около закуски и, залучив под шумок чиновника особых поручений Веретьева, выкушивал с ним по «предварительной».

Но вдруг черт дернул Феденьку сделаться консерватором, и он сразу оборвал с своими прежними сподвижниками по либерализму. Не стало интимных вечеров, замолкли либеральные разговоры, на сцену опять выступила внутренняя политика, сопровождаемая сибирскою язвою и греческим языком. Феденька отыскивал корни и нити и, не находя их, был беспокоен и зол.

Перемена эта до того озадачила Анну Григорьевну, что она поначалу даже сделала несколько либеральных промахов. Ей казалось странным, что чиновники особых поручений Рудин и Волохов, еще так недавно проповедовавшие в ее квартире теорию возрождения России посредством социализма, проводимого мощною рукою администрации, вдруг стушевались, прекратили свои посещения и уступили место каким-то двужильным ретроgrадам, которые большую часть времени проводили в камерке у папа Волшебнова и прежде, нежели настоящим образом приступить к закуске, выпивали от пяти до десяти «предварительных». Но вскоре Феденька раскрыл перед нею загадочность своего поведения. Он объяснил ей, что общество в опасности, что покуда остается неразоренным очаг революций, до тех пор Европа не может наслаждаться спокойствием, что в самом Навозном существует громадный наплыв неблагонадежных элементов, которые, благодаря интриге, всюду распространяют корни и нити, и что он, Феденька, поставил себе священной задачей объявить им войну, начав с акцизного ведомства и кончая судебными и земскими учреждениями.

– Je ferai une guerre a outrance! – гремел он, потрясая кулаками, – une guerre sans merci... oui, c'est ça!⁹¹

– Однако какой ты строгий, Thèodore!

– Нельзя, ma chèrè! вспомни, сколько времени они нас морочили! вспомни этих двух нигилистов, которых мы возили по городу! га! я никогда им не прощу этого!

– Но они были миленькие, Thèodore!

– Миленькие! Vous perdez la tête, ma chèrè! Des gueuses! des pétroleuses! des filles sans foi ni loi!⁹² Девчонки, которые не признавали авторитетов, которые мне... мне... прямо в глаза говорили, что я порю дичь!.. Нет, дальнейшая слабость была бы уж преступлением!

⁹¹ Я буду вести войну до конца! войну без пощады... да, именно! (фр.)

⁹² Вы теряете голову, моя милая! Дряни! петролейщицы! бесчестные девчонки! (фр.)

Миленькие! D'un seul coup elles vous demandent cent milles têtes a couper! Excusez du peu!⁹³

И он метался из стороны в сторону, отыскивая хоть какой-нибудь факт, который дал бы ему повод приступить к расследованию корней и нитей. Но фактов не было. Никогда еще с таким рвением не снимали перед ним шляпы акцизные чиновники; никогда окружной суд не обнаруживал большей строгости относительно лиц, дозволявших себе взлом с заранее обдуманном намерением воспользоваться чужим пятаком; никогда земская управа с большею страстностью не приобретала для местной больницы новых умывальников и плевальниц, взамен таковых же, пришедших в ветхость. Все как бы сговорилось усердием и прилежанием радовать сердце опечаленного помпадур...

Это было самое тяжелое время для Анны Григорьевны. Феденька ходил сумрачный и громко выражался, что он – жертва интриги. Дни проходили за днями; с каждым новым днем он с большим и большим усилением искал фактов и ничего не находил.

– A la fin ça devient monstrueux!⁹⁴ – говорил он ей, – везде есть факты, даже Петька Толстолобов, Соломенный помпадур, – и тот нашел факт! И вдруг у одного меня – nenni!⁹⁵ Кто ж этому поверит!

Дошло до того, что он даже ее однажды упрекнул в тайном содействии интриге. Ее, которая... Ах! это была такая несправедливость, что она могла только заплакать в ответ на обвинение. Но и тут она не упрекнула его, а только усерднее стала молиться, прося у неба о ниспослании Феденьке фактов.

И вот, в ту самую минуту, когда Феденька уже думал погибнуть, он прочел в газетах слово «борьба». Он понял. Он понял, что ему ничего не нужно понимать, что не нужно ни фактов, ни корней, ни нитей, что можно с пустыми руками, с одной доброй волей, начать дело нравственного возрождения Навозного, сопровождаемое борьбою a grand spectacle,⁹⁶ с истреблениями, разорениями, расточениями и другими принадлежностями возрождающей власти. Невольным образом мысль его обратилась к Анне Григорьевне, и тут только он сообразил, как хорошо, что она не сделалась Ментеноншей, как он когда-то настаивал, а осталась простою и скромною Лавальершей.

– Elle sera ma Jeanne d'Arc!⁹⁷ – воскликнул он и, как озаренный, побежал к ней.

А она уже ждала его, как будто знала, что ему нужна ее помощь.

– Ah ça! vous serez ma Jeanne d'Arc!⁹⁸ – сказал он ей, простирая руки, – я всегда видел, что роль, которую вы до сих пор играли, не по вас! Наконец ваша роль нашлась. Но, конечно, вы знаете, кто была Jeanne d'Arc?

Она без запинки прочла ему то место из истории Смараглова, где говорится об Иоанне д'Арк и ее подвиге.

– Oui, c'est cela même!⁹⁹ в случае надобности, вы сядете на коня... знаете, как изображают ее на картинах... и тогда... gare a vous, messieurs les communalistes de la

⁹³ Они сразу требуют ста тысяч голов! Ни больше ни меньше! (фр.)

⁹⁴ Это в конце концов становится чудовищным! (фр.)

⁹⁵ Ничего! (фр.)

⁹⁶ Весьма эффектной (фр.) .

⁹⁷ Она будет моей Жанной д'Арк! (фр.)

⁹⁸ Ах! вы будете моей Жанной д'Арк! (фр.)

⁹⁹ Так и будет! (фр.)

zemsskaia ouprava!¹⁰⁰

Феденька сделался веселее и забавнее – уж и это был выигрыш для Анны Григорьевны. Покончивши с Иоанной д'Арк, он необыкновенно деятельно принялся за осуществление других частей церемониала борьбы.

Прежде всего он бросился очищать персонал своей собственной администрации. Покуда он был только консерватором, в действиях его замечалась некоторая осторожность. Он еще как бы стыдился. Он выказывал холодность в обращении с бывшими сподвижниками по либерализму, избегал иметь с ними дела, но открыто преследовать их не решался. С своей стороны, либералы хотя и заметили перемену в образе мыслей Феденьки, но не только не приняли ее к руководству, а напротив того, как бы в пику ему, даже усугубили свое рвение к интересам казны. И таким образом, дело продолжало идти, как говорится, ни шатко, ни валко, ни на сторону. Но теперь он разом потерял всякий стыд. Он был не просто консерватор, а представитель принципа нравственного возрождения, и потому долее терпеть не мог. Начав с своих приближенных, он выказал при этом такую решимость, что многие тут же раскаялись и только этим успели избегнуть заслуженной кары. Первым принес покаяние правитель канцелярии Лаврецкий и увлек за собой чиновников особых поручений Райского и Веретьева. Лаврецкий в это время уже являл собой только жалкое подобие прежнего Лаврецкого. Он до того ожирел, что лишь с трудом понимал, какие идеи – либеральные и какие – консервативные. Притом же, имея большое семейство и мотовку-жену, он не мог пренебрегать и жалованьем, тем больше что Дворянское Гнездо, приносившее при крепостном праве прекрасный доход, теперь ровно ничего не давало. Поэтому, когда Феденька объявил ему, что отныне им предстоит борьба, то он как-то апатически пожевал губами и, сказав: «Что ж... по мне, пожалуй», отправился в канцелярию писать циркуляр о благополучном вступлении Феденьки в новый фазис административной проказливости. Что же касается до Райского и Веретьева, то первый из них не решался выйти в отставку, потому что боялся огорчить бабушку, которая надеялась видеть его камер-юнкером, второй же и прежде, собственно говоря, никогда не был либералом, а любил только пить водку с либералами, какового времяпровождения, в обществе консерваторов, предстояло ему, пожалуй, еще больше. Из остальных либералов Марк Волохов отнесся к Феденькиным проказам как-то загадочно, сказав, что ему кто ни поп, тот батька и что таких курицыных детей, как обыватели Навозного, всяко возродить можно. Затем остался Рудин, который, подобрав небольшую шайку «верных», на скорую руку устроил комитет общественного спасения и в полном его составе отправился агитировать страну в тот край, где помпадуствовал Петька Толстолобов.

Но так как административная машина не имела права останавливаться, то всех выбывших из строя либералов Феденька немедленно заменил шалопаями, определив множество таковых и сверх штата, на случай, если б Лаврецкий и другие раскаявшиеся, подвергшись угрызениям, снова не сделались либералами. Тут прежде всего фигурировали: Ноздрев, Тарас Скотинин и Держиморда (разыскивали и Сквозника-Дмухановского, но оказалось, что он умер, состоя под судом), которые и сделались главными исполнителями всех Феденькиных предначертаний. Шалопаи сновали по улицам, насупивши брови, фыркая во все стороны и не произнося ни единого звука, кроме «го-го-го!». Вид их навел в либеральном лагере такую панику, что даже либералы посторонних ведомств («независимые», как они сами себя называли) – и те струсили. Уныло бродили они по улицам, копя вздохами твердь небесную, не решаясь оставить ни службы, ни либерализма, путаясь между зависимостью и независимостью и ежемгновенно терзаясь надеждой, что их простят. Но шалопаи не прощали. С зоркостью коршуна намечали они скрывающегося в кустах либерала и тотчас же ошиповывали его, испуская при этом злорадно-ироническое цыркание. Ряды либералов странным образом поредели, и затем в течение какого-нибудь

¹⁰⁰ Берегитесь, господа коммуналисты из земской управы! (*фр.*)

месяца погибли все молодые насаждения либерализма. Земская управа прекратила покупку плевальниц, ибо Феденька по каждой покупке входил в пререкания; присяжные выносили какие-то загадочные приговоры, вроде «нет, не виновен, но не заслуживает снисхождения», потому что Феденька всякий оправдательный или обвинительный (все равно) приговор, если он был выражен ясно, считал внушенным сочувствием к коммунизму и галдел об этом по всему городу, зажигая восторги в сердцах предводителей и предводительш. Вдали показывался грозный призрак сибирской язвы.

Феденька знал это, и по временам ему даже казалось, что шалопаи, в диком усердии своем, извращают его мысль. Как ни скромно держала себя Анна Григорьевна, но и ее устрасила перспектива сибирской язвы. Марк Волохов подметил в ней этот спасительный страх (увы! она против воли чувствовала какое-то неопределенное влечение к этому змию-искусителю, уже успевшему погубить родственницу Райского) и всячески старался эксплуатировать его.

– Съедят они и вас и вашего помпадура, и водку всю у вас вылакают! – угрожал он ей. – Это, сударыня, сила! Берегитесь, да и помпадура-то поберегите! Мне что! Я уложил чемодан – и был таков! А мне вас жалко! Вас я жалеючи говорю – вот что, красавица вы наша!

– Ах, нет! уж вы пожалуйста! Пожалуйста, хоть вы не оставляйте Феденьку! – всполошилась она и однажды, преодолев природную робость, очень настоятельно стала доказывать Феденьке, что нельзя жить без плевальниц, без приговоров, с одной только сибирскою язвою.

– Шалопаи погубят вас, Theodore! – сказала она, – а вместе с вами погубят и меня! Pensez-y, mon ange,¹⁰¹ прогоните их, покуда еще есть время! Возвратите Рудина (il était si amusant, le cher homme!¹⁰²) и прикажите Лаврецкому, Райскому и Веретьеву быть по-прежнему либералами.

Феденька на минутку задумался: в нем шевельнулись проблески недавнего либерализма и чуть-чуть даже не одержали верх. Но фатум уж тяготел над ним.

– Que voulez-vous, ma chère!¹⁰³ – ответил он как-то безнадежно, – мне мерзавцы необходимы! Превратные толкования взяли такую силу, что дольше медлить невозможно. После... быть может... когда я достигну известных результатов... тогда, конечно... Но в настоящее время, кроме мерзавцев, я не вижу даже людей, которые бы с пользой могли мне содействовать!

– Как хотите, мой друг! Вы знаете: что бы с вами ни случилось, я всегда разделю вашу участь! Но все-таки... отчего бы не обратиться вам, например, к Волохову? Я не знаю... мне кажется, что он преданный!

– Я знаю это и не раз об этом думал, душа моя! Но Волохов еще так недавно сделался консерватором, что не успел заслужить полного доверия. Не моего, конечно, – я искренно верю его раскаянию! – но доверия общества... C'est un conservateur du lendemain, ma chère, tandis que les autres... les chénapans... sont des vrais conservateurs, des conservateurs de la veille!¹⁰⁴ Вот что для меня важно. Что же касается до сибирской язвы, то ты можешь быть на этот счет спокойна: ни меня, ни тебя она коснется не посмеет.

Одним словом, умопомрачение, по обыкновению, восторжествовало. То злое и проказливое умопомрачение, которое находит для себя смягчающие вину обстоятельства

¹⁰¹ Подумайте об этом, мой ангел (фр.) .

¹⁰² Он был так забавен, милый человек! (фр.)

¹⁰³ Ничего не поделаешь, дорогая! (фр.)

¹⁰⁴ Это консерватор завтрашнего дня, моя милая, тогда как другие... мерзавцы... это настоящие консерваторы, консерваторы вчерашнего! (фр.)

лишь в невменяемости помрачившихся.

К этому времени как раз подоспело известие о публичном отречении от сатаны и всех дел его, происшедшем во Франции в Парэ-ле-Мониале. Прочитав об этом в газетах, Феденька сообразил, что необходимо устроить нечто подобное и в Навозном. А дабы облечь свое намерение надлежаще торжественностью, он отправился за советом к Пустыннику.

В Навозном, среди мирского круговорота, спасался Пустынник. Несмотря на свое звание и на преклонные лета, это был мужчина веселый, краснощекий, кровь с молоком. Любил он в меру поесть и в меру же выпить, а еще более любил других угостить. Любил петь духовные и светские стихи (последние всегда старые, сочиненные до «Прощаюсь, ангел мой, с тобою») и терпеть не мог уединения. Почему он назывался Пустынником, этого никто, и всего меньше он сам, не мог объяснить; известно было только, что ни у кого не пекутся такие вкусные рыбные пироги, ни у кого не подается такой ядреный квас, такие вкусные наливки, соленья и варенья, как у него. Все лучшее в губернии по части провизии стекалось у него и ставилось на стол на радость и утешение посещавшим его гостям.

– Люблю радоваться! – говаривал он, – и сам себе радуюсь, а еще больше радуюсь, когда другие радуются! Несть места для скорбей в сердце моем! Все приидите! все насладитесь! – вот каких, сударь, правил я держусь! Что толку кукситься да исподлобья на всех смотреть! И самому тоска, да и на других тоску нагонишь!

Феденька застал Пустынника в обществе целого хора домашних певчих, которые пели:

Не дивитесь, друзья,
Что не раз
Между вас
На пиру веселом я
Призадумывался!

– «Призадумывался!» – вздохнул Пустынник, грузно поднимаясь с дивана и идя навстречу Феденьке, – до зде¹⁰⁵ задумывались, а днесь возвеселимся! Мы было пирог рушить собирались, да я думаю: кого, мол, это недостает – ан ты и вот он! Накрывать на стол – живо! Да веселую – что встали! «Ах вы, сени мои, сени!»

Но Феденька охладил порывы Пустынника, сказав, что имеет сообщить нечто важное.

– Вы, гражданские, вечно с делами! А посмотришь, дела-то ваши все вместе выеденного яйца не стоят! Ну, сказывай, что еще накуролесил?

– Слышали ли вы, Пустынник, что во Франции делается?

Пустынник удивленно взглянул на Феденьку.

– Не любопытен я; а впрочем, почтмейстер заезжает – сказывает.

– О том, что почти вся палата, в полном составе, ездила в город Парэ-ле-Мониаль и от сатаны отреклась – слышали?

– Что ж, пусть лучше Богу молятся, нечем шалберничать!

– Не в том дело, Пустынник! а каков факт!

– Хоть иноверцы, а тоже по-своему Бога почитают. Ничего это. Да скажи ты мне на милость, к чему ты эту канитель завел? Мне что-то даже скучно стало.

– А к тому, что я эту самую церемонию хочу здесь устроить!

Это было до того удивительно, что Пустынник ничего не нашелся ответить, а только хлопнул Феденьку по ляжке и сказал:

– Закусим!

– Нет, Пустынник, я без шуток хочу это здесь устроить.

– Да ты опомнись, сударь! ведь мы здесь, в Навозном, даже ведать не ведаем, кто таков он есть, сатана-то!

¹⁰⁵ Доселе, доньне (церк. – слав.). – Примеч. ред.

– Ну нет-с! вы не знаете! вы здесь сидите, а о том и не знаете, какие везде пошли превратные толкования!

– Чего не знаю, о том и говорить не могу!

– А я так знаю. Свобода-с! несменяемость-с! независимость-с! Вот оно куда пошло!

– Слыхал, сударь.

– Надо все это истребить!

– Сделай милость, закусим!

Феденька наконец обиделся.

– Я думал, что вы содействие окажете, а вы с закуской!

– Да какое же я тебе содействие оказать могу? Зависимые вы или независимые, сменяемые или несменяемые – это ваше, гражданское дело! Вот свобода – это точно, что яд! Это и я скажу.

– Я вот что придумал, слушайте. На этих днях, как только будет хорошая погода, я, во главе благонамеренных, отправляюсь в подгородную слободу и там произношу обет...

– Убедительнейше тебя прошу: закусим!

– Отстаньте вы с вашей закуской! Говорите, можете ли вы рассуждать или нет?

– Ну, давай рассуждать натошак!

– Итак, я иду в подгородную слободу и произношу обет...

– По примеру, значит?

– Ну да, по примеру. Оттого мы, благонамеренные, и слабы, что все врозь идем. Нет чтобы хорошему примеру подражать, а всё как бы на смех друг друга поднять норовим!

– Не смеяться-то нельзя!

– Что же тут, однако, смешного?

– Ну, как же не смешно – посуди ты сам. Идешь ты невесть куда, с сатаной полемику вести хочешь! А я так думаю, что из всего этого пикник у вас, у благонамеренных, выйдет! Делать тебе нечего – вот что!

Феденька даже вспыхнул весь.

– Это о ком-нибудь другом можно сказать, что делать нечего, только не обо мне! – произнес он иронически, – я не закусываю, как другие, а с утра до вечера точно в котле киплю!

– Если ты это на мой счет сказал, что некто закусывает, – так что ж! Нечего мне делать – это я и сам скажу! Сижу, песни пою, закушу малость – конечно, не бог знает какое государственное это дело, однако и вреда от него никому нет. А ты, извини ты меня, завистлив очень. Своего-то у тебя дела нет, так ты другим помешать норовишь. Ан вот и вред. Изволь, спрошу я тебя: управа ли, суд ли – чем они тебе поперек горла встали? пошто ты на всяк час их клянешь? Дело свое они делают – достоверно знаю, что делают! тебя не замают – чего еще нужно! Да и люди отменные! Заговорят – заслушаешься: ровно на гусях играют! Скажи ты мне, Христа ради, какую такую строптивость ты в них заметил?

– Ну, Пустынник, с вами говорить – пожалуй, и до ссоры недалеко. Скажите-ка лучше прямо: с нами вы или нет?

– Это на пикник-то? – нет, уж меня уволь: у меня плоть немощна.

– А еще Пустынником называется!

– А почему ты знаешь, как я в Пустынники-то попал? Может, мне петля была! Может, по естеству-то, мне вот так же, как и тебе, по пикникам бы ездить хорошо! А я сижу да сохну!

– Ну-с, так прощайте-с.

– Да закуси ты, сделай милость! Авось у тебя сердце-то отойдет!

– Нет уж, увольте.

– Ну, не хочешь, как хочешь. А то закусил бы ин! Это все у тебя от думы. Брось! пушай другие думают! Эку сухоту себе нашел: завидно, что другие делами занимаются – зачем не к нему все дела приписаны! Ну, да уж прощай, прощай! Вижу, что сердиться! Увидишься с сатаной – плюнь ему от меня в глаза! Только вряд ли увидишь ты его. Потому, живем мы

здесь в благочестии и во всяком благом поспешении, властям предрержащим повинемся, старших почитаем – неповадно ему у нас!

Феденька вышел от Пустынника опечаленный, почти раздраженный. Это была первая его неудача на поприще борьбы. Он думал окружить свое вступление в борьбу всевозможною помпой – и вдруг, нет главного украшения помпы, нет Пустынника! Пустынник, с своей стороны, вышел на балкон и долго следил глазами за удаляющимся экипажем Феденьки. Седые волосы его развевались по ветру, и лицо казалось как бы закутанным в облако. Он тоже был раздражен и чувствовал, что нелепое объяснение с Феденькой расстроило весь его день.

– И черт тебя баламутит! – бормотал он, трясая головой, – именно он, дух праздности, уныния и любоначалаия, вселился в тебя!

Несмотря на неудачу с Пустынником, Феденька не оставил своей затеи. На другой же день (благо время случилось красное), он, в сопровождении правителя канцелярии, чиновников особых поручений и частных приставов, с раннего утра двинулся в подгородную слободу. Шествие открывал Ноздрев, а замыкал Держиморда; Тарас же Скотинин шел рядом с Феденькой и излагал программу будущего. Лаврецкий с прочими раскаявшимися рассеялись по сторонам и притворились, что рвут цветы. Придя в подгородную слободу, Феденька выбрал пустопорожнее пространство, где было не так загажено, как в прочих местах, велел удалить кур и поросят и подвергнул себя двухчасовому воздержанию. Затем встал и пред лицом неба проклял свои прежние заблуждения; а дабы запечатлеть эту клятву самым делом, тут же подписал заранее изготовленный Лаврецким циркуляр. В циркуляре этом описывался церемониал проклятия и выражалась надежда, что все подчиненные поспешат последовать этому примеру. Кроме того, излагалось, что наука есть оружие обоюдоострое, с которым необходимо обращаться по возможности осторожно. Что посему, ежели господа частные пристава не надеются от распространения наук достигнуть благонадежных результатов, то лучше совсем оные истребить, нежели допустить превратные толкования, за которые многие тысячи людей могут в сей жизни получить законное возмездие, а в будущей лишиться спасения...

Исполнив все это, Феденька громко возопил: сатана! покажись! Но, как это и предвидел Пустынник, сатана явиться не посмел. Обряд был кончен; оставалось только возвратиться в Навозный; но тут сюрпризом приехала Иоанна д'Арк во главе целой кавалькады дам. Привезли корзины с провизией и вином, послали в город за музыкой, и покаянный день кончился премиленьким пикником, под конец которого дамы поднесли Феденьке белое атласное знамя с вышитыми на нем словами: БОРЬБА.

Таким образом исполнилось и другое предсказание Пустынника относительно пикника...

Я знаю: прочитав мой рассказ, читатель упрекнет меня в преувеличении. Помилуйте! – скажет он, – разве мы не достаточно знаем Федора Павлыча Кротикова? Никто, конечно, не станет отрицать, что это – малый забавный, а отчасти даже и волшебный, но ведь и волшебность имеет свои пределы, которые даже самый беспардонный человек не в силах переступить. Ну, с какой стати Феденька будет отречься от сатаны? Не пожелает ли он скорее познакомиться с ним? С какой стати придет ему в голову возводить девицу Волшебнову в сан Иоанны д'Арк? Зачем ему Иоанна д'Арк? Не поспешит ли он, наоборот, и настоящую-то Иоанну д'Арк, если б таковая попала ему под руку, поскорее произвести в сан девицы Волшебновой?

Как ни вески могут показаться эти возражения, но я позволяю себе думать, что они не больше как плод недоразумения. Очевидно, что читатель ставит на первый план форму рассказа, а не сущность его, что он называет преувеличением то, что, в сущности, есть только иносказание, что, наконец, гоняясь за действительностью обыденною, осязаемою, он теряет из вида другую, столь же реальную действительность, которая хотя и редко выбивается наружу, но имеет не меньше прав на признание, как и самая грубая, бьющая в

глаза конкретность.

Литературному исследованию подлежат не те только поступки, которые человек беспрепятственно совершает, но и те, которые он несомненно совершил бы, если б умел или смел. И не те одни речи, которые человек говорит, но и те, которые он не выговаривает, но думает. Развяжите человеку руки, дайте ему свободу высказать *всю* свою мысль – и перед вами уже встанет не совсем тот человек, которого вы знали в обыденной жизни, а несколько иной, в котором отсутствие стеснений, налагаемых лицемерием и другими жизненными условностями, с необычайною яркостью вызовет наружу свойства, оставшиеся доколе незамеченными, и, напротив, отбросит на задний план то, что на поверхностный взгляд составляло главное определение человека. Но это будет не преувеличение и не искажение действительности, а только разоблачение той *другой* действительности, которая любит прятаться за обыденным фактом и доступна лишь очень и очень пристальному наблюдению. Без этого разоблачения невозможно воспроизведение *всего* человека, невозможен правдивый суд над ним. Необходимо коснуться всех готовностей, которые кроются в нем, и испытать, насколько живуче в нем стремление совершать такие поступки, от которых он, в обыденной жизни, поневоле отказывается. Вы скажете: какое нам дело до того, волею или неволею воздерживается известный субъект от известных действий; для нас достаточно и того, что он не совершает их... Но берегитесь! *сегодня* он действительно воздерживается, но завтра обстоятельства поблагоприятствуют ему, и он *непрерывно* совершит все, что когда-нибудь лелеяла тайная его мысль. И совершит тем с большею беспощадностью, чем больший гнет сдавливал это думанное и лелеянное.

Я согласен, что в действительности Феденька многого не делал и не говорил из того, что я заставил его делать и говорить, но я утверждаю, что он *несомненно все это думал* и, следовательно, сделал бы или сказал бы, если б умел или смел. Этого для меня вполне достаточно, чтоб признать за моим рассказом полную реальность, совершенно чуждую всякой фантастичности.

Многое потому только кажется нам преувеличением, что мы без должного внимания относимся к тому, что делается вокруг нас. Действительность слишком примелькалась нам, да и мы сами как-то отвыкли отдавать себе отчет даже в тех наблюдениях, которые мы несомненно делаем. Поэтому, когда литература называет вещи не совсем теми именами, с которыми мы привыкли встречаться в обыденной жизни, нам думается уже, что это небывальщина.

Но на самом деле небывальщина гораздо чаще встречается в действительности, нежели в литературе. Литературе слишком присуще чувство меры и приличия, чтоб она могла взять на себя задачу с точностью воспроизвести карикатуру действительности. Напрасно усиливалась бы она опошлять и искажать действительность – в последней всегда останется нечто, перед чем отступит самая смелая способность к искажениям. Исказители! карикатуристы! возглашают близорукие люди. Но пускай же они укажут пределы глупого и пошлого, до которых не доходила бы действительность, пусть хоть раз в жизни сумеют понять и оценить то, что на каждом шагу слышит их ухо и видит их взор!

Если б я рассказал жизнь Феденьки в форме обнаженной летописи выдающихся фактов его деятельности, я думаю, что читатель был бы более вправе упрекнуть меня в искажении, хотя бы в моем рассказе не было на горчичное зерно вымысла. Нет ничего несогласнее с истиной, как истина в том смысле, в каком ее понимает большинство людей. Ежели судить по рассказам летописцев, передающих только голые факты, то Феденьку пришлось бы, пожалуй, назвать злодеем. Такова истина большинства. Но это уже по тому одному неправда, что если б Феденька был заправский злодей, то обывателю Навозного невозможно было бы существовать. Сверх того: злодей имеет систему, а у Феденьки в распоряжении находится лишь яичница; злодей не выступит на арену, не подготовившись заранее, не просондировав те места, где удобнее класть отраву, Феденька же не только ни к чему не подготовлен, но имеет все свойства молодого жеребчика, вырвавшегося на волю из стойла. Он гогочет и роет землю, сам не зная зачем. Поэтому, присматриваясь к нему, я убеждаюсь,

что главное его качество есть простодушие, усугубленное неразвитостью, и что вследствие этого голова его полна бредней, которые, смотря по обстоятельствам, принимают благоприятный или неблагоприятный для обывателя характер. Многие из этих бредней до того фантастичны, что он сам старается скрыть их, но я ловлю его на полуслове, я пользуюсь всяким темным намеком, всяким минутным изливанием, и с помощью ряда усилий вступаю твердой ногой в хранину той другой, не обыденной, а скрытой действительности, которая одна и представляет верное мерило для всесторонней оценки человека. Не знаю, в какой степени усилия мои увенчаются успехом, но убежден, что прием мой, во всяком случае, должен быть признан правильным.

Говорят о карикатуре и преувеличениях, но нужно только осмотреться кругом, чтоб обвинение это упало само собою.

Чего стоит борьба с привидениями, на которую так легко решается даже простодушнейший из помпадуров!

Чего стоит мысль, что обыватель есть не что иное, как административный объект, все притязания которого могут быть разом рассечены тремя словами: не твоё дело!

Это ли не карикатура?

Но кто же пишет эту карикатуру? не сама ли действительность? не она ли на каждом шагу обличает самоё себя в преувеличениях?

«Из Егорьевска пишут»... «из Белебея пишут»... «из Пронска пишут»... умеете же, наконец, читать, господа!

Возьмите для себя исходным пунктом хоть известие: «из Пронска пишут: вчера наш помпадур, будучи на охоте, устроенной в честь его одним из подгородных землевладельцев, переломил пастуху ребро»... и идите дальше. Ежели сегодня оказывается возможным и безнаказанным такое-то очевидно волшебное действие, то спросите себя, какие размеры примет это волшебство завтра? Не останавливайтесь на настоящей минуте, но прозревайте в будущее. Тогда вы получите целую картину волшебств, которых, *быть может*, еще нет в действительности, но которые несомненно придут...

Как бы то ни было, но повторяю: карикатуры нет... кроме той, которую представляет сама действительность.

Если смотреть на дело с разумной точки зрения, то можно было ожидать, что, совершив все вышеизложенное, Феденька кончит тем, что встанет в тупик. Однако ж, к удивлению, ничего подобного не случилось.

Водрузив знамя борьбы, он почувствовал, что у него словно гора с плеч свалилась. Никогда ему не было так легко и привольно. Он весь устремился куда-то вдаль, а на прошедшее взглянул как на дурной бред, который перестал быть для него обязательным. Отныне нет ни устности, ни гласности, ни постройки умывальников при посредстве принципа самоуправления – все это будет заменено одним словом «фюить». Даже несомненно консервативные «корни и нити», которыми он еще так недавно щеголял, показались ему мелкими и презренными. Все это пустая и лишняя процедура. Ему нужно совсем не то; ему нужен не факт, а «дух»...

– Я этот «дух» уничтожу! – вопиял он на всех перекрестках и распутиях. – Я этот «дух» из них выбью!

И вслед за тем давал Ноздреву поручение поднюхать, чем пахнет.

Но ни он, ни Тарас Скотинин не могли определить, в чем состоит тот «дух», который они поставили себе задачею сокрушить. На вопросы по этому предмету Феденька мялся и отвечал: *mais comment ne comprenez-vous pas cela?*¹⁰⁶ Скотинин же даже не отвечал ничего, а только усиленно вращал зрачками. Поэтому оба в конце концов рассудили за благо употреблять это слово, как нечто, не требующее толкований, но вполне ясное и твердое.

¹⁰⁶ Ну, как вы этого не понимаете? (*фр.*)

Скотинин до того очаровал Феденьку, что совершенно оттеснил Лаврецкого. Он всякое утро представлял Кротикову доклад, под которым, за неумением его грамоте, подписывался Кутейкин. В докладе никаких других фраз не было, кроме: «а дабы сей пагубный дух истребить» и: «а дабы обуздать злокозненный оный дух». В заключение предлагалась *мера*: фюить! Феденька выслушивал эту длинную иеремиаду, без умолку болтая всякий вздор и лишь изредка, ради приличия, делая попытку что-нибудь возразить. Но обыкновенно заключения доклада принимались всецело и тут же передавались Ноздреву и Держиморде, которые со всех ног бросались исполнять их.

Вообще Феденька сделался необыкновенно бодр и деятелен. Вставал он чрезвычайно рано и тотчас принимал Скотинина, Ноздрева и Держиморду, которые в ожидании его призыва сидели в передней, беседуя с камердинером Яшкой. Отдав нужные приказания по части истребления «духа», он призывал Веретьева (единственного из прежних сподвижников, к которому он сохранил доверие) и заставлял его представлять, как жужжит муха, комар, пчела и т. п. Если и затем оставалось свободное время, то приглашался Митрофан Простаков, на котором Феденька изучал, каков должен быть натуральный, неиспорченный человек. Таким образом незаметно летели часы за часами. Перед обедом он отправлялся гулять по улицам и тут делал так называемые личные распоряжения, то есть тарачил глаза, гоготал и набрасывался на проходящих.

– Что ты? да как ты? да зачем ты? – задыхался он, – я из тебя этот «дух» выбью! Я этот «дух» уничтожу. Ого-го!

Затем, сделав все «распоряжения» и завершив их словом «фюить!», Феденька возвращался домой и садился за обед.

– *J'espère que j'ai bien gagné mon dîner!*¹⁰⁷ – говорил он Веретьеву, – надеюсь, что я могу потребовать для себя хоть одной минуты спокойствия!

И он действительно имел основание спокойно есть свой обед, потому что Скотинин в это время уже обдумывал свой завтрашний доклад, а Ноздрев и Держиморда неумоимо блюли, чтоб сегодняшние скотининские предначертания были выполнены неукоснительно. В продолжение целого дня они врывались в частные жилища, делали выемки, хватали, ловили, расточали и к ночи являлись к Скотинину с целыми ворохами захваченных книг и бумаг, которые Кутейкин принимал для дальнейшего рассмотрения. Ноздрев, по свойственной ему пылкости нрава, не раз порывался взять взятку, но Держиморда постоянно его удерживал.

– Рано! – увещевал он, – надобно сначала хорошенько себя зарекомендовать! Потом наверстаем!

А Феденька, видя, что у него день и ночь кипит деятельность, утешался этим и говорил:

– *On me dit que ce sont des chenapans – est-ce que j'en doute! Mais ils font à merveille mes affaires, et c'est tout ce qu'il me faut!*¹⁰⁸

Да и Анна Григорьевна, по мере сил, усердствовала. С тех пор как она побывала на покаянном пикнике, с ней совершилось словно перерождение. Она не только вошла в роль Иоанны д'Арк, но, так сказать, отождествилась с этою личностью. Глаза у нее разгорелись, ноздри расширились, дыхание сделалось знойное, волосы были постоянно распущены. В этом виде, сидя на вороном коне, она, перед началом каждой церковной службы, галопировала по улицам, призывая всех к покаянию и к войне против материализма. Нельзя, впрочем, умолчать, что успеху ее проповеди немало содействовали частные пристава, которые употребляли все меры кротости, дабы обыватели Навозного не погрязали в материализме, но наполняли храмы Божии. Учтиво брали они прохожего за шиворот и говорили ему:

¹⁰⁷ Мне кажется, что я заработал право на обед! (*фр.*)

¹⁰⁸ Мне говорят, что это мерзавцы, – разве я в этом сомневаюсь! Но они чудесно обделывают мои дела, а это все, что мне нужно! (*фр.*)

– Ну, сделай ты хоть пример! ну, не молись, а только пример сделай!

И прохожие, видя, что их «просят честью», с удовольствием бросали дела и устремлялись в храмы.

Феденька не только выполнил программу, изложенную им в покаянном циркуляре, но даже пошел дальше. «Лучше совсем истребить науки, нежели допустить превратные толкования», – писал он в циркуляре, а Скотинин, как дважды два четыре, доказал ему, что всякое усилие, делаемое человеком, с целью оградить себя от каких-либо случайностей, есть бунт против неисповедимых путей. А посему: не следует ни пожаров тушить, ни принимать какие-либо меры против голода или повальных болезней. Все это посылается не без цели, но или в видах наказания, или в видах испытания. Следовательно, и в том и в другом случае не требуется ничего, кроме покорности и твердости в перенесении бедствий.

– Я, вашество, сам на себе испытал такой случай, – говорил Тарас. – Были у меня в имении скотские падежи почти ежегодно. Только я, знаете, сначала тоже мудровал: и ветеринаров приглашал, и знахарям чертову пропасть денег просадил, и попа в Егорьев день по полю катал – все, знаете, чтоб польза была. Хоть ты что хочешь! Наконец я решился-с. Бросил все, пересек скотниц и положил праздновать ильинскую пятницу. И что ж, сударь! С тех пор как отрезало. Везде кругом скотина как мухи мрет, а меня Бог милует!

Доктрина эта пришлась Феденьке очень по нраву. Во-первых, в ней было что-то возвышенное, а во-вторых, она освобождала его от многих обязанностей, которые мешали исключительно предаться делу истребления ненавистного ему «духа». Не дерзость ли предотвращать болезни, голод, пожары, когда все это посылается свыше, по заслугам людей? Чаша нечестий до того переполнилась, что самое лучшее средство спасти это гнездилище неключимостей (так называл Феденька Навозный) – это погубить его. Пусть голод, холера и огонь делают свое губительное дело; пусть истребляют виновных, невинных же подвергают испытанию. Феденька без сожаления оставит этот новый Содом и готов променять его даже на пустыню. При слове «пустыня» воображение Феденьки, и без того уже экзальтированное, приобретало такой полет, что он, не в силах будучи управлять им, начинал очень серьезно входить в роль погубителя Навозного. Ангел смерти, казалось ему, парит над нечестивым городом; пожар истребил все дома, по улицам валяются распухшие трупы людей и распространяют смрад. А он, Феденька, одетый по-дорожному (поодаль виднеется заложный дормез, из окна которого выглядывает Иоанна д'Арк), стоит на базарной площади и провозглашает грандиозный поход в пустыню. Послушные его голосу, со всех сторон стекаются уцелевшие обыватели, посыпают свои головы пеплом и, разодрав на себе одежды, двигаются, под его покровительством, в степь Сахару (Феденька так давно учился географии, что полагал Сахару на границе Тамбовской и Саратовской губерний). Пришедши туда, он предложит обывателям приносить покаяние, валяться на голой земле и питаться диким медом и акридами, сам же разобьет шатер, выпишет Дорота в качестве метрдотеля и, в обществе Иоанны д'Арк, предводительш и предводителей, будет вкушать изысканные яства. По вечерам избранники будут играть в карты, танцевать и говорить дамам *amabilités*...¹⁰⁹

– Мне и в пустыне будет хорошо-с! – говорил Феденька, – меня хоть на край света ушлите – я и там отлично устроюсь-с!

– Еще как, вашество, устроимся-то! – прибавлял, с своей стороны, Скотинин, – возьмем с собою Еремеевну да Вральмана, заставим сказки сказывать или вот Митрофанушке велим голубей гонять – и театров не надо.

– *Le brave homme!*¹¹⁰ – в умилении восклицал Феденька и, трепля Скотинина по плечу, присовокуплял: – Возьмем, старик! всех возьмем! Уложим чемоданы, захватим

¹⁰⁹ Любезности (*фр.*) .

¹¹⁰ Молодчина! (*фр.*)

Еремеевну и Митрофанушку и поедем на обывательских куда глаза глядят!

Итак, новый фазис административной проказливости, в который вступил Феденька, не только не принес ему никаких затруднений, но даже произвел в нем довольно приятную экзальтацию. И прежняя жизнь его была бредом, и теперь она продолжала быть бредом, с тою лишь разницею, что прежний бред имел сначала либеральный, потом консервативный характер, а теперь он принял форму бреда борьбы. Но эта последняя форма была даже приятнее двух первых, потому что не признавала никаких границ и, следовательно, легко наполнялась всякого рода содержанием.

Но не столько было замечательно то, что Феденька не почувствовал в своем положении никакой против прежнего перемены, сколько то, что самый объект его административных воздействий нимало не изменил своей физиономии. Казалось, что Навозный даже не заметил, что Кротиков, вместо Рудина и Волохова, приблизил к себе Скотинина и Ноздрева, что, перестав писать циркуляры о необходимости учреждения заводов, он ударился в административный мистицизм. Обыватели не знали ничего ни о недавнем либерализме Феденьки, ни о настоящем его умоисступлении. Они как ни в чем не бывало продолжали есть пироги (а в случае неимения таковых, довольствовались и хлебом из лебеды), платить дани, жениться и посягать. Это было до такой степени необыкновенно, что даже Волохов удивился, он, который некогда выразился, что таких курицыных детей, как обыватели Навозного, всяко возродить можно. Ясно было, что большинство находится в том завидном положении, когда оно, ни в каком случае, ни от каких перемен ни выиграть, ни проиграть ничего не может.

Собственно говоря, от легкомыслия Феденьки пострадали только навозные либералы. Из них многие подверглись расточению, а многие распоролы себе животы, предпочтя напрасную смерть постыдному «фюить!», которое раздавалось в их ушах, непрерывно угрожая их существованию. Но, во-первых, в глазах большинства это были единичные жертвы, от исчезновения которых городу было ни тепло, ни холодно, а во-вторых, Феденька старался своим преследованиям придать характер борьбы с безверием и непризнанием властей. А так как обыватели Навозного искони боялись вольнодумства пуще огня, то они не только не обращали внимания на вопли жертв, но, напротив, хвалили Феденьку и подстрекали его к новым подвигам.

Казалось, однако ж, что было одно обстоятельство, которое не могло не тронуть навозенцев. Как сказано выше, Феденька возвел теорию фатализма до такой крайности, что не хотел ни пожаров тушить, ни принимать мер против голода и повальных болезней. Это уж слишком близко касалось навозных животов, чтобы не произвести в них некоторого переполоха. Но на деле оказалось, что теория, до которой Феденька додумался лишь трудным процессом либеральных разочарований, была во все времена основанием всех верований обывателей, всей их жизни. Исстари они безропотно помиралы, исповедуя, что против беды да попущения, как ни мудрствуй, ничего не поделаешь. Исстари повелось у них так, что сегодня человек пироги с начинкой ест, а завтра он же, под окнами у соседей, куски выпрашивает. При всем своем простодушии, Феденька отлично постиг это свойство навозенцев. Он понял, что если край будет и вконец разорен вследствие набегов Ноздрева и Держиморды, то у него все-таки останется мужицкая спина, которая имеет свойство обрастать гуще и пушистее по мере того, как ее оголяют.

Итак, и Феденька, и Навозный край зажили на славу, проклиная либералов за то, что они своим буйством накликали на край различные бедствия. Сложилась даже легенда, что бедствия не прекратятся, покуда в городе существует хоть один либерал, и что только тогда, когда Феденька окончательно разорит гнездо нечестия, можно будет не страховать имуществ, не удобрять полей, не сеять, не пахать, а только наполнять житницы...

Зиждитель

Первые дни великого поста. Город словно в трауре. На дворе оттепель, туман, слякоть,

капель. Афиш нет.

Куда идти? что делать? Сходил бы в департамент потолковать о назначениях, перемещениях и увольнениях, но знаю, что после бешеных дней масленицы чиновники сидят на столах, болтают ногами, курят папиросы, и на лицах их ничего не написано, кроме: было бы болото, а черти будут. Сходил бы в редакцию «нашей уважаемой газеты» покалякать, какие стоят на очереди реформы, но не дальше как час тому назад получил от редактора записку: «Приходить незачем; реформ нет и не будет; калякать не об чем». Сходил бы, наконец, в дом бывшего откупщика, а ныне железнодорожного деятеля, у которого каждодневно, с утра до ночи, жуируют упраздненные полководцы и губернаторы, посмотрел бы, как они поглощают предоставленную им гостеприимным хозяином провизию, послушал бы, как они костят современных реформаторов, но пост и на этот храм утех наложил свою руку. По крайней мере, давеча, совершая утреннюю прогулку, я встретил одного из «упраздненных», который, поспешая в церковь к часам, на ходу скороговоркой сказал мне:

– Сегодня к Моисею Соломонычу – ни-ни! Говеет. Кроме чесноку и фасоли – ничего! В этаком-то доме!

Идти, стало быть, некуда. Дома тоже оставаться незачем. Читать – нечего, писать – не о чем. Весь организм поражен усталостью и тупым безучастием ко всему происходящему. Спать бы лечь хорошо, но даже и спать не хочется.

Сажусь, однако, беру первую попавшуюся под руку газету и приступаю к чтению передовой статьи. Начала нет; вместо него: «Мы не раз говорили». Конца нет; вместо него: «Об этом поговорим в другой раз». Срединка есть. Она написана пространно, просмакована, даже не лишена гражданской меланхолии, но, хоть убей, я ничего не понимаю. Сколько лет уж я читаю это «поговорим в другой раз»! Да ну же, поговори! – так и хочется крикнуть...

Я с детских лет имею вкус к русской литературе. Всегда был усердным читателем, и, могу сказать по совести, даже в то время, когда цензор одну половину фразы вымарывал, а в остальную половину, в видах округления, вставлял: «О ты, пространством бесконечный!» – даже и в то время я понимал. Отсеку, бывало, одно слово, другое от себя прибавлю – и понимаю. Но именно нынче возник у нас особенный отдел печатного слова, который решительно ничего не возбуждает во мне, кроме ропота на провидение. Это отдел передовых газетных статей. Читаю, читаю – и ничего ухватить не могу. Только что за что-нибудь ухвачусь, – глядь, уж пропало. Точно сквозь сито так и льется, так и исчезает...

Прежде у нас не было ни гласных судов, ни земских учреждений, но была цензура. При содействии цензуры литература была вынуждаема отсутствием своих собственных политических и общественных интересов вымещать на Луи-Филиппе, на Гизо, на французской буржуазии и т. д. Несмотря на это, писали не только понятно, но даже занятно. Как ни слаба была связь между мной и Луи-Филиппом, но мне было лестно, что русская журналистика не одобряет его внутренней политики. В внушениях, делаемых Гизо, я видел известное мирозерцание; я толковал себе их так: уж если Гизо так проштрафился, то что же должно сказать о действительном статском советнике Держиморде? И вот, вместе с организаторами февральских банкетов, я кричал: *a bas Louis-Philippe! a bas Guizot!*¹¹¹ кричал искренно и горячо, хотя лично ничего от того не выигрывал, что Луи-Филипп был 24 февраля 1848 года уволен без прошения в отставку. Выигрывал не я, а мое мирозерцание, выигрывали те политические и общественные идеалы, к которым я себя приурочивал.

Теперь у нас существуют всевозможные политические и общественные интересы. Все дано нам: и гласный суд, и земские учреждения, а сверх того многое оставлено и из прежнего. Тут-то бы и поговорить. По поводу одного порадоваться, по поводу другого излить гражданскую скорбь. Ведь дело идет уж не о дотации герцога Немурского (напели мы за нее порядком Луи-Филиппу в свое время!), а о собственной нашей дотации, в форме гласностей, устностей и т. п. А между тем никто ничему не радуется, никто ни о чем не

¹¹¹ Долой Луи-Филиппа! долой Гизо! (*фр.*)

печалится. Как будто бы никаких дотаций и не бывало. Спыхватился было г. Головачев, издал книгу «Десять лет реформ»... целых десять лет! Но и он никого не утешил и не опечалил, а многих даже удивил.

– Видели, под стеклом «Десять лет реформ» стоят? – изумляясь, спрашивали одни.

– Какие «Десять лет реформ»? когда? зачем? – изумлялись в ответ другие.

И только.

Словом сказать, вкус к французской буржуазии пропал, а надежда проникнуть, при содействии крестьянской реформы, в какую-то таинственную суть – не выгорела. И остался русский человек ни при чем, и не на ком ему свое сердце сорвать. В результате – всеобщая, адская скука, находящая себе выражение в небывалом обилии бесформенных общих фраз. Ничего, кроме азбуки, в самом пошлом, казенном значении этого слова. Менандр проводит мысль, что надо жить в ожидании дальнейших разъяснений. Агатон возражает, что жить в ожидании разъяснений не штука, а вот штука – прожить без всяких разъяснений. А бедный дворянин Никанор идет еще дальше и лезет из кожи, доказывая, что в таком обширном государстве, как Россия, не должно быть речи не только о «разъяснениях», но даже о «неразъяснениях» и что всякому верному сыну отечества надлежит жить да поживать, да детей наживать. И все это говорится с сонливою серьезностью, говорится от имени каких-то «великих партий», которые стоят-де за «нами» и никак не могут поделить между собою выеденного яйца.

Скучное время, скучная литература, скучная жизнь. Прежде хоть «рабы речи» слышались, страстные «рабы речи», иносказательные, но понятные; нынче и «рабых речей» не слышать.

Я не говорю, чтоб не было движения, – движение есть, – но движение докучное, напоминающее дерганье из стороны в сторону.

Представьте себе человека, который сидит в наглухо запертом экипаже и дремлет. Сквозь дремоту он чувствует, что и не едет, и на месте путем не стоит, но что есть какое-то дерганье, которое поминутно беспокоит его. До него доносится говор, людские шаги, постукиванье, позвякиванье, и все это смутно, все попеременно то смолкает, то опять возобновляется. Вот и опять что-то дернуло, и опять, и опять. Вот и дремота, наконец, соскакивает с путника – зачем? Ведь и придя в себя, он становится лицом к лицу все-таки не с действительностью, а с загадкой. Что случилось? что означает это дерганье? Предвещает ли оно движение или бессрочную остановку на месте? Приехали ли куда-нибудь? Хоть не туда, куда ехали, а туда, откуда выехали?

Все эти вопросы остаются без ответа, потому что кругом темнота, а впереди ничего, кроме загадки. В таком безнадежном положении можно волноваться вопросами только сгоряча, но раз убедившись, что никакие волнения ни к чему не ведут, остается только утихнуть, сложить руки и думать о том, как бы так примоститься, чтобы дерганье как можно меньше нарушало покой. Разумеется, существуют люди, которые и в подобных положениях не могут не оболящаться, что вот-вот сейчас разбудят и скажут: приехали! Но спрашивается, что же тут хорошего? Ну, приехали! Куда приехали? – ведь наверное куда-нибудь в чулан, в котором царствуют сумерки, и среди этих сумерек бестолково мятется людской сброд. В движениях этого сброда замечается суэта, на лицах написано непонятие. Толкутся, дерутся, рвут друг у друга куски... сами не знают, зачем рвут. Нет, как хотите, а лучше замереть: может быть, как-нибудь оно и пройдет, проползет это странное время.

До того смякла, понизилась жизнь, что даже административное творчество покинуло нас. То творчество, которое обязательно переходит через весь петербургский период русской истории. По крайней мере, после лучезарного появления на арене административной деятельности контрольных чиновников, удостоверявших, что так называемая «современная ревизия отчетностей» должна удовлетворить самых требовательных русских конституционалистов, я просто ни на каких новых административных пионеров указать не могу.

Вспомните прежних финансистов, статистиков, судей! Какою бездной талантливости

должны были обладать эти люди! ведь они являлись на арену деятельности не только без всяких приготовлений, но просто в чем мать на свет родила, однако и за всем тем все-таки умели нечто понимать, нечто сказать, рассуждать, выслушивать, говорить. вспомните, наконец, прежних помпадуров! Приедет, бывало, помпадур в предоставленный ему край и непременно что-нибудь да сделает: либо дороги аллеями обсадит, либо пожарную трубу выпишет, либо предпишет разводить картофель...

Была пытливость, была потребность игры ума. Не знания, а именно игры ума. Сверх того, была потребность воспрославить свое имя... хоть покупкою шрифта для губернской типографии.

Теперь ни игры ума, ни жажды славы – ничего нет. Ничем не подкупишь человека, ибо все в нем умерло, все заменено словом «фюить!». Но разве это слово! Ведь это бессмысленный звук, который может заставить только вздрогнуть.

Или опять другое модное слово: не твое дело! – разве можно так говорить! Может ли быть что-нибудь предосудительнее этой безнадежной фразы? Не она ли иссушила вконец наше пресловутое творчество? не она ли положила начало той адской апатии, которая съедает современное русское общество и современную русскую жизнь?

Между тем как я таким образом унывал, мне подали карточку, на которой я прочитал: *le comte Serge de Bystritzinn, conseiller d'état président de la Société Economique de Tchoukloma etc. etc.*¹¹²

Сережа Быстрицын принадлежал к той блестящей плеяде моих однокашников, из которой потом вышли: Федя Кротиков, Митя Козелков, Петька Толстолобов и другие помпадуры, с которыми я уже имел случай познакомиться читателя. Но он был совсем в другом роде. В нем не было ни блеска, которым отличался Кротиков, ни дипломатической ловкости, которая составляла характеристическую черту деятельности Козелкова. Еще на школьной скамье это был ребенок скромный, чистенький, хозяйственный и солидный. Сидит, бывало, на своем месте и все над чем-то копается. Или кораблик из бумаги делает, или домик вырезывает, или стругает что-нибудь. Спросишь его:

– Зачем ты, Сережа, всё кораблики делаешь?

Он солидно и рассудительно ответит:

– А может быть, и понадобятся!

Таким образом наделал он этих корабликов видимо-невидимо, и мы, легкомысленные дети, признаться, даже подшучивали над ним, что это он новый флот на место черноморского строит. Но воспитатели наши уже тогда угадывали в нем будущего хозяина и организатора.

– *Oh, celui-là ne perdra pas la tête, comme vous autres, êtes remplies de foin!* – говаривал, бывало, мосьё Баратель, – *faites le passer par toutes les reformes que vous voudrez, il en sortira a son avantage!*¹¹³

И действительно, по выходе из школы он не устремился, подобно прочим товарищам, на поиск немедленной карьеры, но удалился в свою чухломскую деревню и там, чтобы не терять права на получение чинов, пристроился к месту почетного смотрителя уездного училища. Здесь, тихими, но верными шагами, он достигал того, что другими было достигнуто быстро, при помощи целования плечиков, посещения Дюссо и заведения искусственных минеральных вод. Я не знаю, что собственно делал Сережа, сидя в деревне, но думаю, что он, по обыкновению своему, клеил, вырезывал и строгал, потому что

¹¹² Граф Сергей Быстрицын, статский советник, председатель Чухломского экономического общества и пр. (*фр.*).

¹¹³ О, этот не потеряет головы, как вы, у которых головы набиты сеном! пропустите его через какие вам угодно реформы – он выйдет из них с пользой для себя! (*фр.*)

крестьянская реформа не только не застигла его врасплох, как других, но, напротив того, он встретил ее во всеоружии и сразу сумел поставить свое хозяйство на новую ногу. Этого мало: примером своим он заразил нескольких молодых чухломцев и успел организовать из них общество, имевшее целью возрождение чухломского хозяйства. Этого было достаточно, чтобы составить ему и его уезду какую-то полуфантастическую хозяйственно-организаторскую репутацию. Чухломцы были замечены. Некоторые из них скоро вынырнули из чухломских болот и успели занять хорошие административные положения, поговаривали о школе чухломских администраторов, которая с удобством должна была заменить другую школу администраторов, не имевшую за душой ничего, кроме «фюить». «Чухломцы всё сделают! – говорилось в петербургских гостиных, – они и земледелие возродят, и торговлю разовьют, и новые породы скота разведут, и общественное спокойствие спасут!» Но Сережа, этот прототип чухломца-организатора, все еще упорно сидел в Чухломе и нимало даже не завидовал более прытким чухломцам, которые спешили ковать железо, пока оно горячо. Он ждал с нетерпением, ибо знал, что чаша сия не минет его. И действительно, по мере того как прочие организаторы-чухломцы, рассеянные по лицу земли и недостаточно выдержанные, постепенно изнемогали в борьбе с недоимками, Сережа все прочнее и прочнее устраивал свое положение. Наконец слава его достигла таких размеров, что нельзя уж было больше терпеть. Что-нибудь одно: или услатить его туда, куда Макар телят не гонял, или призвать и сказать: на! возрождай!

Это было что-то невероятное, фантастическое. Говорили, будто, занимаясь рыбоводством, он дошел до того, что скрестил налима с лещом, и что от этого произошла рыба, соединившая маслянистую тешку леща с налимьей печенкою. Потом начал ходить слух, что он утилизировал крапиву, начал выделять из нее поташ, который и рассылает теперь во все страны света. В довершение всего, пришло достоверное известие, что у него на скотном дворе существует бык, который, по усмотрению своего владельца, может быть родоначальником и молочной, и мясной породы. Эти скромные, но полезные для человечества деяния до такой степени выгодно выделялись из целой цепи деяний легкомысленных и бесплодно-возмутительных, что не обратить на них внимания было невозможно.

– Слышали: Быстрицын?

– Изумительно!

– Да, батюшка, это... организатор! Это не свистун! Это настоящий, действительный помпадур-хозяин! Такой помпадур, каких именно в настоящее время требует Россия!

И он был призван...

Приехавши в Петербург, он мне первому сообщил о сделанных ему предложениях, но сообщил застенчиво и даже с оттенком опасения, что у него не достанет сил, чтоб оправдать столько надежд. Как истинный чухломец, он был не только скромн, но даже немножко дик («un peu farouche», как говорит Федра об Ипполите), и мне стоило большого труда ободрить его.

– Посмотри на Кротикова, на Толстолобова! – говорил я ему, – ведь это разве люди!

– Кротиков и Толстолобов, – отвечал он, – это администраторы по призванию. Это герои минуты. Их совесть может оставаться спокойною, если у них даже ничего за душой нет, кроме «фюить». Но я, понимаешь ты, – я хозяин! Я должен, ты понимаешь – *должен* создать, организовать, устроить. Наши чухломцы уже сделали нечто в этом смысле, но, признаюсь, я не совсем доволен ими. Они еще недостаточно освободились из-под гнета недоимок. Но я... я не могу ограничиться этим! Я не имею права хвастаться тем, что взыскал столько-то тысяч недоимок! Я могу хвалиться только тем, что ничего не взыскал... потому что у меня никаких недоимок нет и не может быть!

Тем не менее он уступил моим настояниям, то есть хотя и поломался немного, но принял. И справедливость требует сказать, что скромность не только не повредила ему, но даже еще рельефнее выставила его организаторские способности. Не имея за себя ни громких воспоминаний о совместном посещении заведения искусственных минеральных

вод, ни недавних впечатлений совместного собутыльничества у Дюссо, без малейшего посредничества Камиль де Лион, Лотар или Бланш Вилэн, просто, естественно явился он на суд – и сейчас же сделался героем дня. Все стремились видеть его, все расспрашивали, каким образом он сумел достигнуть таких изумительных результатов; все поняли, что даже те бойкие чухломцы, которых организаторским способностям еще так недавно удивлялись, – и те, в сравнении с ним, не больше как ученики и провозвестники. Что настоящий, заправский чухломец – это он, это граф Сергей Васильевич Быстрицын!

Он вошел ко мне во всей форме, взволнованный. Губы его были сухи, глаза как-то особенно блестели, все лицо сияло восторженностью. Он был очень мил в эту минуту.

– Все кончено! – сказал он, пожимая мне руки, – чаша, которой я так избегал... я уже чувствую прикосновение ее краев к губам моим!

– Куда?

– В Паскудск!

– Исправляющим?

– Нет, настоящим. И с производством в действительные.

Он сжал губы, как будто хотел овладеть полнотою своих чувств.

– Поздравляю! Это шаг!

– Бог, который видит мою совесть, он знает, как я не желал этого шага! Как страшили меня эти почести!. все это мишурное величие!

Он опять сжал губы, но, против воли, глаза его затуманились. Повторяю: он очень был мил!

– Что же делать, мой друг! – утешал я. – Провидение! надо покориться его воле! Тяжел твой венец – я согласен, но надобно нести его! Неси, братец, неси! Ты пострадаешь, зато Паскудск будет счастлив!

– Je le jure!¹¹⁴ – воскликнул он, простирая руку.

Я принял его клятву и, разумеется, счел за долг прочитать приличную этому торжеству предику.

– Помни эту клятву, мой друг! – сказал я, – помни, что говорится про клятвы: раз солгал, в другой солгал, в третий никто уж и не поверит! Ты поклялся, что Паскудск будет счастлив – так и гони эту линию! «Фюить»-то да «не твое дело» бросить надобно!

– Какие дрянные, бессмысленные выражения!

– Да, душа моя, надоели они! до смерти надоели! Лучше совсем ничего не делать, нежели вращать глазами да сквернословить! Испугать обывателя, конечно, не трудно, но каково-то его в чувство потом привести! Дай же мне слово, что ты никогда не будешь ни зрочками вертеть, ни сквернословить... никогда!

– Je le jure!

Мы взялись за руки и несколько минут стояли, смотря друг другу в глаза, как влюбленные.

– Ну, очень рад. И рад не столько за тебя, сколько за Паскудск! – сказал я наконец. – Теперь тебе надобно только великими образцами напитаться. Надеюсь, однако ж, что ты будешь искать этих образцов не в ближайших своих предместниках!

– Jamais!¹¹⁵

– Но в древности бывали помпадурсы, достойные подражания. Я сам знал одного, который, в течение семи лет помпадурства, два новых шрифта для губернской типографии приобрел!

– Mon cher! я уж думал об этом! но все это частности... положим, полезные... а

¹¹⁴ Клянусь! (фр.)

¹¹⁵ Никогда! (фр.)

все-таки частности! Увы! в истории наших помпадурств нет образцов, которыми мы могли бы руководиться! Даже в самых лучших помпадурах творчество имеет характер случайности. Это не зиждители, а заплатных дел мастера. Один сеет картофель, а о путях сообщения не думает, другой обсаживает дороги березками, а не думает о том, что дороги только тогда полезны, когда есть что возить по ним. Читая летопись этих деяний, нельзя не отдавать им справедливости, но в то же время нельзя не чувствовать, что все это опыты, делавшиеся, так сказать, ощупью. Никто не смотрит вглубь, никто не видит корня. Многие, например, прославились тем, что взыскали целую массу недоимок...

– Взыскали массу недоимок! как ты, однако ж, легко об этом говоришь!

– Да, но прежде нежели удивляться этому подвигу, спроси себя: что такое недоимки и откуда они? Недоимки и благоустроенное хозяйство – разве это понятия совместимые? Разве слово «недоимки» может быть допущено в сколько-нибудь приличном административном лексиконе! Россия – и недоимки! Эта бесконечная карта, на неизмеримом пространстве которой человек на каждом шагу попирает неисчерпаемые богатства – и какой-нибудь миллион, два миллиона, три миллиона недоимок! *Quelle misere!*¹¹⁶ Какое горькое, оскорбительное сопоставление!

Я знал, что это основной тезис чухломской школы. Развитие творческих сил народа с целью столь беспрепятственного взыскания податей и сборов, которое исключало бы самое понятие о «недоимке»; изыскание новых источников производительности, в видах воспособления государственному казначейству, и, наконец, упразднение военных экзекуций, как средства, не всегда достигающего цели и притом сопряженного с издержками для казны, – вот вся сущность чухломской конституции. Но никогда я не слышал ее высказанною с такою бесповоротною определенностью!

– Если б начальство могло слышать тебя, *Serge!* как бы оно порадовалось! – сказал я.

– Все это я уж объяснил кому следует. И что всего удивительнее, все слушали меня, как будто я рассказываю какие-то чудеса!

– Как же не чудеса! Помилуй! Жизнь без недоимок! отсутствие экзекуций! новые источники! Каких еще больше чудес!

– Никаких чудес нет. Нужно только терпение... и, конечно, немного уменья...

– *Aves beaucoup de patience et...*¹¹⁷ знаю! Но ведь, говорят, ты в имени своем действительно устроил что-то необыкновенное!

– Ничего необыкновенного. Никаких чудес. Я работал и был так счастлив, что некоторые из моих опытов дали результаты... поразительные! Вот и все.

– Например, помесь налива и леща... *parlez-moi de ça!*¹¹⁸

– Ну да, это так. Это опыт удачный. Но сам по себе он не имеет еще большого значения. Он важен... он действительно важен... но лишь в связи с другими подобными же опытами, долженствующими дать совершенно новые основания нашей сельской жизни. Рыбоводство, скотоводство, свиноводство, садоводство – *tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde!*¹¹⁹ А моя система – это именно целый мир!

– Рыбоводство, скотоводство... и тут же рядом, так сказать, во главе всего... помпадурство! Как ты соединишь это? Каким образом устроишь ты так, чтоб помпадурство не препятствовало скотоводству, и наоборот?

– Ничего нет проще. Стоит только сказать самому себе: надо делать совершенно

¹¹⁶ Какое жалкое зрелище! (*фр.*)

¹¹⁷ С большим запасом терпения и... (*фр.*)

¹¹⁸ Вот это штука! (*фр.*)

¹¹⁹ Все переплетено, все связано в этом мире! (*фр.*)

противоположное тому, что делают все прочие помпадур, – и результаты получатся громадные. Пойми меня, душа моя. Большинство помпадуров главной целью своей деятельности поставило так называемую внутреннюю политику. Они ничего другого не признают, кроме войны, ничем другим не занимаются, кроме пререканий с обывателями. Вследствие этого они предпринимают более или менее отдаленные походы, производят экзекуции, расточают, разгоняют и в довершение всего беспокоят начальство донесениями. Понятно, что при таких условиях скотоводство не может процветать. Я же, напротив того, прежде всего говорю себе: никакой внутренней политики нет и не должно быть! Все это вздор, потому что не существует даже предмета, против которого эта политика могла бы быть направлена.

– Ну, это ты, кажется, уж через край хватил!

– Напротив того, и если ты последуешь за мной в развитии моей мысли, ты, конечно, согласишься со мной. Итак, *raisonnons*.¹²⁰ Обозревая *a vol d'oiseau*¹²¹ население какого бы то ни было края, что мы видим? Во-первых, мы видим сотни, тысячи, сотни тысяч, миллионы, целое море мужиков! Спрашиваю тебя: если я буду истреблять посредством внутренней политики мужиков – кто будет платить подати? кто будет производить то, без чего я, как человек известных привычек, не могу обойтись? кто, наконец, доставит материал для целой статистической рубрики под названием: «движение народонаселения»! Но этого мало; скажу тебе по секрету, что наш мужик даже не боится внутренней политики, потому что не понимает ее. Как ты его ни донимай, он все-таки будет думать, что это не «внутренняя политика», а просто божеское попущение, вроде мора, голода, наводнения, с тою лишь разницею, что на этот раз воплощением этого попущения является помпадур. Нужно ли, чтоб он понимал, что такое внутренняя политика? – на этот счет мнения могут быть различны; но я, с своей стороны, говорю прямо: берегитесь, господа! потому что как только мужик поймет, что такое внутренняя политика – *n-i-ni, c'est fini!*¹²²

– Гм... да... пожалуй, что это и так. Сказывают, и шах персидский тоже такое мнение высказал. Говорят, что когда его в Париже спросили, какая страна ему больше понравилась, то он ответил: *Moi... Russie... politique jamais!.. hourra toujours... et puis*¹²³ айда! И так это, сказывают, Мак-Магонше понравилось, что она тут же выразилась: и у нас, говорит, ваше величество, к будущему приезду вашему то же будет!

– Ну вот, видишь ли! Но продолжаю. Во-вторых, среди моря мужиков я вижу небольшую группу дворян и еще меньшую группу купцов. Если я направлю внутреннюю политику против дворян – кто же будет исправлять должность опоры? с кем буду я проводить время, играть в ералаш, танцевать на балах? Ежели я расточу купцов – у кого я буду есть пироги? Остается, стало быть, только одно, четвертое сословие, которое могло бы быть предметом внутренней политики, – это сословие нигилистов.

– *Enfin, nous y voilà!*¹²⁴

– Я знаю, что это самое чувствительное место современной администрации и что, собственно говоря, все доказательства необходимости внутренней политики зиждутся на нигилистах. Но будем же рассуждать, душа моя. Что такое нигилист? – спрашиваю я. Нигилист – это, во-первых, человек, который почему-либо считает себя неудовлетворенным,

¹²⁰ Давай рассудим (*фр.*) .

¹²¹ С птичьего полета (*фр.*) .

¹²² Кончено! (*фр.*)

¹²³ Я... Россия... политика никогда!.. ура всегда... а потом... (*фр.*)

¹²⁴ Ну, началось! (*фр.*)

во-вторых, это человек, который любит отечество по-своему и которого исправник хочет заставить любить это отечество по-своему. И вот этого-то человека избирают предметом внутренней политики. Какое странное заблуждение!

– Однако ж, мой друг!

– Заблуждение – и более ничего! Я, по крайней мере, отношусь к этому делу совершенно иначе. Поверишь ли, когда я вижу человека неудовлетворенного, то мне никакой другой мысли в голову не приходит, кроме одной: этот человек неудовлетворен – следовательно, надобно его удовлетворить!

– Но ведь они сто тысяч голов требуют... ah! c'est très grave ça!¹²⁵

– Сплетни, мой друг. У меня один нигилист поташным заводом заведовал (mais un nigiliste pur sang, mon cher!¹²⁶), так я с ним откровенно об этом говорил: «Правда ли, спрашиваю, господин Благодосклон, что вы сто тысяч голов требуете?» – «Никогда, говорит, ваше сиятельство, этого не бывало!..» И я верю ему, потому что этот человек, зная мой образ мыслей, конечно, не скрыл бы от меня, если бы было что-нибудь похожее. Но есть люди, для которых нигилисты, конечно, чистый клад: это соборные протоиереи и исправники. У нас в городе соборный протоиерей и до сих пор каждое воскресенье в проповеди полемизирует с нигилизмом. Или вот на днях исправник у нас весь уезд обшарил, все нигилистов отыскивал...

– Итак, ты совершенно отвергаешь внутреннюю политику?

– Да, совершенно. Это исходный пункт моей программы. Иссушать и уничтожать только болота, а прочее все оплодотворять. Это, коли хочешь, тоже своего рода внутренняя политика, но политика созидающая, а не расточающая. Затем я приступаю ко второй половине моей программы и начинаю с того, что przygotowляю почву, необходимую для будущего сеяния, то есть устраняю вредные элементы, которые могут представлять неожиданные препятствия для моего дела. Таких элементов я главнейшим образом усматриваю три: пьянство, крестьянские семейные разделы и общинное владение землей. Вот три гидры, которые мне предстоит победить. Прежде всего, разумеется, – пьянство, как противник, пользующийся особенной популярностью. Но ты позволишь мне, вместо дальнейших объяснений, прочесть уже заготовленный мною по этому предмету циркуляр.

Быстрицын порылся в кармане своего мундира и вытащил из него бумажку, которую он, очевидно, показывал уж не мне первому.

«Ввиду постоянно развивающегося пьянства, я считаю долгом изложить вам мой взгляд на сей важный предмет, – начал он. – Но прежде всего я чувствую потребность надлежащим образом установить точку зрения, на которой вы должны стоять при чтении настоящего циркуляра. Я отнюдь не намерен настаивать на полном изъятии водки из народного употребления. Кроме того, что эта задача мне непосильная, я очень хорошо понимаю, что в нашем суровом климате совершенно обойтись без водки столь же трудно, как, например, жителю пламенной Италии трудно обойтись без макарон и без живительных лучей солнца, а обитателю более умеренной полосы, немцу – без кружки пива и колбасы. Водка полезна во многих случаях – я это знаю. Во-первых, при согретии окоченевших на холоде членов, во-вторых, при угощении друга, в-третьих, при болезнях. Кто не знает целительных свойств рижского бальзама и водок, на манер одного выделяемых? Кому не известны водки: полынная, желудочная, анисовая, перцовая и, наконец, архиерейский настой?! Рюмка, выпитая перед обедом, помогает пищеварению; точно так же рюмка и даже две, выпитые в обществе хороших знакомых, ободряют дух человека, делают его склонным к дружеству и к веселому излиянию чувств. Общежитие без водки – немыслимо. И конечно, тот может почесть себя истинно счастливым, кто знает, на какой рюмке ему остановиться,

¹²⁵ Ах, это так ужасно! (фр.)

¹²⁶ Нигилист чистых кровей, мой дорогой! (фр.)

или, лучше сказать, кто рядом прозорливых над собой наблюдений сумел в точности определить, после какой счетом рюмки он становится пьян. Но, к сожалению, свойственная человеку самонадеянность не всякому позволяет достигнуть сего желательного для преуспеяния народной нравственности результата.

Вот об этой-то последней, *пьяной*, рюмке и намерен я беседовать с вами.

Где, в каком притоне, в каком товариществе человек находит сию пагубную для него рюмку? Дома он не найдет ее, ибо здесь его остановит заботливая рука жены, умоляющие взоры воспитанных в страхе Божиим детей и, наконец, благожелательный совет друга. В гостях он тоже не найдет ее, ибо тут его остановит простое чувство приличия. Очевидно, стало быть, что он найдет ее в таком убежище, за порогом которого оставляется не только чувство приличия, но и воспоминание о семейном очаге и его радостях. Это мрачное убежище – должен ли я называть его? – это кабак! Здесь отец семейства, выпив пагубную рюмку, потребует еще пагубнейшей и затем, заложив сперва сапоги, потом шубу, незаметно утратит уважение к самому себе. Здесь мать семейства, выведенная из терпения безобразным видом упившегося мужа, начинает собственноручно расправляться с ним в виду плачущих и недоумевающих детей. Здесь едва вышедший из колыбели ребенок уже притворяется пьяным и ломается в угоду развратной толпе.

Вот мрачная картина пьянства и тех безобразных вертепов, в которых оно производится. Надеюсь, что ее достаточно, чтоб возбудить в людях благонамеренных отвращение и даже тошноту. А потому и имея в виду, что пьянство, сверх всего вышеизложенного, есть главная причина недоимок...»

– Ну, там, как обыкновенно: следить, наблюдать, увещевать и т. д. Ну, как по-твоему? убедительно?

– Превосходно! Особливо об этой рюмке... Я, брат, сам это на себе испытал! Пьешь-пьешь иногда – и все ничего; и вдруг – эта рюмка! Так вот словно и скосит тебя! Только я, признаться, думаю, что не в одном кабаке можно эту рюмку найти. Вот я, например: в кабаке не бывал, а эту рюмку знаю!

– Еще бы! а я-то?! Но ведь мы... на нас ведь недоимок нет, да и время у нас свободное – кому до нас надобность! Ну, а мужик – *c'est autre chose!*¹²⁷

– Да, брат, мужик – это точно, что *autre chose*. Ему нельзя эту рюмку знать, потому что, кроме того что рюмка сама по себе денег стоит, она еще и расчеты его все запутывает. Ему, например, чем свет встать надо, рожь на базар везти, а у него голова трещит. Ему санишки изладить нужно, а у него руки дрожат, он вместо полоза-то – по руке себя топором тянул!.. Да, мужик – это именно *autre chose!* За ним еще как за ребенком ходить надобно, чтоб он, значит, в непрестанных физических трудах находился... тогда, и только тогда, он об этой рюмке забудет!

– Вот это-то именно я и желаю внушить своим подчиненным!

– И прекрасно. Ну-с, а теперь далее.

– Далее, я поведу войну с семейными разделами и общинным владением. Циркуляры по этим предметам еще не готовы, но они у меня уж здесь (он ткнул себя указательным пальцем в лоб)! Теперь же я могу сказать тебе только одно: в моей системе это явления еще более вредные, нежели пьянство; а потому я буду преследовать их с большею энергией, нежели даже та, о которой ты получил понятие из сейчас прочитанного мной документа.

В его голосе звучало такое искреннее убеждение, такая несомненная решимость, что мне невольно пришло на мысль: да, если этот человек не попадет под суд, то он покажет, где раки зимуют!

– Послушай, однако ж, мой друг! ведь все это: и семейные разделы, и община, и круговая порука – все это находится под защитой закона! Стало быть, ты хочешь сделаться паскудским законодателем? Но безопасно ли это?

¹²⁷ Это другое дело! (*фр.*)

– Pas de malsaines théories! restons dans la pratique!¹²⁸ Практика в этом случае – самый лучший ответ. Начнем хоть с тебя. Ты вот сидишь теперь у себя в квартире и, уж конечно, чувствуешь себя под защитой закона. И вдруг – фюить! – et vous êtes a mille verstes de votre chez-soi, de vos habitudes, de vos amis, de la civilisation... que sais-je enfin!¹²⁹ Ведь это возможно, спрашиваю я тебя?

– Конечно, оно не невозможно, но...

– Никаких «но»! фюить – и больше ничего! Теперь спрашиваю тебя: ежели я, как помпадур, имею возможность обойти закон ради какого-то «фюить», то неужели же я поцеремонюсь сделать то же самое, имея в виду совершить нечто действительно полезное и плодотворное?

– Да, это так. То есть, коли хочешь, оно и не «так», но уж если допустить в принципе, что можно делать все, что хочешь, то лучше свиней разводить, нежели вращать зрочками. Итак, это решено. Ты исполнил первую половину своей программы, ты разорил кабаки, положил предел семейным разделам, упразднил общину... затем?

– Затем начинается собственно положительная часть моего предприятия. Оплодотворение, орошение, разведение улучшенных пород скота, указание лучших способов возделывания земли и прочее. Тут я уж как у себя дома.

– То есть, как в своем собственном чухломском хозяйстве?

– Да, это будет продолжением моего чухломского хозяйства. Но ты не можешь себе представить, какие поразительные результаты я иногда получал! Вот тебе один пример из множества: в 1869 году я приобрел себе ютландского борова и ютландскую свинью – как ты думаешь, сколько у меня в настоящую минуту свиней?

– Любопытно!

– Слушай же. В 1870 году свинья, в два раза, принесла мне двадцать поросят, в числе их пять боровков, из которых я трех съел...

– Вкусные?

– Масло. Нежность, манность, таяние... rien de plus exquis!¹³⁰ У вас в Петербурге не имеют об этом ни малейшего понятия! Осталось пятнадцать свинок и два боровка. В 1871 году та же свинья дала еще двадцать поросят, из которых семь боровков; пять я съел. В 1872 году у меня было налицо, кроме родичей, двадцать восемь свинок и четыре боровка. В 1872 году весь первый приплод был пущен на племя; старую свинью откормили и зарезали на ветчину; с старым боровом следовало бы поступить так же, но жаль стало: как производитель он неоценим. Я оставил его, comme qui dirait,¹³¹ для усиления департамента: как оставляют старых опытных чиновников. Пятнадцать молодых свинок, подобно матери своей, поросились по два раза и принесли... триста поросят! Из них я съел тридцать пять боровков. К 1873 году числилось: пятнадцать свинок приплода 1870 года и тринадцать – приплода 1871 года и четыре борова (старого борова зарезали) – все это было пущено на племя. Сверх того, на скотном дворе бегало двести тридцать свинок и тридцать пять боровков. В 1873 году результат получен неслыханный: двадцать восемь свинок принесли... шестьсот поросят! Из них продано и зарезано: двадцать свинок и двести поросят. К 1874 году числилось налицо: четыреста поросят и, сверх того, двести тридцать восемь свинок и тридцать один боров, которые все пущены на племя. Что будет в 1874 году – не знаю!

¹²⁸ Никаких нездоровых теорий! останемся на практической почве! (фр.)

¹²⁹ И вы оказываетесь в тысяче верстах от вашего дома, ваших привычек, ваших друзей, от цивилизации... мало ли еще от чего! (фр.)

¹³⁰ Верх изысканности! (фр.)

¹³¹ Так сказать (фр.) .

– Душа моя! – испугался я, – но ведь таким образом можно весь шар земной покрыть свиньями!

– И можно бы, если б этому не препятствовал нож и человеческая плотоядность! Но представь себе этот результат в применении к народному хозяйству! Представь себе его, как одно из многочисленных административных средств, находящихся в моих руках... Какой могущественный рычаг!

Он умолк, но лицо его говорило красноречивее слов. Все оно сияло мягким, благожелательным сиянием, все было озарено мыслью: это по части свиней, затем пойдут коровы, овцы, лошади, куры, гуси, утки! Я, с своей стороны, тоже молчал, потому что мною всецело овладела мысль: сколько-то будет свиней у Быстрицына в 1900 году? С каким свиным багажом он закончит девятнадцатое и вступит в двадцатое столетие нашей эры?

– И какой навоз! – продолжал он вдохновенно, – почти солдатский! Ведь это осуществление той мечты, которая не дает спать истинному хозяину!

– Итак, ты начнешь свою деятельность в Паскудске с разведения свиней?

– Желал бы; но, к сожалению, должен сознаться, что это мера слишком радикальная. *Za prôte trop au calembour.*¹³² Поэтому я начну с племенных быков. На первый раз я брошу в обращение по одному на каждую волость: это немного, но ты увидишь, какие они наделают чудеса! Да, мой друг! Мир экономический – это мир чудес по преимуществу.Пусти в народное обращение какого-нибудь симментальского быка – и через десять лет ты не узнаешь местности. Природа, люди – все будет другое. На место болот – цветущие луга, на место обнаженных полей – обильные пажити...

– Изумительно!

– Говорю тебе: это целый мир волшебств!

– Но на чьи же деньги приобретешь ты симментальских быков?

– Га! Это уж они сами! Мой долг подать совет и наблюдать, чтоб он был выполнен, а деньги – это они сами.

– Разумеется! Твой долг – указать, их долг – исполнить!

– Добровольно, *mon cher*, добровольно! Моя система не требует принуждений! Я являюсь на сход лично и объясняю...

– Ты! помпадур! на сходе... и лично!

– Да, душа моя, лично! Я забываю все это мишурное величие и на время представляю себе, что я простой, добрый деревенский староста... Итак, я являюсь на сход и объясняю. Затем, ежели я вижу, что меня недостаточно поняли, я поручаю продолжать дело разъяснения исправнику. И вот, когда исправник объяснит окончательно – тогда, по его указанию, составляется приговор и прикладываются печати... И новая хозяйственная эра началась!

– Прелесть! Мне остается удивляться только одному: как это до сих пор тебя проглядели! Как дозволили тебе хоть одну лишнюю минуту прозябать в Чухломе!

В ответ на это Быстрицын усмехнулся и посмотрел на меня так мило и так любовно, что я не удержался и обнял его. Обнявшись, мы долго ходили по комнатам моей квартиры и всё мечтали. Мечтали о всеобщем возрождении, о золотом веке, о «курице в супе» Генриха IV, и, кажется, дошли даже до того, что по секрету шепнули друг другу фразу: *a chacun selon ses besoins.*¹³³

– А начальство? развивал ли ты перед ним свои мысли? – спросил я, когда мы вдоволь намечтались.

– В восхищении!

– Ну и слава Богу!

¹³² Это слишком напрашивается на каламбур (*фр.*) .

¹³³ Каждому по его потребностям (*фр.*) .

Словом сказать, я так приятно провел время, как будто присутствовал на первом представлении «La Belle Hélène». ¹³⁴ Согласитесь, что для первой недели великого поста это очень и очень недурно!

Но друг мой, Глумов, сумел-таки разрушить мое очарование.

По обыкновению, он вошел ко мне мрачный. Мимоходом пожал мне руку, бросил на стол картуз, уселся на диван и угрюмо закурил папиросу.

– А у меня сейчас Быстрицын был, – сказал я, – он в Паскудск помпадуром едет!

– Скатертью дорога!

– Послушай! Ведь ты знаешь, что он последователь или, лучше сказать, основатель той чухломской школы помпадуров-зиждителей, которая...

– Знаю.

– Ну, так он рассказывал мне свой план действий. Ах, это очень серьезно, очень-очень серьезно, что он задумал!

– Например?

– Вообрази себе, прежде всего он хочет уничтожить пьянство; потом он положит предел крестьянским семейным разделам и, наконец, упразднит сельскую общину... Словом сказать, он предполагает действовать *a la Pierre le Grand*... ¹³⁵ Изумительно, не правда ли?

– То есть упразднить и уничтожить *a la Pierre le Grand*; а что же он, вместо всего этого, *a la Pierre le Grand* заведет?

– Полеводство, птицеводство, скотоводство... *mais tout un système!* ¹³⁶ Все это они в Чухломе надумали. Вообрази, он в 1869 году приобрел для себя ютландского борова и ютландскую свинью, и как ты думаешь, сколько у него теперь свиней?

– Почем мне знать!

– В 1874 году его свиное стадо заключало в себе двести тридцать восемь свиней, тридцать одного борова и четыреста поросят. Это в пять лет – от одной пары родичей! И заметь, что стадо было бы вдвое многочисленнее, если б он отчасти сам не ел, а отчасти не продавал лишних поросят. Каков результат!

– Ничего, результат важнецкий... хоть бы Коробочке! Только ведь Коробочка *a la Pierre le Grand* не действовала, с Сводом законов не воевала, общин не упраздняла, а плодила и прикапливала, не выходя из той сферы, которая вполне соответствовала ее разумению!

Удивительный человек этот Глумов! Такое иногда сопоставление клеит, что просто всякую нить разговора потеряешь с ним. Вот хоть бы теперь: ему о *Pierre le Grand* говоришь, а он ни с того ни с сего Коробочку приплел. И это он называет «вводить предмет диспута в его естественные границы»! Сколько раз убеждал я его оставить эту манеру, которая не столько убеждает, сколько злит, – и все не впрок.

«Мне, говорит, дела нет до того, что дурак обижается, когда вещи по именам называют! Да и какой прок от лганья! Вот навоз испокон века принято называть „золотом“, а разве от этого он сделался действительным золотом!» И заметьте, это человек служащий, то есть докладывающий, представляющий на усмотрение, дающий объяснения, получающий чины и кресты и т. д. Как он справляется там с своими сопоставлениями! Правда, он иногда говаривал мне: «На службе, брат, я все пять чувств теряю», – но все-таки как-то подозрительно! Как ни зажимай нос, а очутишься с начальством лицом к лицу, волей-неволей обонять придется!

¹³⁴ «Прекрасная Елена» (фр.) .

¹³⁵ Подобно Петру Великому (фр.) .

¹³⁶ Ну, целая система! (фр.)

– Ну, с какой стати ты Коробочку привел? – упрекнул я его, – я сказал, что Быстрицын намеревается действовать *a la Pierre le Grand*... Положим, что я употребил выражение несвойственное, даже преувеличенное, но все-таки...

– Нимало не преувеличенное. У нас нынче куда ни обернись – всё Пьер ле Граны! дешевле не берут и не отдают. Любой помпадур ни о чем ином не думает, кроме того, как бы руку на что-нибудь наложить или какой-нибудь монумент на воздух взорвать. И всё а-ля Пьер ле Гран. Летит, братец, он туда, в «свое место», словно буря, «тьма от чела, с посвиста пыль», летит и все одну думу думает: разорю! на закон наступлю! А-ля Пьер ле Гран, значит. А загляни-ка ты ему в душу: для какой такой, мол, причины ты, милый человек, на закон наступить хочешь – ан у него там ничего нет, кроме «фюить» или шального «проекта всероссийского возрождения посредством распространения улучшенных пород поросят»!

– Душа моя! у тебя натура художественная, и потому ты слишком охотно преувеличиваешь! Ты даже сам не замечаешь этого, а, право, преувеличиваешь! К чему это странное уподобление буре? К чему эти выражения: «разорю!», «на закон наступлю!»? И это – в применении к Быстрицыну! К Быстрицыну, который, не далее как полчаса тому назад, клялся мне, что вся его система держится на убеждении и добровольном соглашении! К Быстрицыну, который лично – понимаешь! он, помпадур, и лично! – намерен посещать крестьянские сходы! Где же тут «разорю»?

– Опомнись! Да ведь ты сейчас же сам говорил, что он сельскую общину упразднить хочет, что он намерен семейные разделы прекратить?!

– Да, но согласись, что с экономической точки зрения это ведь вещи действительно вредные! что при существовании их человек, который намеревается положить начало новой сельскохозяйственной эре, не может же не чувствовать себя связанным по рукам и ногам!

Фраза эта вылилась у меня совершенно нечаянно, но, признаюсь, очень мне понравилась. Я даже вознамерился, пользуясь сим случаем, прочесть Глумову краткую экономическую предиду, в которой изъяснить, что, с одной стороны, несомненно доказано, а с другой стороны, опыт народов свидетельствует... Но, к удивлению моему, Глумов не только не увлекся моим красноречием, но даже рассердился. Он вскочил с дивана и некоторое время не говорил, а только разевал рот, как человек, находящийся под впечатлением сильнейшего гнева.

– Да кто же тебе сказал! – разразился он наконец, но, к удовольствию моему, тотчас же сдержал себя и уже спокойным, хотя все же строгим голосом продолжал: – Слушай! дело не в том, вредны или полезны те явления, которые Быстрицын намеревается сокрушить, в видах беспрепятственного разведения поросят, а в том, имеет ли он право действовать *a la Pierre le Grand* относительно того, что находится под защитой действующего закона?

– Представь себе, я ведь и сам сделал ему именно это возражение!

– Ну!

– И знаешь, что он ответил мне? Он ответил: если можно обойти закон для того, чтобы беспрепятственно произносить «фюить», то неужели же нельзя его обойти в видах возрождения? И я вынужден был согласиться с ним!

– И «ты вынужден был согласиться с ним!» – передразнивал меня Глумов.

– Да, потому что, если можно делать все, что хочешь, то, конечно, лучше делать что-нибудь полезное, нежели вредное!

Я так искусно играл силлогизмом: «полезная вещь полезна; Быстрицын задумал вещь полезную; следовательно, задуманное им полезно», – что Глумов даже вытаращил глаза. Однако он и на этот раз сдержал себя.

– Ну, хорошо, – сказал он, – ну, Быстрицын упразднит общину и разведет поросят...

– Не одних поросят! Это только один пример из множества! Тут целая система! скотоводство, птицеводство, пчеловодство, табаководство...

– И даже хреноводство, горчицеводство... пусть так. Допускаю даже, что все пойдет у него отлично. Но представь себе теперь следующее: сосед Быстрицына, Петенька Толстолобов, тоже пожелает быть реформатором а-ля Пьер ле Гран. Видит он, что штука эта

идет на рынке бойко, и думает: сем-ка, я удеру штуку! прекращу празднование воскресных дней, а вместо того заведу клоповодство!

– И опять-таки преувеличение! Клоповодство! Преувеличение, душа моя, а не возражение!

– Хорошо, уступаю и в этом. Ну, не клоповодством займется Толстолобов, а устройством... положим, хоть фаланстеров. Ведь Толстолобов парень решительный – ему всякая штука в голову может прийти. А на него глядя, и Феденька Кротиков возопиет: а ну-тко я насчет собственности пройдуся! И тут же, не говоря худого слова, декретирует: жить всем, как во времена апостольские живали! Как ты думаешь, ладно так-то будет?

Увы! я даже не мог ответить на вопрос Глумова. Я страдал. Я так жаждал «отрадных явлений», я так твердо был уверен в том, что не дальше как через два-три месяца прочту в «нашей уважаемой газете» корреспонденцию из Паскудска, в которой будет изображено: «С некоторого времени наш край поистине сделался ареной отрадных явлений. Давно ли со всех сторон стекались мирские приговоры об уничтожении кабаков, как развратителей нашего доброго, простодушного народа, – и вот снова отовсюду притекают новые приговоры, из коих явствует, что сельская община, в сознании самих крестьян, является единственным препятствием к пышному и всестороннему развитию нашей производительности!» Да, я ждал всего, я надеялся, я предвкушал! И вдруг – картина! Клоповодство, фаланстеры, возвращение апостольских времен! И, что всего грустнее, я не мог даже сказать Глумову: ты преувеличиваешь! ты говоришь неправду! Увы! я слишком хорошо знал Толстолобова, чтобы позволить себе подобное обличение. Да, он ни перед чем не остановится, этот жестоковыйный человек! он покроет мир фаланстерами, он разрежет грош на миллион равных частей, он засеет все поля персидской ромашкой! И при этом будет, как вихрь, летать из края в край, возглашая: га-га-га! го-го-го! Сколько он перековеркает, сколько людей перекалечит, сколько добра погадит, покамест сам наконец попадет под суд! А вместо него другой придет и начнет перековерканное расковеркивать и опять возглашать: га-га-га! го-го-го! Ведь были же картофельные войны, были попытки фаланстеров в форме военных поселений, были импровизированные, декорационные селения, дороги, города! Что осталось от этих явлений! И что стоило их коверканье и расковерканье?

– А я бы на твоём месте, – продолжал между тем Глумов, – обратился к Быстрицыну с следующей речью: Быстрицын! ты бесспорно хороший и одушевленный добрыми намерениями человек! но ты берешься за такое дело, которое ни в каком случае тебе не принадлежит. Хороша ли сельская община или дурна, препятствует ли она развитию производительности или не препятствует – это вопрос спорный, решение которого (и в особенности решение практическое) вовсе до тебя не относится. Предоставь это решение тем, кто прямо заинтересован в этом деле, сам же не мудрствуй, не смущай умов и на закон не наступай! Помни, что ты помпадур и что твоё дело не созидать, а следить за целостью созданного. Созданы, например, гласные суды – ты, как лев, стремись на защиту их! Созданы земства – смотри, чтобы даже ветер не смел венуть на них! Тогда ты будешь почтён и даже при жизни удостоишься монумента. Творчество же оставь и затем – гряди с миром.

– Но что же, наконец, делать? – воскликнул я с тоскою, – что делать, ежели, с одной стороны, для административного творчества нет арены, ежели, с другой стороны, суды препятствуют, земства препятствуют, начальники отдельных частей препятствуют, и ежели, за всем тем, помпадур обладает энергией, которую надобно же как-нибудь поместить!.. Где же исход?

– А ежели человек уж через край изобилует энергией, то существует прелестное слово «фюить», которое даже самого жестоковыйного человека по горло удовлетворить может!

– Фюить! помилуй! да это, наконец, постыдно!

– Постыдно, даже глупо, но до известной степени отвечает потребностям минуты. Во-первых, нечего больше говорить. Во-вторых, это звук, который, как я уже сказал, представляет очень удобное помещение для энергии. В-третьих, это звук краткий, и потому затрагивающий только единичные явления. Тогда как пресловутое зиждительство разом

коверкает целый жизненный строй...

ЕДИНСТВЕННЫЙ

Утопия

Это был несомненно самый простодушный помпадур в целом мире.

Природа создала его в одну из тех минут благодатной тишины, когда из материнского ее лона на всех льется мир и благоволение. В эти краткие мгновения во множестве рождаются на свете люди не весьма прозорливые, но скромные и добрые; рождаются и, к сожалению, во множестве же и умирают... Но умные муниципии подстерегают уцелевших и, по достижении ими законного возраста, ходатайствуют об них перед начальством. И со временем пользуются плодами своей прозорливости, то есть бывают счастливы.

Увы! с каждым днем подобные минуты становятся все более и более редкими. Нынче и природа делается словно озлобленною и все творит помпадуров не умных, но злых. Злые и неумные, они мечутся из угла в угол и в безумной резвости скачут по долам и по горам, воздымая прах земли и наполняя им вселенную. С чего резвятся? над кем и над чем празднуют победу?

Но этот помпадур, даже среди необыкновенных, был самый необыкновенный. Начальственного любомудрия не было в нем нисколько. Во время прогулок, когда прохожие снимали перед ним шапки, он краснел; когда же усматривал, что часовой на тюремной гауптвахте, завидев его, готовится дернуть за звонок, то мысленно желал провалиться сквозь землю и немедленно сворачивал куда-нибудь в сторону.

– Не люблю я этих выбеганий! – говорил он, – прибегут как шальные, выпучат глаза, ружьями кидать начнут – что хорошего!

Даже с квартальными он позволял себе быть простодушным. Не допускал, чтобы квартальный ожесточал обывателя, но скорбел, когда и обыватель забывал о квартальном.

– Квартальный, – говорил он, – *всенепременно* должен быть сыт, одет и обут, обыватель же все сие волен исполнить по мере возможности. Ежели он и не очень сыт, то с него не взыщется!

Ни наук, ни искусств он не знал; но если попадалась под руку книжка с картинками, то рассматривал ее с удовольствием. В особенности нравилась ему повесть о похождениях Робинзона Крузо на необитаемом острове (к счастью, изданная с картинками).

– Эту книгу, – выражался он, – всякий русский человек в настоящее время у себя на столе бессменно держать должен. Потому, кто может заранее определить, на какой он остров попасть может? И сколько, теперича, есть в нашем отечестве городов, где ни хлеба испечь не умеют, ни супу сварить не из чего? А ежели кто эту книгу основательно знает, тот сам все сие и испечет, и сварит, а по времени, быть может, даже и других к употреблению подлинной пищи приспособит!

В администрации он был философ и был убежден, что самая лучшая администрация заключается в отсутствии таковой.

– Ежели я живу смиренно и лишнего не выдумываю, – внушал он своему письмоводителю, – то и все прочие будут смиренно жить. Ежели же я буду выдумывать, а тем паче писать, то непременно что-нибудь выдумаю: либо утеснение, либо просто глупость. А тогда и прочие начнут выдумывать, и выйдет у нас смятение, то есть кавардак.

Этого мало: он даже полагал (и, быть может, не без основания), что в каждой занумерованной и писанной на бланке бумаге непременно заключается чья-нибудь гибель, а потому принял себе за правило из десяти подаваемых ему к подпису бумаг подписывать только одну.

– Вы ко мне с бумагами как можно реже ходите, – говорил он письмоводителю, – потому что я не разорять приехал, а созидать-с. Погубить человека не трудно-с. Черкнул:

Помпадур 4-й, и нет его. Только я совсем не того хочу. Я и сам хочу быть жив и другим того же желаю. Чтоб все были живы: и я, и вы, и прочие-с! А ежели вам невтерпеж бумаги писать, то можете для своего удовольствия строчить сколько угодно, я же подписывать не согласен.

Иногда он развивал свои административные теории очень подробно.

– Всякий, – говорил он, – кого ни спросите, что он больше любит, будни или праздник? – наверное ответит: праздник. Почему-с? а потому, государь мой, что в праздник начальники бездействуют, а следовательно, нет ни бунтов, ни соответствующих им экзекуций. Я же хочу, чтоб у меня всякий день праздник был, а чтобы будни, в которые бунты бывают, даже из памяти у всех истребились!

Или:

– До сих пор так было, что обыватель тогда только считал себя благополучным, когда начальник находился в отсутствии. Сии дни праздновали и, в ознаменование общей радости, ели пироги. Почему, спрашиваю я вас, все сие именно так происходило? А потому, государь мой, что, с отъездом начальника, наставала тишина. Никто не скакал, не кричал, не спешил, а следовательно, и не сквернословил-с. Я же хочу, чтобы на будущее время у меня так было: если я даже присутствую, пускай всякий полагает, что я нахожусь в отсутствии!

Но что более всего привлекало к нему сердца – это административная стыдливость, доходившая до того, что он не мог произнести слово «сечь», чтоб не сгореть при этом со стыда.

Когда он прибыл в город, то прежде всего, разумеется, пожелал ознакомиться с делами. Письмоводитель сразу вынес ему целый ворох. Но когда он развернул одно из них, то первая попавшаяся ему на глаза фраза была следующая:

«...когда же начали их сечь...»

Он покраснел и поспешно обратился к другому делу. Но там тоже было написано:

«...а потому начали их сечь вновь...»

Тогда он покраснел еще больше и с этой минуты решил раз навсегда никаких дел не читать.

– Все дела в таком роде? – застенчиво обратился он к письмоводителю.

– Послаблений не допускается-с.

– Какая, однако ж, печальная необходимость! – задумчиво воскликнул он и затем, почти шепотом, продолжал: – И часто бывают у вас революции?

– Одна в год – это как калач испечь, а то так и две.

– Грустно! И зачем это люди делают революции – не постигаю! не лучше ли жить смиренно, аккуратно и быть счастливыми... без революций!

– Осмелюсь доложить, это всё умники-с. А глядя на них, и дураки заимствуются-с.

Помпадур задумался.

– А знаете ли, – сказал он после минутного молчания, – какая мне вдруг мысль в голову пришла?

– Не могу знать-с.

– Что революций, собственно, никаких нет и не бывало-с!

Письмоводитель даже глаза выпучил: до того неуместною показалась ему подобная выходка со стороны ченовека, называющего себя помпадуром.

– Как это возможно-с? – бормотал он, – все квартальные в один голос доносят-с!

Но помпадур уже не слушал возражений и, ходя в волнении по комнате, убежденным голосом говорил:

– Да-с; нет революций, и не бывало! Вы думаете, что было во Франции в 1789 году, революция-с? Отнюдь-с! Просто-напросто умные люди об умных предметах промежду себя разговор хотели иметь, а господам французским квартальным показалось, что какие-то революции затеваются-с!

Эта мысль была для него как бы откровением. Заручившись ею, он вдруг совершенно ясно сознал все, что дотоле лишь смутно мелькало на дне его доброй души.

– Да-с, – продолжал он развивать свой взгляд, – если б господа квартальные

поостереглись, многих бы неприятностей можно было избежать! Да и что за радость отыскивать революции – не постигаю! Если б даже доподлинно таковые в зародыше существовали, зачем оные преждевременно пробуждать и накликать-с? Не лучше ли тихим манером это дело обделать, чтобы оно, так сказать, измором изныло, чем во всеуслышание объявлять: вот, мол, мы каковы! каждый год по революции делаем! А ежели уж нельзя это паскудство скрыть, то все же предварительно увещевать, а не сечь господ революционеров надлежит!

– Пытали этак-то... – скептически заметил письмоводитель.

– Нет, вы поймите меня! Я подлинно желаю, чтобы все были живы! Вы говорите: во всем виноваты «умники». Хорошо-с. Но ежели мы теперича всех «умников» изведем, то, как вы полагаете, велик ли мы авантаж получим, ежели с одними дураками останемся? Вам, государь мой, конечно, оно неизвестно, но я, по собственному опыту, эту штуку отлично знаю! Однажды, доложу вам, в походе мне три дня пришлось глаз на глаз с дураком просидеть, так я чуть рук на себя не наложил! Так-то-с.

Письмоводитель несколько раз разевал рот для возражений, но тщетно. Он ходил по комнате и твердил свое: «Не верю! ничему я этому не верю». Наконец остановился и твердым голосом произнес:

– Не только в революции, я даже в черта не верю! И вот по какому случаю. Однажды, будучи в кадетском корпусе, – разумеется, с голоду, – пожелал я продать черту душу, чтобы у меня каждый день булок вволю было. И что же-с? вышел я ночью во двор-с и кричу: «Черт! явись!» Ан вместо черта-то явился вахтер, заарестовал меня, и я в то время чуть-чуть не подвергся исключению-с. Вот оно, легковерие-то, к чему ведет!

– Оно точно-с, – отвечал письмоводитель, но как-то вяло, как будто ему до смерти хотелось спать, – многие нынче в черта не веруют!

– И знаете ли что еще? – продолжал он, горячась все больше, – все эти рассказы об революциях напоминают мне историю с жидом, у которого в носу свистело. Идет он по лесу и весь даже в поту от страха: все кажется, что кругом разбойники пересвистываются! И только уж когда он вдоволь надрожался, вдруг его словно обухом по голове: а ведь это у меня в носу... Так-то-с.

И действительно, как ни старались квартальные изменить его взгляд на дела внутренней политики, он оставался непоколебим и на все предостережения неизменно давал один и тот же ответ:

– Нет революций-с! нет и никогда не бывало-с!

Мало того: даже арестовал квартального Пелепелкина, когда тот, весь бледный и почти ополоумевший от страха, прибежал объявить, что в соседней роще снегири затеяли бунт.

– Это вы, милостивый государь, бунты затеяете, – сказал он ему, – а не снегири-с! Снегирь – птица небольшая и к учению склонная-с – зачем ей бунтовать? Застрелить ее недолго-с, только кто же тогда в наших рощах свистеть будет-с? Извольте, государь мой, снять сапоги и сесть под арест-с!

И что же вышло? Сначала, действительно, обывателям казалось несколько странным, что выискался такой помпадур, который не верит в бунты, но мало-помалу и они начали осваиваться с этим взглядом. Прошел год, прошел другой, снегири свистали и щебетали во всех рощах, а революций все не было.

– А мы думали, что это-то самая революция и есть! – толковали меж собой обыватели, – поди ж ты!

Он же, ласковый и простодушный, ходил по улицам и не только никого не ловил, но, напротив того, радовался, что всякий при каком-нибудь деле находится, а он один ничего не делает и тем целому городу счастье приносит.

Однако ж было одно напоминание, которое угнетало его, и это напоминание заключалось в слове: помпадур.

Среди разнообразия помпадурских прерогатив он в особенности боялся одной:

предстоящего ему выбора помпадурши. В бесчисленном множестве помпадурш, о которых свидетельствует история, он не знал ни одной, которая довела бы своего помпадура до добра. В сознании своего помпадурства, он, еще будучи в кадетском корпусе, до малейшей подробности изучил литературу этого вопроса и убедился, что в конце помпадурских любовных предприятий никогда ничего не стояло, кроме гибели. И что всего важнее – гибель была так сладка, что помпадуры сами влеклись к ней и утопали в море утех, нимало не заботясь о своевременном выполнении получаемых от начальства предписаний. Опутанные любовными сетями, помпадуры, несомненно бодрые, делались в самое короткое время неузнаваемыми. Телодвижения их утрачивали развязность, глаза становились тусклыми и неспособными проникать в сердца подчиненных, язык отказывался от произнесения укорительных выражений; дар сердцеведения пропал совершенно. Все это он понимал – и за всем тем чувствовал, что над ним тяготеет фатум, которого он ни предотвратить, ни отдалить не в силах.

Искушения, которые преследовали его с самой минуты приезда в город, придавали еще более цены его борьбе. Еще не успел он как следует ознакомиться с местным обществом, как уже стало ясно, что усилия всех первейших в городе дам направлены к тому, чтоб как можно скорее пробудить в нем инстинкт помпадурства. Узнавали, какие он любит плечи, какой рост, цвет волос, походку. Некоторые выхваляли при этом добродушие своих мужей и давали понять, что с этой стороны никаких опасений не может существовать. Но он как-то загадочно относился ко всем этим заискиваниям и обольщениям.

– Всякая походка хороша-с, ежели ее украшает добродетель, – отвечал он на ухаживанья, а ежели замечал, что и затем какая-нибудь предприимчивая председательша или начальница отдельной части продолжает действовать наступательно, то вежливо шаркал ножкой и уходил прочь.

Очевидно, что у него был свой план, осуществление которого он отложил до тех пор, пока фатум окончательно не пристигнет его. План этот заключался в том, чтобы, не уклоняясь от выполнения помпадурского назначения, устроить это дело так, чтобы оно, по крайней мере, не сопровождалось пушечною пальбою.

Прежде всего внимание его, разумеется, остановилось на так называемой благородной интриге. Но, рассмотрев этот проект со всех сторон, он должен был сознаться, что осуществление его сопряжено с множеством случайностей, которые положительно могут замутировать административную ясность его души. Что высокопоставленная помпадурша отличается большею нежностью и белизною кожи и вообще смотрит как-то сытее, нежели помпадурша из низкого звания, – это было для него ясно. Но этим и ограничивались все преимущества, а затем открывался целый ряд таких неудобств, которые не выкупались ни роскошью бюста, ни тонкостью прикрывающего его батиста.

– Удовольствие от этих кружевниц все то же-с, только крику больше, – отвечал он услужливым людям, соблазненным его картиною помпадурши, утопающей в батисте и кружевах. Затем он уже не возвращался более к этому плану.

Надлежало сыскать другую комбинацию, и он деятельно занялся этим. Самую лучшею казалась, конечно, такая, при которой мягкое тело соединялось бы с простодушием. Счастливое соединение этих качеств можно было найти или в среде упитанного и взлелеянного пуховиками купечества, или в среде мещанства, занимающегося содержанием постоянных дворов, харчевен и кабаков. Но тут же встречались серьезные препятствия, которые невозможно было пройти без внимания. Во-первых, он предвидел, что местная аристократия никак не простит ему связи с мещанкой. Во-вторых, он задумывался и над тем, как посмотрит на подобную связь начальство. Конечно, с точки зрения государственной лучше, если помпадур выбирает себе помпадуршу из низкого звания, ибо это содействует слиянию сословий. Но не всякий начальник способен возвыситься до государственной точки зрения, большая же часть действует просто, без высших точек зрения, смотря по тому, какая система помпадурства, батистовая или затрапезная, господствует в данную минуту.

Одним словом, как он ни углублялся, ни взвешивал, все было мрак и сомнение в этом

вопросе. Ни уставов, ни регламентов – ничего. Одно оставалось ясным и несомненным: что он помпадур и что не помпадурствовать ему невозможно.

А судьба уже бодрствовала за него, и на сей раз бодрствовала совершенно правильно, ибо помогла добродетельнейшему из всех в мире помпадуров выйти с честью из затруднения.

Трудно представить себе что-нибудь более трогательное и наивное, как история его сближения с нею.

Шел он однажды по городу и, по обыкновению, никого не ловил. И вдруг видит: стоит у дверей кабака баба и грызет подсолнухи. Баба была, как все вообще бабы, выросшие в холе под сению постоянного двора или за прилавком кабака: широкая, толстомясая, большеглазая, с круглым лицом и так называемыми сахарными грудями. Однако ж, он тотчас же сообразил, что если эту бабу в хорошие руки, то она *вся* делается сахарная. Но так как дело было днем, то сейчас приступить он не решился, а только посеменял ножками, чтоб дать бабе понять.

По наступлении вечера он снова пошел по тому же направлению и увидел, что баба опять стоит у дверей, очевидно, уже не случайно. Она была примыта, приглажена, скалила зубы и не без лукавства смотрела на него своими выпученными глазами.

– Сахарная будет! – молвил он про себя и, подойдя к бабе, спросил отрывисто: – Вы чьих-с?

– Была мужняя, теперь вдова стала, – ответила она, заалевшись.

– Кабак – ваш-с?

– С батюшкой хозяйствуем.

– Меня знаете-с?

– Своих начальников да не знать?!

Он некоторое время стоял и, видимо, хотел что-то сказать; быть может, он даже думал сейчас же предложить ей разделить с ним бремя власти. Но вместо того только разевал рот и тянулся корпусом вперед. Она тоже молчала и, повернув в сторону рдеющее лицо, потихоньку смеялась. Вдруг он взглянул вперед и увидел, что из-за угла соседнего дома высовывается голова частного пристава и с любопытством следит за его движениями. Как ужаленный, он круто повернул налево кругом и быстрыми шагами стал удаляться назад.

Целый тот вечер он тосковал и более, чем когда-либо, чувствовал себя помпадуром. Чтобы рассеять себя, пел сигналы, повторял одиночное учение, но и это не помогало. Наконец уселся у окна против месяца и начал млеть. Но в эту минуту явился частный пристав и разрушил очарование, доложив, что пойман с поличным мошенник. Надо было видеть, как он вскипел против этого ретивого чиновника, уже двукратно нарушившего мление души его.

– Восца у вас, милостивый государь! – кричал он, – сколько раз говорено вам: оставьте! Оставьте, милостивый государь, русским языком повторяю я вам!

Но по уходе пристава тоска обуяла еще пуще. Целую ночь метался он в огне, и ежели забывался на короткое время, то для того только, чтоб и во сне увидеть, что он помпадур. Наконец, истощив все силы в борьбе с бессонницей, он покинул одинокое ложе и принялся за чтение «Робинзона Крузое». Но и тут его тотчас же поразила мысль: что было бы с ним, если б он, вместо Робинзона, очутился на необитаемом острове? Каким образом исполнил бы он свое назначение?

Ни спать, ни читать не представлялось никакой возможности...

– Сахарная! – вскричал он в каком-то диком исступлении и тотчас же собрался бежать.

Было раннее утро; заря едва занялась; город спал; пустынные улицы смотрели мертво. Ни единого звука, кроме нерешительного чириканья кое-где просыпающихся воробьев; ни единого живого существа, кроме боязливо озирающихся котов, возвращающихся по домам после ночных походов (как он завидовал им!). Даже собаки – и те спали у ворот, свернувшись калачиком и вздрагивая под влиянием утреннего холода. Над городом вился туман; тротуары были влажны; деревья в садах заснули, словно повитые волшебной дремой.

Он шел и чувствовал, что он помпадур. Это чувство ласкало, нежило, манило его. Ни письмоводителя, ни квартального, ни приставов – ничего не существовало для него в эту минуту. Несмотря на утренний полусумрак, воздух казался проникнутым лучами; несмотря на глубокое безмолвие, природа казалась изнемогающею под бременем какого-то кипучего и нетерпеливо-просящегося наружу ликования. Он знал, что он помпадур, и знал, куда и зачем он идет. Грудь его саднило, блаженство катилось по всем его жилам.

И вдруг его обожгло. Из-за первого же угла, словно из-под земли, вырос квартальный и, гордый сознанием исполненного долга, делал рукою под козырек. В испуге он взглянул вперед: там в перспективе виднелся целый лес квартальных, которые, казалось, только и ждали момента, чтоб вытянуться и сделать под козырек. Он понял, что и на сей раз его назначение, как помпадура, не будет выполнено.

На другой день он собрал квартальных и сказал им:

– Я желаю, господа, чтоб вы не беспокоили себя по ночам.

Но квартальные не поняли и гаркали, что им не в тягость, а в сласть и т. п.

– Я желаю, господа, чтоб вы не беспокоили себя по ночам! – все еще кротко, но уже вразумительнее повторил он.

Но квартальные продолжали гаркать. Тогда он понял, что тут существует недоразумение, и твердым голосом произнес:

– Русским языком вам, прохвосты, говорю: не смей меня подстерегать по ночам!

Квартальные поняли.

Благодаря этой мере «они» свиделись. Озираясь и крадучись, пробрался он на заре в Разъезжую слободку, где стоял ее домик. Квартальные притворились спящими. Будочники, завидев его приближение, исчезали в подворотни соседних домов. *Она* стояла у открытого окна... *она!* Широкая, дородная, белая, вся сахарная! Она ждала.

– Вы-с? – спросил он полудерзновенным, полуиспуганным голосом.

Стыдясь, она закрыла лицо рукавом, но слышно было, как уста ее шептали: «Ах! великие наши согрешения!»

– Желаете ли вы, сударыня, жить со мною вне оного, но все равно как бы в оному? – спросил он ее твердым голосом.

Она слегка дрогнула, но все еще перемогала себя.

– Слушай-ко, – сказала она, не то кокетничая, не то маскируя свое смущение, – я вам лучше загадку загаду. *Взгляну я в окошко, стоит репы лукошко* — что, по-вашему, будет?

– Репа-с! – отвечал он и даже хихикнул от переполнявшего его умиления.

– Ан звезды!

– Звезды-с? – изумился он.

Последовала минута молчания; оба тяжело и порывисто дышали, а он даже чуть-чуть сопел. Она первая прервала томительное безмолвие.

– Ведь ты поди для лакомства? – сказала она чуть слышно.

Он замычал.

– Ежели для одного лакомства будешь любить, – продолжала она, – и в том я вам запрещаю! Извольте без труда оставить!

Он замычал вторично.

– И что ты во мне, в бабе, лестного для себя нашел! – вдруг вскрикнула она, простирая руки.

Она сама не знала, за что он ее полюбил.

– За что ты меня любишь! – говорила она ему, – что ты во мне, бабе, лестного для себя нашел? Ни я по-французскому, ни я принять, ни поговорить! Вот разве тело у меня белое...

– За тело-с и за простоту-с, – отвечал он, спеша успокоить ее сомнения.

И точно: простоты она была необыкновенной. Даже квартальным – и тем жаловалась:

– За что он меня полюбил! Жила я, баба заугольная, в сору да в навозе копалась – ан нет! и тут он до меня проник! и тут меня, простую бабу, сыскал!

Квартальные почтительно вздрагивали и отвечали:

– За простоту-с. Сами они уж очень просты. Так просты! так просты!

Настал какой-то волшебный рай, в котором царствовало безмерное и беспримесное блаженство. Прежде он нередко бывал подвержен приливам крови к голове, но теперь и эту болезнь как рукой сняло. Вся фигура его приняла бодрый и деятельный вид, совершенно, впрочем, лишенный характера суетливости, а выразивший одно внутреннее довольство. Когда он шел по улице, приветливый взгляд его, казалось, каждому говорил: живи! И каждый жил, ибо знал, что начальством ему воистину жить дозволено.

День проходил так быстро, что иногда он роптал, зачем сутки заключают в себе только двадцать четыре часа. Утром, вставши рано, он отправлялся в Разъезжую слободку и уже дорогой начинал млеть. Домик, служивший целью его посещения, принял веселый и чистенький вид. Кабака не осталось и следов; стены были обиты тесом и выкрашены светло-серою краскою; на окнах висели белые занавески и стояли горшки с незатейливыми растениями. Внутри все было тоже выскоблено, вычищено и вымыто. Ни мухи, ни таракана; прохлада и тишина. Только с другой половины, из стряпушей, доносился стук ножей и звяканье ухватов и сковород, но это даже усугубляло очарование. Запах мяты и липового цвета был господствующим; к нему, по временам, когда отворялась дверь, примешивался запах жареных пирогов, но и он не омрачал картины блаженства, но прибавлял ей еще больше цены. Даже куры, которые кудахтали на дворе, и те, казалось, неспроста кудахтали, а во свидетельство исполнения желаний.

Вся раскрасневшаяся от стряпни, она выбегала к нему навстречу, и он не находил ни в этой красноте, ни в каплях пота, выступавших на лице ее, ничего противного законам изящного. Он знал, что она обливалась потом и выбивалась из сил единственно ради него. По приходе его она прежде всего начинала допытываться, за что он ее, бабу, любит; он же, с своей стороны, кротко и обстоятельно объяснял ей причину, и в этом несложном разговоре мгновения летели за мгновениями; затем она начинала обнаруживать беспокойство и каким-то просительным голосом спрашивала:

– Пирожка хочешь?

– А с чем у вас нынче пироги? – в свою очередь, спрашивал он, делая вид, как будто не всякая начинка, приготовленная ее руками, может быть ему по вкусу.

– С легким нынче; капустки искали, да не нашли...

– Что ж, и с легким хорошо... можно!

Появлялась целая сковорода шипящих пирогов, которые исчезали один за другим, а мгновения летели себе да летели. Потом она принималась опять допытываться, за что он ее, бабу, любит, и опять летели мгновения. Иногда к беседе присоединялся старик, отец ее, но от него большой пользы не было, потому что, как только закрыли его кабак, он тотчас же от горести ослеп и оглох.

Тем не менее «слепенький батюшка» все еще жаждал деятельности и, пользуясь ее официозным положением, непрерывно к ней приставал. Однажды она даже попробовала завести об этом предмете разговор *с ним*.

– Хоть бы ты в базарные смотрители его произвел, – сказала она, – а то он совсем от еды отбился – все пьет!

– Не просите-с, – сказал он твердо, – ибо я для того собственно с вами и знакомство свел, дабы казенный интерес соблюсти! Какой он смотритель-с! Он сейчас же первым делом всю провизию с базара к себе притащит-с! Последствием же сего явятся недоимщики-с. Станут говорить: оттого мы податей не платим, что помпадуршин отец имение наше грабит. В каком я тогда положении буду? Недоимщиков сечь – неправильно-с; родителя вашего казнить – приятно ли для вас будет?

– Голубчик! да ведь он слепенький! куда ему за провизией гнаться! ему бы хоть жалованье-то получать!

– Это ничего, что слепенький: услышит, чем пахнет – прозрит-с! А хоть бы и насчет жалованья – вы думаете, жалованье-то с неба падает?

– Ну его!

– Нет-с, оно не с неба-с, а все с тех же сходит, которые вот поросятами да индейками нас кормят-с! Я это, в кадетском корпусе обучаясь, очень твердо узнал-с!

Но размолвки подобного рода происходили редко и тотчас же прекращались, ибо как он только начинал обнаруживать величие души, она переменяла разговор и начинала допытываться, за что он ее, бабу, любит. Тогда вновь начиналось подробное рассмотрение этого вопроса, и все недоумения прекращались сами собою.

Среди отдохновений он нередко вступал с нею и в административные разговоры, всегда в полной уверенности, что воззрения ее вполне соответствуют его собственным воззрениям.

– Вчера ко мне вора привели, – говорил он, – да я его отпустил-с.

– И Христос с ним! – отвечала она.

– Я так на этот счет рассуждаю, что все это они делают с голоду-с!

– А то с чего же! Без нужды да воровать! Тут стыда не оберешься! Я вот давно уж хочу тебя спросить: отчего между благородными меньше этого воровства, нежели, например, между нашим братом, простым народом?

– Оттого, что у благородного более благородных чувств. Стыдится-с. А тоже и между благородными бывает воровство, только, по обширности своей, не имеет презрительного вида. Все больше, по благородству, крупными кушами-с.

– Ах, грехи наши тяжкие! – вздыхала она.

– Да-с; я насчет этого еще в кадетском корпусе такую мысль получил: кто хочет по совести жить, тот должен так это дело устроить, чтоб не было совсем надобности воровать! И тогда все будет в порядке и квартальным будет легко, и сечь не за что, и обыватели почувствуют себя в безопасности-с!

– Голубчик ты мой! – говорила она, смотря с умилением ему в глаза.

– Да-с, я давно уж так думаю и надеюсь, что усилия мои не останутся бесплодными. Главное в этом деле – иметь в виду, что вор есть человек. Я сам однажды таким манером в кадетском корпусе булку у товарища уворовал... что же-с!

– И за что ты меня, простую бабу, полюбил!

Этим восклицанием окончательно заключалось утреннее отдохновение. Он припоминал, что его ждут «дела», и с облегченным сердцем выходил на улицу.

Деятельность обывателей, управлявшихся около домов своих, веселила его. Всякое выражение лица казалось ему дозволенным и законным. Когда он встречался с человеком, имеющим угрюмый вид, он не наускакивал на него с восклицанием: «Что волком-то смотришь!» – но думал про себя: «Вот человек, у которого, должно быть, на сердце горе лежит!» Когда слышал, что обыватель предается звонкому и раскатистому смеху, то также не обращался к нему с вопросом: «Чего, каналья, пасть-то разинул?» – но думал: «Вот милый человек, с которым и я охотно бы посмеялся, если бы не был помпадуром!» Результатом такого образа действий было то, что обыватели начали смеяться и плакать по своему усмотрению, отнюдь не опасаясь, чтобы в том или другом случае было усмотрено что-либо похожее на непризнание властей.

Он любил, чтобы квартальные были деятельны, но требовал, чтоб деятельность эта доказывала только отсутствие бездеятельности. Когда он видел, что квартальный вдруг куда-то поспешно побежит, потом остановится, понюхает и, ничего не предприняв, тотчас же опять побежит назад – сердце его наполнялось радостью. Но и за всем тем не проходило минуты, чтоб он не кричал им вслед:

– Тише! тише! не заезжать!

Сначала квартальным было трудно воздерживаться от заезжаний, ибо они были убеждены, что заезжание представляет своего рода упрощение форм и обрядов делопроизводства; но так как они были легковерны (исключительно, впрочем, в сношениях с начальством), то ему не стоило почти никакого труда уверить их, что «незаезжание» составляет форму делопроизводства еще более упрощенную, нежели даже «заезжание».

– История, господа, никогда не останавливается, но непрерывно идет вперед, – сказал он им. – Сначала люди жили в дикости и не имели никакого твердого делопроизводства, а потому каждый заезжал каждому, по мере возможности. Потом это бросили, ибо история проследовала вперед-с. Явились подьячие, стрикулисты, клязники, которые, отменив заезжания, стали язвить посредством проторей и убытков. Но для многих и это было неудобно, ибо время проходило в волоките, а притом же и история вновь проследовала вперед-с. Тогда опять прибегли к «заезжанию», как к форме, оставляющей для заезжаемых наиболее досуга, и так как общество постепенно разрасталось, то представилась необходимость разделить его членов на заезжателей и заезжаемых. Так ли я, господа, говорю?

– Так точно-с! истинная правда-с! – кричали в ответ квартальные, причем некоторые, однако ж, вздыхали.

– Ну-с, а теперь я вам объясню, почему и эта последняя форма делопроизводства оказывается ныне уже неудовлетворительной. Когда вы заезжали, милостивые государи, вам казалось, что вы совершали суд скорый, – это так. Но всё же вы тратили на это немало времени и, кроме того, испытывали неудовольствие при виде побитых носов. Затем вы горячились, выходили из себя и мало-помалу истощали свое здоровье. Я знал многих курьеров, которые буквально усеяли дороги ямщичьими зубами, но каких всходов они от этого посева ожидали – это до сих пор не открыто. Попробуйте теперича не заезжать совсем, и вы увидите, что свободного времени останется у вас больше, жалованье вы будете получать всё то же, обыватель же немедленно приобретет сытый вид и, следовательно, также получит средство уделять по силе возможности. И вы, и обыватели – все будут в выгоде-с!

И действительно, предсказание это исполнилось с буквальной точностью: не только обыватели, но сами квартальные приобрели сытый вид и впоследствии даже удивлялись, как им не приходила в голову столь простая и ясная мысль, что лучший способ для приобретения сытого вида заключается именно в воздержании от заезжаний. Как только это средство пущено во внутреннюю политику как руководящее, то жир сам собою нагуливается, покуда не сформируется совершенно лоснящийся от сытости человек.

Среди этих хлопот не забывал он и своего письмоводителя, особливо ежели последний чересчур уж приставал к нему с заготовленными проектами донесений и отношений.

– Доселе я подписывал из десяти бумаг одну, – говорил он ему, – теперь же решил так: не подписывать ни одной! Пускай все об нашем городе позабудут-с – только тогда мы благополучно почивать будем-с!

И, видя выражение уныния на лице письмоводителя, прибавлял:

– А жалованье вы будете получать по-прежнему-с!

Таким образом наступало время обеда, когда он обыкновенно возвращался домой. К обеду приглашался письмоводитель и тот из квартальных, который, на основании достоверных фактов, мог доказать, что он в течение всего предшествующего дня подлинно никого не обидел и никому не заезжал. Пища подавалась жирная и сдобная, и он ел охотно, но вина остерегался и пил только квас.

– Вино такая вещь, господа, – говорил он, – что мало выпить его невозможно, а много выпьешь – еще больше захочется. А выпивши – особливо если кто в помпадурском звании состоит – непременно кого-нибудь обидишь. А потому я не пью, хотя другим препятствовать не желаю: пусть кушают на здоровье!

После обеда, по кратком отдохновении, он отправлялся в рощу и слушал щебечущих снегирей. Он не только не боялся их, но всячески старался приручить. И точно: как только он появлялся в роще, они стаями слетались к нему, садились на плечи и на голову и клевали из рук моченый белый хлеб.

– Ах вы, бунтовщики мои! – говорил он как-то жалостливо, – между собой-то вы, милые, мирно ли живете?

Затем опять возвращался в город, повторяя по пути квартальным:

– Тише! тише! не заезжайте!

Наступал вечер; на землю спускались сумерки; в домах зажигались огни. Выслушав перечень добрых дел, совершенных в течение дня квартальными надзирателями, он отправлялся в клуб, где приглашал предводителя идти с ним вместе по стезе добродетели. Предводитель подавался туго, но так как поставленные ему на вид выгоды были до того ясны, что могли убедить даже малого ребенка, то и он, наконец, уступил.

– Вы возьмите, какая это приятность! – говорил он, – ежели вы теперича мужичку рубль простите, он, наверное, вам на три рубля сработает, да, кроме того, свою любовь задаром вам подарит!

– Это что говорить! – колебался предводитель, – благодарности в них пропасть – это верно!

– А там, смотришь, индюшечка-с, курочка-с, яичек десяточек: сам не съест – всё вам-с!

– Это так! – повторял предводитель уже утвердительно и тотчас же шел на базар и давал мужику рубль. Но так как он был даже простодушнее самого помпадура, то тут же прибавлял: – Ты смотри! я тебе рубль подарил, а ты мне на три сработай, да сверх того люби!

Одним словом, не только между купцами и мещанами, но даже в клубе сумел он поселить мир и любовь, и притом без всяких мер строгости, с помощью одного неизреченного своего простодушия.

Позднее, когда город уже стихал совершенно, он вновь отправлялся в Разъезжую слободку; но так как квартальные спали воистину, то никто не слышал, как из открытого окна веселенького домика вылетало восклицание:

– И за что ты меня, бабу, любишь?..

Дни проходили за днями; город был забыт. Начальство, не получая ни жалоб, ни рапортов, ни вопросов, сначала заключило, что в городе все обстоит благополучно, но потом мало-помалу совершенно выпустило его из вида, так что даже не поместило в список населенных мест, доставляемый в Академию наук для календаря.

Помпадур торжествовал, помпадурша сделалась поперек себя шире, но все еще не утратила пленительности. В течение десяти лет не случилось ни одного воровства, ни одного восстания; снегири постепенно старелись и плодили других снегирей, но и эти, подобно родителям, порхали лишь с ветки на ветку, услаждая обывательский слух своим щебетанием и отнюдь не думая о революциях; обыватели отъелись, квартальные отъелись, предводитель просто задышался от жира. Одно было у всех на уме: заживо поставить помпадуру монумент.

И вдруг все это блаженство рушилось в одну минуту, благодаря ничтожнейшему обстоятельству.

Помпадур совершил не всё. Он позабыл отвести от города пролежавший через него проезжий тракт.

В одно прекрасное утро на стогнах города показался легкомысленного вида человек, который, со стеклышком в глазу, гулял по городу, заходил в лавки, нюхал, приценивался, расспрашивал. Хотя основательные купцы на все его вопросы давали один ответ: «проваливай!», но так как он и затем не унимался, то сочтено было за нужное предупредить об этом странном обстоятельстве квартальных. Квартальные, в свою очередь, бросились к градоначальнику.

– Открыли-с! нас открыли! – кричали они впопыхах.

Он побледнел, однако же не потерял надежды спасти дело рук своих. Поспешно надел он на себя мундир, прицепил шпагу и отправился на базар отыскивать напугавшего всех незнакомца.

– Кто вы таковы-с? и не угодно ли пожаловать мне ваш вид? – спросил он дрожащим от волнения голосом.

Незнакомец молча подал свою подорожную. В подорожной значилось: «NN, эксперт от наук, отправляется по России для исследования богатств, скрывающихся в недрах земли».

– Странно, что вашего города даже на географических картах не значится! – заметил эксперт от наук, пока он рассматривал подорожную.

– Ничего странного нет-с! Сей город, до настоящей минуты, был сам по себе столь благополучен, что не было надобности ему об себе объявлять-с! – отвечал он с горечью и затем, не входя в дальнейшие объяснения, повернул назад и пошел по направлению к Разъезжей слободе.

Происшествие это в свое время наделало очень много шума, ибо в наш просвещенный век утратить из виду целый город с самостоятельной цивилизацией и с громадными богатствами в недрах земли – дело не шуточное. Прислана была следственная комиссия, которая горячо принялась за дело и прежде всего изумилась крайнему изобилию совершенно сытых и, притом, ручных снегирей. Долго она старалась проникнуть в тайну этого изобилия, но не добилась никакого другого результата, кроме того, который заранее был формулирован самим помпадуром, а именно, что снегирь есть птица скромная и к учению склонная.

Другие результаты, обнаруженные исследованием, были еще поразительнее. Оказалось:

1) что в городе, в течение десяти лет, не произошло ни одной революции, тогда как до того времени не проходило ни одного года без возмущения;

2) что в продолжение того же времени не было ни одного случая воровства;

3) что квартальные надзиратели сыты;

4) что обыватели сыты;

5) что в течение последних лет обыватели обнаружили склонность к сооружению монументов;

6) что слух о богатствах, скрывающихся якобы в недрах земли, есть не более как выдумка, пущенная экспертом от наук в видах легчайшего получения из казны прогонных денег; в городе же никто из жителей никаким укрывательством никогда не занимался;

7) что всем сим город обязан своему градоначальнику, Помпадуру 4-му.

Рассмотревши дело и убедившись в справедливости всего вышеизложенного, начальство не только не отрешило доброго помпадур от должности, но даже опубликовало его поступки и поставило их в пример прочим. «Да ведомо будет всем и каждому, – сказано было в изданном по сему случаю документе, – что лучше одного помпадур доброго, нежели семь тысяч злых иметь, на основании того общепризнанного правила, что даже малый каменный дом все-таки лучше, нежели большая каменная болезнь».

Что же касается собственно до города, то ему немедленно прислан был от казенной палаты окладной лист.

Мнения знатных иностранцев о помпадурах

Заканчивая свои рассказы о «помпадурах», – рассказы, к сожалению, не исчерпывающие и сотой доли помпадурской деятельности, – я считаю, что будет уместно познакомить читателей с теми впечатлениями, которые производили мои герои на некоторых знатных иностранцев, в разное время посещавших Россию.

Подобного рода свидетельств у меня под руками очень много; но я приведу здесь только четыре отрывка, наиболее подходящие к нашим литературным условиям. Между прочим, я имею очень редкую книгу, под названием «Путеводитель по русским съезжим домам», соч. австрийского серба Глупчика-Ядрилича, приехавшего вместе с прочими братьями-славянами, в 1870 году, в Россию, но не попавшего ни в Петербург, ни в Москву, потому что Соломенный помпадур, под личную свою ответственность, посадил его на все время торжеств на съезжую. Сочинение это проливает яркий свет не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику помпадуров, и перевод его послужил бы немалым украшением для нашей небогатой литературы, но, к величайшему сожалению, я не мог привести из него даже самонаименованного отрывка, потому что книга эта безусловно запрещена цензурой... Этого примера, я полагаю, совершенно достаточно для читателя, чтобы понять, почему я был так умерен в моих выдержках.

Затем, обращаясь к издаваемым ныне отрывкам, я считаю долгом сказать об них

несколько слов.

Как и во всех сочинениях иностранцев о России, нас прежде всего поражает в них какое-то неисправимое легкоеверие. Так, например, князь де ля Кассонад очень серьезно рассказывает, что некоторые помпадуров смешивали императора Сулука с королевой Помарй, а другой путешественник, Шенапан, уверяет, будто в России преподается особенная наука, под названием «*Zwon poréta razdawaiss*». ¹³⁷ Ясно, что оба эти лица были жертвою мистификации со стороны своих амфитрионов-помпадуров, которые, по прискорбному русскому обычаю, нашли для себя забавным рассказывать иностранцам разные небылицы о своем отечестве.

Сверх того, по обыкновению всех иностранцев, цитируемые мною авторы очень часто впадают в преувеличения и выказывают при этом колоссальнейшее невежество...

Я не счел, однако ж, нужным останавливаться на этих недостатках, ибо для нас, русских, самые преувеличения иностранцев очень поучительны. Читая рассказываемые про нас небылицы, мы, во-первых, выносим убеждение, что иностранцы – народ легкомысленный и что, следовательно, в случае столкновения, с ними очень нетрудно будет справиться. Во-вторых, мы получаем уверенность, что перьями их руководит дурное чувство зависти, не прощающее России той глубокой тишины, среди которой происходит ее постепенное обновление.

В самом деле, представляли ли когда-либо летописи Лаишева, Пошехонья, Сапожка и др. что-нибудь подобное тому, что происходило недавно в заштатном городе Висбадене по случаю возвышения цен на пиво? Нет, ничего подобного не было, да и не могло быть, потому что и пошехонцы, и лаишевцы слишком хорошо понимают, что цены Бог строит, и под сению этой пословицы постепенно обновляются. Висбаденцы же ничего этого не знают, а потому нечего удивляться, что для них все пути к обновлению закрыты. Ибо какое может быть «обновление», когда на улицах идет шум и гвалт, за которым ни одной пословицы даже расслышать нельзя?

Иностранцы сознают это преимущество лаишевцев и белебеевцев и завидуют. Они понимают, что означает эта тишина и чем она пахнет для висбаденских нарушителей спокойствия, если пошехонцам вздумается вразумлять их.

Но встречается в этих невежественных рассказах и нечто такое, над чем можно серьезно задуматься.

Завидуя нашей тишине, иностранцы не без ядовитости указывают, что мы сами как бы тяготимся ею. Что у нас, среди глубокого мира, от времени до времени, трубят рога и происходят так называемые усмирения (*répressions de la tranquillité*).

Мало того, некоторые даже прямо утверждают, будто у нас существует особенное сословие помпадуров, которого назначение в том именно и заключается, чтобы нарушать общественную тишину и сеять раздоры с целью успешного их подавления. Не без иронии говорят они о недостаточной развитости наших помпадуров и о происходящей отселе беспорядочной, судорожной деятельности их. Деятельность эту они сравнивают с бесцельным мельканием в пустом пространстве, – мельканием, которое на первый взгляд может показаться смешным, но которое, при беспрестанном повторении, делается почти обременительным...

Повторяю: все это в высшей степени преувеличено и до бесконечности невежественно; но даже сквозь эти смешные преувеличения сквозит какой-то намек на реальность, которым не излишне воспользоваться. Всякому, например, известно, что главное побуждение, руководящее помпадурскими действиями, составляет чрезмерная ревность к охранению присвоенных помпадурам прав и преимуществ (прерогатив). В сущности, побуждение это, конечно, очень похвально, но надо сознаться, что тем не менее оно нимало не способствует ни возникновению новых плодотворных жизненных явлений, ни производству новых

¹³⁷ «Гром победы раздавайся».

ценностей. Поэтому было бы не только не вредно, но даже полезно, чтобы на практике эта ревность проявлялась лишь в той мере, в какой она не служит помехой мирным гражданам в их мирных занятиях. Если человек исключительно задачей своей жизненной деятельности поставляет ограждение своих прав (как, например, права принимать по праздникам поздравления, права идти в первой паре, когда бал открывается польским, и т. д.), то результатом его усилий может быть только ограждение прав, и ничего больше. Положим, это будет деятельность в своем роде почтенная, но все-таки никакого оплодотворения из нее произойти не может. А помпадуры этим именно и грешат. Ограждая свои права, они забывают, что у них есть и обязанности, из коих главнейшая: не отвлекать обывателей слишком усиленными поздравлениями от других занятий, которые тоже могут быть названы небесполезными.

А грешат они потому, что не знают наук. Я, конечно, далек от того, чтобы, вместе с мосьё Шенапаном, утверждать, будто в наших кадетских корпусах преподается только одна наука «*Zvon poréta razdawaiss*», но все-таки позволяю себе думать, что на воспитание помпадуров не обращено должного внимания. Дюссо, Борель, Минерашки, театр Берга – все это школа слишком недостаточная. Если б они знали, например, историю, то помнили бы анекдот о персидском царе, который, ограждая свои права, высек море, но и за всем тем не мог победить горсти храбрых греков. Если б они знали статистику и политическую экономию, то поняли бы, что обывательская спина не всегда служит верным обеспечением для наполнения казны кредитными билетами. Если б им не чужда была юриспруденция, то они знали бы, что излишнее ограждение собственных личных прав всегда ведет к нарушению прав других, это же последнее, в свою очередь, влечет за собою если не непременно восстановление нарушенного права, то, по крайней мере, призыв к такому восстановлению. А за этим обыкновенно следует скандал, а иногда и наказание нарушителя по всей строгости законов.

Да, как это ни тяжело, но надо сознаться, что даже для взыскания недоимок науки – не бесполезная вещь. Они учат человека, что жизнь пережить – не поле перейти; они заставляют его вникать в смысл его поступков и дают ему некоторые хорошие привычки. Вот чего недостает помпадурам, и вот почему они считают, что у них нет никаких других административных задач, кроме ограждения присвоенных им прав и преимуществ. Будучи удалены от наук, они не могут понять, что некоторая сумма знания гораздо надежнее оградила бы эти права, нежели странное и далеко не всех настигающее слово «фюить!».

Недостаток знаний порождает чрезмерную требовательность; чрезмерная требовательность, в свою очередь, порождает подозрительность. Известно, например, с какою охотою употребляют помпадуры такие слова, как «посягать», «подкапываться», «потрясать» и т. д., представляя высшему начальству, будто слова эти составляют обыденный лексикон нарвчатских, лукояновских и других обывателей. А между тем в этих уверениях заключается самая вопиющая неправда. Я, по крайней мере, искренно убежден, что никто даже не помышляет о том, чтобы оспаривать помпадурские права, и что вся беда тут в том, что не всякий может эти права уловить. Отсюда – бесконечное и довольно тягостное для обеих сторон *quiproquo*.¹³⁸ Чаше всего помпадур и сам хорошенько не знает, в чем состоят его требования, но это незнание, вместо того чтоб ограничить его, делает еще более ненасытным. Столь же часто бывает, что обыватель и готов бы, с своей стороны, сделать всякое удовольствие, но, не зная, в чем это последнее заключается, попадает впросак, то есть поздравляет тогда, когда не нужно поздравлять, и наоборот. А из этого происходит то, что один неведомо что предьявляет, а другой неведомо на что посягает. Явное недоразумение, которое опять-таки будет устранено лишь тогда, когда наука прольет свой свет на запутанные отношения, существующие между помпадурами и обывателями, и сумеет регламентировать их.

¹³⁸ Недоразумение (фр.) .

Итак, в отзывах иностранцев есть известная доля правды. Но правда эта не должна огорчать нас. Мы слишком сильны, мы пользуемся слишком несомненною внутреннею тишиной, чтобы впадать в малодушие перед лицом правды. Мы спокойно можем выслушать самую горькую истину, нимало не изменяя присущему нам сознанию наших доблестей.

Притом же мы знаем, что у нас есть испытанное средство к освобождению от слишком лихих помпадуров. Это средство: повышения, перемещения и увольнения, которые очень достаточно гарантируют нас.

Оговорившись таким образом, перехожу к самым «мнениям» иностранцев. Мнения эти переведены мною прямо с подлинников и притом с самою буквальною точностью. Рассказ же татарина Хабибуллы Науматуллоевича о пребывании в России иомудского принца (так как существование племени иомудов не подлежит сомнению, то я полагаю, что должен быть и иомудский принц) напечатан мною с оставлением слога и подлинных выражений рассказчика.

«Impressions de voyage et d'art», par le prince de la Cassonade, ancien Grand Veneur de S. M. l'Empereur Soulouque I, actuellement, grâce aux vicissitudes de la fortune, garçon en chef au Café Riche a Paris. Paris. Ledentu éditeur. 18**. Deux forts vols («Путевые и художественные впечатления», соч. князя де ля Кассонад, бывшего обер-егермейстера Е. В. Императора Сулука I, а ныне, благодаря превратностям судеб, главного гарсона в кафе Риш в Париже).

«Когда я был командирован моим все милостивейшим государем и повелителем во Францию и Испанию для изучения способов делать государственные перевороты, и в Россию – для изучения способов взыскания недоимок, я встретился в этой последней с особенной корпорацией, которой подобной нет, кажется, в целом мире и которая чрезвычайно меня заинтересовала. Я говорю о помпадурах.

Каждый из здешних городов имеет своего главного помпадура, которому подчинено несколько второстепенных помпадуров, у которых, в свою очередь, состоит под начальством бесчисленное множество помпадуров третьестепенных, а сии последние уже имеют в своем непосредственном заведовании массу обывателей или чернь (*la vile populace*). Все они составляют так называемую бюрократическую армию и различаются между собою лишь более или менее густым шитьем на воротниках и рукавах. Так как было бы тяжело и затруднительно исследовать нравы всех этих разновидностей, то я главным образом сосредоточил свое внимание на главных помпадурах, потому что они представляют собой прототип, по которому можно без труда сделать заключение и о прочих.

Главные помпадуры избираются преимущественно из молодых людей, наиболее способных к телесным упражнениям. На образование и умственное развитие их большого внимания не обращается, так как предполагается, что эти лица ничем заниматься не обязаны, а должны только руководить. При этом имеется, кажется, в виду еще и та мысль, что науки вообще имеют растлевающее влияние и что, следовательно, они всего менее могут быть у места там, где требуются лишь свежесть и непреоборимость. И действительно, главные помпадуры живут в столь безнадежном от наук отдалении, что некоторые из них не шутя смешивали моего все милостивейшего повелителя Сулука I с королевою Помарй, а сию последнюю с известной парижской лореткой того же имени. Признаюсь, эти смешения причиняли мне немало огорчений, и я не раз вынуждался объявлять очень категорически, что повторение чего-либо подобного может иметь последствием серьезный *casus belli*.¹³⁹

Преимущественное назначение главных помпадуров заключается в том, чтобы *препятствовать*. Несмотря, однако ж, на мои усилия разъяснить себе, против чего собственно должна быть устремлена эта тормозящая сила, – я ничего обстоятельного по сему предмету добиться не мог. На все мои вопросы я слышал один ответ: «*Mais comment ne*

¹³⁹ Повод к войне (фр.) .

comprenez-vous pas за?»¹⁴⁰ – из чего и вынужден был заключить, что, вероятно, Россия есть такая страна, которая лишь по наружности пользуется тишиною, но на самом деле наполнена горючими веществами. Иначе какая же была бы надобность в целой корпорации людей, которых специальное назначение заключается в принятии прекратительных мер без всяких к тому поводов?

Так, например, я с любопытством наблюдал однажды, как один чрезвычайно вышитый помпадур умирал другого менее вышитого за то, что сей последний не поздравил первого с праздником. Клянусь, никогда королева Помаре (а кто же не знает, до какой степени она неизящна в своих выражениях?) не обращалась к своему кучеру с подобным потоком высокоукоризненных слов! Когда же я позволил себе усомниться, чтобы обстоятельство столь неважное способно было возбудить столь сильный гнев, то расшитый помпадур взглянул на меня с таким странным видом, что я поспешил раскланяться, дабы не вышло из этого чего дурного для меня или для моего всемилостивейшего повелителя. В другое время другой помпадур откровенно мне сознавался, что он только и делает, что умирляет бунты, причем назвал мне и имена главных бунтовщиков: председателей окружного суда и местной земской управы. А так как, не далее как за день перед тем, я имел случай с обоими бунтовщиками играть в ералаш и при этом не заметил в их образе мыслей ничего вредного, то и не преминул возразить негодующему помпадуру, что, по мнению моему, оба названные лица ведут себя скромно и умирения не заслуживают. Но он, не желая ничего слушать, ответил мне, что все это интрига и что он, помпадур, не успокоится, покуда не раскроет в подробности все нити и корни оной. Я мог бы рассказать здесь множество других примеров подобной же загадочной страсти к умирениям, но полагаю, что и этих двух вполне достаточно, тем более что причина этой умирительной болезни и доднесь остается для меня неразъясненною, а следовательно, сколько бы я ни плодил фактов, в основании их все-таки будет лежать таинственное: *mais comment ne comprenez-vous pas ça?* – и ничего более.

Всю сумму своих административных воздействий помпадуры сумели сконцентрировать в одном крошечном слове «фюить», и, кажется, это единственное слово, которое они умеют произносить с надлежащею ясностью. Все прочее принимает в их устах форму невнятного бормотания, из которого трудно извлечь что-либо поучительное. Я тщетно усиливался доказывать, что слово «фюить», несмотря на удобства, доставляемые его краткостью, все-таки никаких разрешений не заключает – в ответ на мои доказательства я повсюду слышал одно: *pour nous autres, c'est encore assez bon!*¹⁴¹ Это, конечно, заставляло меня умолкать, ибо ежели люди сами признают себя вполне обеспеченными словом «фюить», то мне, иностранцу (а тем более имеющему дипломатическое поручение), разуберять их в том не приходится.

Вообще у них есть фаталистическая склонность обратить мир в пустыню и совершенное непонимание тех последствий, которые может повлечь за собою подобное административное мероприятие. Наклонность эту я готов бы назвать человеконенавистничеством, если б не имел бесчисленных доказательств, что в основании всех действий и помыслов помпадурских лежит не жестокость в собственном смысле этого слова, а безграничное легкомыслие. Так, например, когда я объяснил одному из них, что для них же будет хуже, ежели мир обратится в пустыню, ибо некого будет умирять и даже некому будет готовить им кушанье, то он, с невероятным апломбом, ответил мне: «Тем лучше! мы будем ездить друг к другу и играть в карты, а обедать будем ходить в рестораны!» И я опять вынужден был замолчать, ибо какая же возможность поколебать эту непреодолимую веру в какое-то провиденциальное назначение помпадуров, которая ни перед чем не останавливается и никаких невозможностей не признает!

¹⁴⁰ Но как вы этого не понимаете? (*фр.*)

¹⁴¹ Для нашего брата это достаточно хорошо! (*фр.*)

Вместе с невежественностью и легкомысленною страстью к разрушению, помпадур, в значительной мере, соединяют и сластолюбие. Обаяние власти привлекает к ним сердца не весьма разборчивых провинциальных женщин, а корыстолюбие мужей-чиновников заставляет их смотреть сквозь пальцы на проделки преступных их жен. Тем не менее я напрасно ожидал утонченности в обращении помпадура с женщинами. Хотя все они очень бегло говорят по-французски (впрочем, и тут больше в ходу какой-то бессмысленный жаргон парижских кафешантанов, смешанный с не менее бессмысленным жаргоном кокоток), но французская вежливость столь же чужда им, как и любому из парижских *cochers de fiacre*.¹⁴² Неоднократно приглашенный на вечера, на которых присутствовали особенно преданная помпадурам молодежь и роскошнейшие женщины города, я ничего не видал, кроме бесстыдных жестов, которые даже меня, бывшего обер-егермейстера моего всемилостивейшего императора Сулука I, заставляли краснеть. В этом заключалась вся веселость, вся аттическая соль этих вечеров. Я никогда не забуду, как одна из этих дам (замечательно, впрочем, красивая) распевала французскую песенку: «*et j'frotte et j'frotte – et allez don!*», сопровождая свое пение такими оживленными телодвижениями, которым позавидовала бы любая *chanteuse de cabaret*.¹⁴³ Помпадур сидел тут же и не только не унимал бесстыдницу, но даже хмурил брови всякий раз, как она ослабевала. В другом городе другой помпадур повел меня в купальную, в стене которой было очень искусно проделано отверстие в соседнее женское отделение, и заставил меня смотреть. Грешный человек, я посмотрел с удовольствием, но потом все-таки не мог воздержаться от вопроса: какое же отношение все это может иметь к администрации?

В заключение, я должен сказать, что это – корпорация очень загадочная. Я не отрицаю в помпадурах некоторой дозы отваги, свидетельствующей о величии души, но, к сожалению, должен сказать, что отвага эта растрачивается на такие дела, без которых легко можно было бы обойтись. Таковы, например, выбивание зубов у ямщиков во время езды на почтовых и проч. С грустным чувством оставил я эту страну, убедившись, что даже относительно взыскания недоимок она не представляет ничего нового и поучительного для нашего любезного отечества.

Но когда я, по долгу совести, доложил о всем вышеизложенном моему всемилостивейшему императору и повелителю Сулуку I, то, к величайшему моему огорчению и удивлению, услышал от него: «Дурак! да нам именно это-то и нужно!» С тех пор мне была объявлена немилость за непонимание истинных интересов моего повелителя, а потом начались и преследования, которые разрешились изгнанием из отечества. Ныне я состою в качестве *garçon en chef* в *café Riche*¹⁴⁴ в Париже. Но, впрочем, не теряю надежды на Бога и его всещедрую милость ко мне. Ибо опала моя есть лишь плод недоразумения, я же во всякое время готов и опять занять прежний свой пост при моем всемилостивейшем повелителе, и даже, если ему будет угодно, устроить в любезном отечестве точь-в-точь такую же корпорацию помпадура, какую я видел в России».

«*Une triste histoire. Souvenirs d'un voyage dans les steppes du Nord*», par Onésime Chenapan, ancien agent provocateur, ayant servi sous les ordres de monseigneur Maupas, préfet de police. 1853. Paris. Librairie nouvelle. I vol. («Грустная история. Воспоминания о путешествии в северные степи»). Соч. Онисим Шенапан, бывший политический сыщик, служивший под начальством монсеньёра Мопы, префекта полиции.)

«Берусь за перо, чтобы рассказать, каким образом один необдуманый шаг может

¹⁴² Извозчиков (фр.) .

¹⁴³ Шансонетка (фр.) .

¹⁴⁴ Главный лакей кафе Риш (фр.) .

испортить всю человеческую жизнь, уничтожить все ее плоды, добытые ценою долгих унижений, повергнуть в прах все надежды на дальнейшее повышение в избранной специальности и даже отнять у человека лучшее его право в этом мире – право называться верным сыном святой римско-католической церкви!

Все это сделал надо мной один праздный человек, назвавший себя помпадуром, сделал просто, естественно, без малейших колебаний, не оставив в моем сердце ни малейшей надежды получить какое-либо вознаграждение за причиненный мне ущерб!

Юноша! ты, который читаешь эти омытые слезами строки, внимательнее вдумайся в их содержание! и ежели когда-нибудь в *Closerie de lilas* или в ином подобном месте тебе случится встретиться с человеком, именующим себя помпадуром, – беги его! Ибо имя этому человеку: жестокосердие и легкомыслие!

В 1852 году, вскоре после известного декабрьского переворота, случай свел меня с князем де ля Клюква (*Le prince de la Klioukwa*), человеком еще молодым, хотя несколько поношенным (*quelque peu taré*), в котором я, по внешнему его виду и веселым манерам, никогда не позволил бы себе предположить сановника. Оказалось, однако, что он был таковым.

Встреча произошла в одном из парижских *cafés chantants*, которые я посещал по обязанностям службы, так как в этих веселых местах преимущественно ютились заблуждающиеся молодые люди, не выказывавшие безусловного доверия к перемене, происшедшей 2-го декабря. Тут же можно было найти и множество иностранцев, изучавших Париж с точки зрения милой безделицы.

Разговор наш начался по поводу песенки: «*Ah! j'ai un pied qui r'mue*»,¹⁴⁵ которая тогда только что пошла в ход и которую мастерски выполняла *m-lle Rivière*. Оказалось, что мой сосед (мы за одним столом, не торопясь, попивали наши *petits verres*¹⁴⁶), не только тонкий ценитель жанра, но и сам очень мило исполняет капитальные пьесы каскадного репертуара. Не могу сказать почему, но, к моему несчастью, я почувствовал какое-то слепое, безотчетное влечение к этому человеку, и после беседы, продолжавшейся не больше четверти часа, откровенно сознался ему, что я *agent provocateur*,¹⁴⁷ пользующийся особенным доверием *монсеньёра Мопя*. И, к удивлению моему, он не только не бросился меня бить (как это почти всегда делают заблуждающиеся молодые люди), но даже протянул мне обе руки и, в свою очередь, объявил, что он русский и занимает в своем отечестве ранг помпадура.

– Я объясню вам впоследствии, – сказал он при виде недоразумения, выразившегося в моем лице, – в чем заключаются атрибуты и пределы власти помпадурского ранга, теперь же могу сказать вам одно: никакая другая встреча не могла бы меня так обрадовать, как встреча с вами. Я именно искал познакомиться с хорошим, вполне надежным *agent provocateur*. Скажите, выгодно ваше ремесло?

– *Monseigneur*, – отвечал я, – я получаю в год тысячу пятьсот франков постоянного жалованья и, сверх того, в виде поощрения, особую плату за каждый донос.

– Однако ж... это недурно!!

– Если б я получал плату построчно, хотя бы наравне с составителями газетных *entrefilets*¹⁴⁸ – это было бы, действительно, недурно; но в том-то и дело, *monseigneur*, что я получаю мою плату поштучно.

145 Ах! ножка у меня шевелится (*фр.*) .

146 Рюмки (*фр.*) .

147 Политический сыщик (*фр.*) .

148 Маленьких фельетонов (*фр.*) .

– Но, вероятно, к Рождеству или к Пасхе являются на выручку какие-нибудь остаточки?

– Никак нет, *monseigneur*. Всеми остаточками безраздельно пользуются *monseigneur* Маура и всемилостивейший мой повелитель и император Наполеон III. Единственным подспорьем к объясненному выше содержанию служит особенная сумма, назначаемая на случай увечий и смертного боя, очень нередких в том положении, в котором я нахожусь. Второго декабря я буквально представлял собою сочащуюся кровью массу мяса, так что в один этот день заработал более тысячи франков!

– Тысячу франков... *mais c'est très ioli!*¹⁴⁹

– Но у меня есть престарелая мать, *monseigneur!* у меня есть девица-сестра, которую я тщательно стараюсь пристроить!

– *Oh! quant a cela...*¹⁵⁰ черт их подери!

Это восклицание было очень знаменательно и должно бы предостеречь меня. Но провидению угодно было потемнить мой рассудок, вероятно, для того, чтобы не помешать мне испить до дна чашу уготованных мне истязаний, орудием которых явился этот ужасный человек.

– Ну-с, а теперь скажите мне, случилось ли вам когда-нибудь, – по обязанностям службы, *s'entend*,¹⁵¹ – распечатывать чужие письма? – продолжал он после минутного перерыва, последовавшего за его восклицанием.

– Очень часто, *excellence!*¹⁵²

– Поймите мою мысль. Прежде, когда письма запечатывались простым сургучом, когда конверты не заклеивались по швам – это, конечно, было легко. Достаточно было тоненькой деревянной спички, чтоб наvertеть на нее письмо и вынуть его из конверта. Но теперь, когда конверт представляет массу, почти непроницаемую... каким образом поступить? Я неоднократно пробовал употреблять в дело слюну, но, признаюсь, усилия мои ни разу не были увенчаны успехом. Получатели писем догадывались и роптали.

– А между тем нет ничего проще, *excellence*. Здесь мы поступаем в этих случаях следующим образом: берем письмо, приближаем его к кипящей воде и держим над паром конверт тою его стороной, на которой имеются заклеенные швы, до тех пор, пока клей не распустится. Тогда мы вскрываем конверт, вынимаем письмо, прочитываем его и помещаем в конверт обратно. И никаких следов нескромности не бывает.

– Так просто – и я не знал! Да, французы во всем нас опередили! Великодушная нация! как жаль, что революции так часто потрясают тебя! *Et moi, qui, a mes risques et périls, me consumais a dépenser ma salive! Quelle dérision!*¹⁵³

– Но разве распечатывание чужих писем входит в ваши атрибуты, *monseigneur?*

– В мои атрибуты входит все, что касается внутренней политики, а в особенности распечатывание частных писем и взыскание недоимок (*extorsion des nédoïmkâs, une espèce de peine corporelle, en vigueur en Russie, surtout dans le cas où le paysan, par suite d'une mauvaise récolte, n'a pas de quoi payer les impôts*).¹⁵⁴ Знаете ли вы, однако ж, мой новый друг, что вы

¹⁴⁹ Но это прекрасно! (*фр.*)

¹⁵⁰ О! что касается этого (*фр.*) .

¹⁵¹ Разумеется (*фр.*) .

¹⁵² Ваше превосходительство! (*фр.*)

¹⁵³ А я-то, с риском и опасностью, тратил свою слюну! Какая насмешка! (*фр.*)

¹⁵⁴ Выколачивание недоимок, род телесного наказания, применяемого в России, особенно в тех случаях, когда крестьянину из-за плохого урожая нечем заплатить подати (*фр.*) .

вывели меня из очень-очень большого затруднения!

Он с чувством пожал мне руку и был так великодушен, что пригласил меня ужинать в *café Anglais*, где мы почти до утра самым приятным образом провели время. В заключение он очень любезно предложил мне сопутствовать ему в его родные степи, где, по словам его, представлялась для меня очень выгодная карьера.

– Вы поедете со мной и на мой счет, – говорил он мне, – жалованье ваше будет простираться до четырехсот франков в месяц; сверх того, вы будете жить у меня и от меня же получать стол, дрова и свечи. Обязанности же ваши отныне следующие: научить меня всем секретам вашего ремесла и разузнавать все, что говорится про меня в городе. А чтобы легче достичь этой цели, вы должны будете посещать общество и клубы и там притворно фрондировать против меня... понимаете?

Я был изумлен и обрадован. *O, ma pauvre mère! o, ma soeur, dont la jeunesse se consume dans la vaine attente d'un mari!..*¹⁵⁵

Но, несмотря на охватившее меня волнение, я все-таки заметил некоторую несообразность в его предложении, которую и поспешил разъяснить.

– Позволю себе одно почтительное замечание, *monseigneur*, – сказал я. – Вы изволили сказать, что я буду жить у вас в доме, и в то же время предписываете мне фрондировать против вас. Хотя я и понимаю, что это последнее средство может быть употреблено с несомненною пользой, в видах направления общественного мнения, но, мне кажется, не лучше ли в таком случае будет, если я поселюсь не у вас, а на особенной квартире – просто в качестве знатного иностранца, живущего своими доходами?

– Это ничего, – ответил он мне с очаровательной улыбкой. – Вы, пожалуйста, не стесняйтесь этим! У нас в степях в этом отношении такой обычай: где едят, там и мерзят, у кого живут, того и ругают...

Я решился.

Расставаясь с тобой, о, моя возлюбленная Франция, я чувствовал, как сердце мое разрывается на куски!

O, ma mère!

*O, ma pauvre soeur chérie!*¹⁵⁶

– Но я сказал себе: *oh, me belle France!*¹⁵⁷ если только степь не поглотит меня, то я сколочу маленький капиталец и заведу в Париже контору бракоразводных и бракосводных дел. И тогда ничто и никогда уже не разъединит нас, о, дорогая, о, несравненная отчизна моя!

В ожидании этой вожделенной минуты, я решил все мое жалованье отдавать моей бедной матери. Сам же предположил жить на счет посторонних доходов, в которых, при некотором с моей стороны уменье и изобретательности, несомненно не будет у меня недостатка...

Дорогой князь был очень предупредителен. Он постоянно сажал меня за один стол с собою и кормил только хорошими кушаньями. Несколько раз он порывался подробно объяснить мне, в чем состоят атрибуты помпадурства; но, признаюсь, этими объяснениями он возбуждал во мне лишь живейшее изумление. Изумление это усугублялось еще тем, что во время объяснений лицо его принимало такое двусмысленное выражение, что я никогда не

¹⁵⁵ О, моя бедная мать! о, сестра моя, молодость которой проходит в тщетном ожидании мужа!.. (фр.)

¹⁵⁶ О, моя мать! о, моя бедная, любимая сестра! (фр.)

¹⁵⁷ О, моя прекрасная Франция! (фр.)

мог разобрать, серьезно ли он говорит или лжет.

– Звание помпадур, – говорил он мне, – почти ненужное; но именно эта-то ненужность и придает ему то пикантное значение, которое оно имеет у нас. Оно ненужно, и, между тем, оно есть... вы меня понимаете?

– Не совсем, *monseigneur!*

– Постараюсь высказаться яснее. У помпадур нет никакого специального дела («лучше сказать, никакого дела», поправился он); он ничего не производит, ничем непосредственно не управляет и ничего не решает. Но у него есть внутренняя политика и досуг. Первая дает ему право вмешиваться в дела других; второй – позволяет разнообразить это право до бесконечности. Надеюсь, что теперь вы меня понимаете?

– Извините, *excellence*, но я так мало посвящен в пружины степной политики (*la politique des steppes*), что многого не могу уразуметь. Так, например, для чего вы *вмешиваетесь* в дела других? Ведь эти «другие» суть служители того же бюрократического принципа, которого представителем являетесь и вы? Ибо, насколько я понимаю конституцию степей...

– Прежде всего – у нас вовсе нет конституции! Наши степи вольны... как степи, или как тот вихрь, который гуляет по ним из одного конца в другой. Кто может удержать вихрь, спрашиваю я вас? Какая конституция может настигнуть его? – прервал он меня так строго, что я несколько смешался и счел за нужное извиниться.

– Я не так выразился, *monseigneur*, – сказал я, – я употребил слово «конституция» не в том смысле, в каком вы удостоили принять его. По мнению людей науки, всякое государство, однажды *конституированное*, уже тем самым заявляет, что оно имеет свою *конституцию*... Затем, разумеется, может быть конституция вредная, но может быть и полезная...

– Все это прекрасно-с, но я прошу вас не употреблять в наших разговорах ненавистного мне слова «конституция»... никогда! *Entendez-vous: jamais! Et maintenant que vous êtes averti, continuons.*¹⁵⁸

Итак, я сказал, что для меня непонятно, какое значение может иметь вмешательство одних бюрократов в занятия других бюрократов?

Я готов был прибавить: «Быть может, вы делитесь? Тогда – я понимаю! О, *comme je comprends cela, monseigneur!*»¹⁵⁹ Но, не будучи еще на совершенно короткой ноге с моим высокопоставленным другом, воздержался от этого замечания. Однако ж он, по-видимому, понял мою тайную мысль, потому что покраснел, как вареный рак, и взволнованным голосом воскликнул:

– Я протестую всеми силами души моей! Слышите, протестую!

– Но в таком случае, я, право, не понимаю, в чем же состоит цель этого непрерывного вмешательства?

– Вы глупы, *Chenapan!* (Да, он сказал мне это, несмотря на то, что в то время был еще очень учтив относительно меня.) Вы не хотите понять, что чем больше с моей стороны вмешательства, тем более я получаю прав на внимание моего начальства. Если я усмирю в год одну революцию – это хорошо; но если я усмирю в году две революции – это уж отлично! И вы, который находитесь на службе у величайшего из усмирителей революций, – вы не понимаете этого!

– Я понимаю, я даже очень хорошо понимаю это, *monseigneur!* Но, признаюсь, я полагал, что положение вашего отечества...

– Все отечества находятся в одном положении для человека, который желает обратить

¹⁵⁸ Слышите: никогда! А теперь, когда вы об этом предупреждены, продолжим разговор (*фр.*) .

¹⁵⁹ О, как я понимаю это, ваша светлость! (*фр.*)

на себя внимание начальства – vous m'entendez?¹⁶⁰ Но это еще не все. Я имею и личное самолюбие... sacrebleu!¹⁶¹ У меня есть внутренняя политика, у меня есть прерогативы! Я хочу проводить мой взгляд... sapristi!¹⁶² Я желаю, чтоб с этими взглядами сообразовались, а не противодействовали им! Это мое право... это, наконец, мой каприз! Вы возлагаете на меня ответственность... вы требуете от меня et ceci et cela...¹⁶³ позвольте же и мне иметь свой каприз! Надеюсь, что это не какая-нибудь чудовищная претензия с моей стороны?!

– Но закон, monseigneur? Каким образом примирить каприз с законом?

– La loi! parlez-moi de ça! nous en avons quinze volumes, mon cher!¹⁶⁴

На этом наш разговор пресекался. Как ни нова была для меня административная теория, выразившаяся в последнем восклицании моего собеседника, но, признаюсь откровенно, отвага, с которою он выразился о законе, понравилась мне. Хотя и monseigneur Маурас нередко говаривал мне: «По нужде, mon cher, и закону премена бывает», – но он говорил это потихоньку, как бы боясь, чтоб кто-нибудь не слышал. И вдруг – эта ясность, эта смелость, этот полет... как было не плениться ими! Казаки вообще отважны и склонны видеть неприятеля даже там, где мы, люди старой цивилизации, видим лишь покровительство и гарантию. Это люди совсем свежие, не имеющие ни одного из предрассудков, которые обременяют жизнь западного человека. С самою веселою непринужденностью смотрят они на так называемые нравственные обязательства, но зато никто не может сравниться с ними относительно телесных упражнений, а за столом, за бутылкой вина, с женщинами – это решительно непобедимейшие борцы (joueurs) в целом мире. Я, например, ни разу не видал моего амфитриона пьяным, хотя количество истребленных им, в моих глазах, напитков поистине едва вероятно. Ни разу не сложил он оружия перед неприятелем, и все действие, оказываемое на него вином, ограничивалось переменою цвета лица и несколько большим одушевлением, с которым он начинал лгать (blaguer).

Тем не менее я должен сознаться, что значение, которое имеют помпадуры в русском обществе, продолжало казаться для меня неясным. Я не мог себе представить, чтобы могла существовать где-нибудь такая административная каста, которой роль заключалась бы в том, чтобы мешать (я считаю слово «вмешиваться» слишком серьезным для такого занятия), и которая на напоминание о законе отвечала бы: sapristi! nous en avons quinze volumes! Сомнения мои я, впрочем, относил не к собственной своей непонятливости, а скорее к неумению князя ясно формулировать свою мысль. Он сам, как видно, не сознавал, в чем состоит его административная роль, и это будет совершенно понятно, если мы вспомним, что в России до сих пор (писано в 1853 году) расадниками администрации считаются кадетские корпуса. В этих заведениях молодым людям пространно преподают одну только науку, называемую «Zwon poréta razdawaiss» (сам князь был очень весел, когда передавал мне это длинное название, и я уверен, что ни в какой другой стране Европы науки с подобным названием не найдется); прочие же науки, без которых ни в одном человеческом обществе нельзя обойтись, проходятся более нежели кратко. Поэтому нет ничего мудреного, что лица, получившие такое воспитание, оказываются неспособными выражать свои мысли связно и последовательно, а отделяются одними ничего не стоящими восклицаниями, вроде:

160 Вы меня понимаете? (фр.)

161 Черт возьми! (фр.)

162 Черт возьми! (нем.)

163 И того и этого... (фр.)

164 Закон! какой вздор! у нас пятнадцать томов законов, дорогой мой! (фр.)

«sapristi!», «ventre de biche»,¹⁶⁵ «parlez-moi de ça»¹⁶⁶ и т. д.

Только тогда, когда негостеприимная степь уже приняла нас в свои суровые объятия, то есть по прибытии на место, я мог хотя отчасти уразуметь, что хотел выразить мой высокопоставленный амфитрион, говоря о своих прерогативах.

Покуда мы еще не въехали в пределы того края, в котором помпадурствовал князь де ля Клюква, поведение его было довольно умеренно. Он бил ямщиков с снисходительностью, о которой я могу отозваться лишь с величайшею похвалою (я не говорю уже о поведении его за границей, где он был весь – утонченная вежливость). Но едва он завидел пограничный столб, указывавший начало его владений, как тотчас же вынул из ножен свою саблю, перекрестился и, обращаясь к ямщику, испустил крик, имевший злое значение. Мы понеслись стрелою и как сумасшедшие скакали все пятнадцать верст, остававшиеся до станции. Но ему казалось, что его все еще недостаточно скоро везут, потому что он через каждые пять минут поощрял ямщика полновесными ударами сабли. Я никогда не видал человека до такой степени рассерженного, хотя причины его гнева не понимал. Признаться, я сильно боялся, чтоб во время этой бешеной скачки у нашего экипажа не переломилась ось, ибо мы несомненно погибли бы, если бы это случилось. Но уговорить его не торопить ямщика было невозможно, потому что безумная езда по дорогам есть одна из прерогатив, за которую помпадурсы особенно страстно держатся.

– Я научу их, как ездить... каналий! – твердил он, обращаясь ко мне и как бы наслаждаясь страхом, который должна была выражать моя физиономия.

И действительно, мы проехали несколько более двухсот верст в течение двенадцати часов, и, несмотря на эту неслыханную быстроту, он приказывал на станциях сечь ямщиков, говоря мне:

– С, est notre manière de leur donner le pourboire!¹⁶⁷

Приехавши в главный город края, мы остановились в большом казенном доме, в котором мы буквально терялись как в пустыне (князь не имел семейства). Было раннее утро, и мне смертельно хотелось спать, но он непременно желал, чтобы немедленно произошло официальное представление, и потому разослал во все концы гонцов с известием о своем прибытии. Через два часа залы дома уже были наполнены трепещущими чиновниками.

Хотя и в нашей прекрасной Франции прерогативы играют немаловажную роль, но, клянусь, я никогда не мог себе представить что-либо подобное тому, что я увидел здесь. У нас слово «негодяй» (*vaurien*, *polisson*... и, к несчастью, *chevapan*) есть высшая степень порицания, которую может заслужить провинившийся подчиненный от рассерженного начальника; здесь же, независимо от обильно расточаемых личных оскорблений, принято еще за правило приобщать к ним родственников оскорбляемого в восходящей степени. Князь был красен, как рак, и перебегал от одного подчиненного к другому, источая целые потоки дурной брани. В особенности же доставалось от него одному хромому майору, которого он иронически рекомендовал мне: вот мой Мопя. Я думал, не замышлял ли этот несчастный человек похитить, в отсутствие князя, его власть (что, конечно, оправдывало бы его гнев), но оказалось, что ничего подобного не бывало. Я и до сих пор не могу объяснить себе, что мотивировало те прискорбные сцены, которых я был свидетелем в это памятное для меня утро. Хотя же князь и объяснил их желанием оградить свои прерогативы, но и эта причина казалась недостаточною, ибо никто, по-видимому, на эти прерогативы не посягал. Словом сказать, официальное представление кончилось к полнейшему торжеству моего высокопоставленного амфитриона, который ходил по комнатам, выгнув шею, как конь, и

¹⁶⁵ Французские ругательства (*фр.*) .

¹⁶⁶ Толкуйте мне об этом (*фр.*) (равнозначно нашему «вздор»).

¹⁶⁷ Это наш способ давать им на чай! (*фр.*)

гордо празднуя без труда одержанную победу.

Только за обедом я успел несколько опомниться. Было довольно весело, ибо здесь присутствовало несколько фаворитов князя, молодых людей, бесспорно очень образованных. Один из них, недавно возвратившийся из Петербурга, очень удачно представил, как *m-lle Page*,¹⁶⁸ на своих *soirées intimes*,¹⁶⁹ поет: *Un soir a la barrière*.¹⁷⁰ Песенка эта, хотя далеко не новая и почти исчезнувшая из моей памяти, доставила мне живейшее удовольствие.

Вечером того же дня князь представил меня даме своего сердца, которую он, незадолго перед тем, отнял у одного из здешних муниципальных советников.¹⁷¹ Роскошнейшая эта женщина произвела на меня глубокое впечатление, которое еще более усилилось, когда нога моя почувствовала под столом давление ее ножки. Муж ее был тут же и очень смешил нас своими шутками над обманутыми мужьями, из числа которых он простодушно не исключал и самого себя. Некоторые из этих шуток, под личиною наивности, заключали в себе настолько язвительности, что помпадур сердился и краснел. Но морганатическая его подруга, по-видимому, уже привыкла к подобным сценам и присутствовала при них совершенно как постороннее лицо.

Веселый наш ужин приближался к концу, как вдруг прибежали доложить, что в конце города вспыхнул пожар.

– Ну вот и прекрасно, – обратился ко мне помпадур, – *vous allez me voir a l'oeuvre!*¹⁷²

Но я, признаюсь, был далеко не рад, когда увидел (это было в первый раз со времени нашего знакомства), что князь совсем пьян. Близость ли любимой особы подействовала на него возбуждающим образом, или это был непосредственный результат опьянения властью – как бы то ни было, но он едва держался на ногах. Оказалось, однако, что и это послужило ему на пользу. Обыкновенно ни один пожар не обходился без того, чтобы он кого-нибудь не прибил, теперь же он все время проспал и проснулся уже тогда, когда пламя было совершенно потушено.

При возвращении с пожара домой он так неприятно поразил меня, что сердце мое впервые болезненно сжалось, как бы под влиянием какого-то темного предчувствия.

– Ну-с, господин Шенапан (он даже не скрывал, что делает из моей фамилии очень обидную для меня игру слов), понравилось *тебе у* меня? – обратился он ко мне.

Как ни больно кольнула меня эта предумышленная игра слов, а равно и бесцеремонное *ты*, обращенное ко мне, человеку совершенно постороннего ведомства, однако я чувствовал, что надобно покориться.

– Я более нежели очарован, *monseigneur!* – ответил я.

– Гм... желал бы я посмотреть, как бы ты не был очарован... прахвост (*prakhwost!*)!

Сказавши это, он так странно засмеялся, что я тотчас же понял, что нахожусь не в гостях, а в плену.

О, *ma France bien-aimée!* О, *ma mère!*¹⁷³

Князь очень скоро научился у меня всем секретам ремесла; но по мере того, как он

¹⁶⁸ Известная в то время актриса французского театра в Петербурге. – *Примеч. авт.*

¹⁶⁹ Интимных вечерах (*фр.*) .

¹⁷⁰ Вечерком у заставы (*фр.*) .

¹⁷¹ Очевидно, это ошибка: муниципальных советников никогда в России не бывало. – *Примеч. авт.*

¹⁷² Вы увидите меня за работой! (*фр.*)

¹⁷³ О, моя возлюбленная Франция! О, мать моя! (*фр.*)

тверже становился на ноги, я больше и больше падал в его глазах. Первые два месяца он очень аккуратно уплатил мое жалование, но на третий месяц прямо объявил мне, что я и весь не стою двух су. Когда же я начал умолять его, ссылаясь на престарелую мать и девицу-сестру, у которой единственное сокровище на земле – ее добродетель, то он не только не внял голосу великодушия, но даже позволил себе несколько двусмысленностей насчет добродетели моей доброй, бедной сестры.

В ожидании, что Бог просветит его сердце, я должен был удовлетвориться тем, что мне давали даром стол и квартиру. Но и тут дело не обошлось без важных оскорблений. У меня отняли мою прежнюю постель и заменили ее чем-то таким, чему на нашем прекрасном языке нет имени. За столом надо мной постоянно издевались, приняв, так сказать, за правило называть меня прохвостом. К несчастью, я имел неосторожность проговориться, что меня бивали в Париже при исполнении обязанностей, и эту ненужную откровенностью я сам, так сказать, приготовил бесконечную канву для разнообразнейших и неприличнейших шуток, с которыми эти неизобретательные сами по себе люди обращались ко мне. Сверх того, меня каждый раз непременно оставляли без какого-нибудь блюда (обыкновенно, с самую утонченную жестокостью, выбиралось то блюдо, которое я больше всего любил), и когда я жаловался на голод, то меня без церемоний отсылали в людскую. Но всего прискорбнее для меня было то, что при мне оскорбляли моего всемилостивейшего повелителя и императора Наполеона III, а в его лице и мою прекрасную, дорогую Францию. Так, например, спрашивали меня, правда ли, что Наполеон (они нарочно произносили это имя: *Napoléoschkâs* – уменьшительное презрительное) торговал в Лондоне гусями, или правда ли, что он вместе с Морни содержал в Нью-Йорке дом терпимости? и т. д. И все эти легкомысленные шуточки делались в то время, когда уже стоял на очереди грозный восточный вопрос...

Так продолжалось до осени. Наступили холода; а в моей комнате не вставляли двойных рам и не приказали топить ее. Я никогда не принадлежал к числу строптивых, но при первом жестоком уколе холода и моя самоотверженность дрогнула. Тут только я убедился, что надежда на то, что Бог просветит сердце моего высокопоставленного амфитриона, есть надежда в высшей степени легкомысленная и несбыточная. Скрепя сердце я решился оставить негостеприимные степи и явился к князю с просьбой снабдить меня хотя такую суммой, которая была нужна, чтобы достигнуть берегов Сены.

– Я уже не настаиваю на выдаче мне должного, *monseigneur*, – сказал я, – на выдаче того, что я заработал вдали от дорогой родины, питаюсь горьким хлебом чужбины...

– И хорошо делаешь, что не настаиваешь... *chenarân!* – заметил он холодно.

– Я прошу только одной милости: снабдить меня достаточной суммой, которая позволила бы мне возвратиться на родину и обнять мою дорогую мать!

– Хорошо, я подумаю... *chenapan!*

Дни проходили за днями; мою комнату продолжали не топить, а он все думал. Я достиг в это время до последней степени протрации; я никому не жаловался, но глаза мои сами собой плакали. Будь в моем положении последняя собака – и та способна была бы возбудить сожаление... Но *он* молчал!!

Впоследствии я узнал, что подобные действия на русском языке называются «шутками»... Но если таковы их *шутки*, то каковы же должны быть их жестокости!

Наконец он призвал меня к себе.

– Хорошо, – сказал он мне, – я дам тебе четыреста франков, но ты получишь их от меня только в том случае, если перейдешь в православную веру.

Я с удивлением взглянул ему в глаза, но в этих глазах ничего не выражалось, кроме непреклонности, не допускающей никаких возражений.

Я не помню, как был совершен обряд... Я даже не уверен, был ли это *обряд*, и не исполнял ли роль попа переодетый чиновник особых поручений...

Справедливость требует, однако ж, сказать, что по окончании церемонии он поступил

со мною как *grand seigneur*,¹⁷⁴ то есть не только отпустил условленную сумму сполна, но подарил мне прекрасную, почти не ношенную пару платья и приказал везти меня без прогонов до границ следующего помпадурства. Надежда не обманула меня: Бог хотя поздно, но просветил его сердце!

Через двенадцать дней я был уже на берегах Сены и, вновь благосклонно принятый монсеньёром *Mina* на службу, разгуливал по бульварам, весело напевая:

Les lois de la France,
Votre excellence!
Mourir, mourir,
Toujours mourir!

O, ma France!
O, ma mère!»¹⁷⁵

* * *

«*La question d'Orient. Le plus sûr moyen d'en venir a bout*». Par un Observateur impartial. Leipzig. 1857. («Восточный вопрос. Вернейший способ покончить с ним». Соч. Беспристрастного наблюдателя. Лейпциг. 1857.)¹⁷⁶

«Хочу рассказать, как один мой приятель вздумал надо мной пошутить и как шутка его ему же во вред обратилась.

На днях приезжает ко мне из Петербурга К***, бывший целовальник, а ныне откупщик и публицист. Обрадовались; сели, сидим. Зашла речь об нынешних делах. Что и как. Многое похвалили, иному удивились, о прочем прошли молчанием. Затем перешли к братьям-славянам, а по дороге и «больного человека» задели. Решили, что надо пустить кровь. Переговорив обо всем, вижу, что уже три часа, время обедать, а он все сидит.

– Расскажи, – говорит, – как ты к черногорскому князю ездил?

Рассказал.

– А не расскажешь ли, как ты с Палацким познакомился?

Рассказал.

– Так ты говоришь, что «больному человеку» кровь пустить надо?

– Непременно полагаю.

– А нельзя ли как-нибудь другим манером его разорить?

– Нельзя. Водки он не пьет.

Бьет три с половиной, а он все сидит. Зашла речь о предсказаниях и предзнаменованиях.

– Снилось мне сегодня ночью, что я в гостях обедаю! – вдруг говорит К***.

Или, другими словами, прямо навязывается ко мне на обед. В величайшем смущении смотрю на него, тшусь разгадать: какие еще новые шутки он со мной предпринять выдумает? Ибо, как человек богатый, он может предпринять многое такое, что другому и в голову не

¹⁷⁴ Вельможа (*фр.*) .

¹⁷⁵ Законы Франции, ваше превосходительство! Умирать, умирать, всегда умирать! О, моя Франция! О, мать моя! (*фр.*)

¹⁷⁶ Подозревают, что под псевдонимом «Беспристрастный наблюдатель» скрывается один знаменитый московский археолог и чревоещатель. Но так как подобное предположение ничем не доказано, то и этого автора я нашелся вынужденным поместить в число знатных иностранцев. – *Примеч. авт.*

придет. Однако делать нечего; следуя законам московского хлебосольства, решаюсь покориться своей участи.

– Дома, говорю, у меня ничего не готовлено, а вот в Новотроицкий, коли хочешь...

Сказал это и испугался.

– В Новотроицкий так в Новотроицкий, – говорит. – Только, чур, на твой счет. Мне, брат, сегодня такая блажь в голову пришла: непременно на твой счет обедать хочу.

Делать нечего, поехали.

Выпили по рюмке очищенного и съели по небольшому кусочку ветчины. Мало. А между тем, по непомерной нынешней дороговизне, вижу, что уже за одно это придется заплатить не менее пятнадцати копеек с брата.

Тогда я счел, что с моей стороны долг гостеприимства уже исполнен и что засим я имею даже право рассчитывать, что и он свой долг выполнит, то есть распорядится насчет обеда. Ничуть не бывало. Уже рассказал я ему и о том, как я у Ганки обедал, и о том, как едва не отобедал у Гоголя, – а он все смеется и никаких распоряжений не делает. Тогда, дабы уничтожить в душе его всякие сомнения, я позвал полового и спросил у него счет.

– А обедать-то как же? – спросил меня К***.

– Я, с своей стороны, сытёхонек! – ответил я, едва, впрочем, скрывая терзавший меня голод.

Тогда он, весело расхохотавшись, сказал:

– Ну, брат, вижу, что тебя не победишь! Веришь ли, всю дорогу, из Петербурга ехавши, я твердил себе: не все мне его кормить! Пообедаю когда-нибудь я и на его счет! Вот те и пообедал!

Затем, когда недоразумение между нами кончилось, засели мы за стол, причем я, из предосторожности, завесил себе грудь салфеткою.

подавали: селянку московскую из свежей осетрины – прекрасную; котлеты телячьи паровые – превосходные; жареного поросенка с кашей – отменнейшего.

Зная исправность моего желудка, я ел с таким расчетом, чтоб быть сытым на три дня вперед.

Наевшись, стали опять беседовать о том, как бы «больного человека» подкузьмить; ибо, хотя К*** и откупщик, но так как многие ученые его гостеприимством во всякое время пользуются, то и он между ними приобрел некоторый в политических делах глазомер.

Прикидывали и так и этак. Флотов нет – перед флотами. Денег нет – перед деньгами. Все будет, коли люди будут; вот людей нет – это так.

Сидим. Повесили головы.

Однако ж, когда выпили несколько здравиц, то постепенно явились и люди.

– Как людей нет! кто говорит, что людей нет! да вот его пошлите! его! Гаврилу! да! – кипятился К***, указывая на служившего нам полового.

И затем, разгорячаясь по мере каждой выпитой здравицы, он в особенности начал рекомендовать мне некоего N-ского помпадура, Петра Толстолобова, как человека, которому даже и перед Гаврилой предпочтение отдать можно.

– Это такой человек! – кричал он, – такой человек! географии не знает, арифметики не знает, а кровь хоть кому угодно пустит! Самородок!

– Поди он, чай, и в Стамбул-то доехать не сумеет! – усомнился я.

– Не сумеет – это верно!

Задумались. Стали прикидывать, сколько у нас самородков в недрах земли скрывается: наук не знают, а кровь пустить могут!

– Одна беда – какими способами его в Стамбул водворить! Флотов нет! денег нет! – восклицал К***.

– Чудак ты, братец! сам же сейчас говорил, что флотов нет – перед флотами!

– Кто говорил, что флотов нет? я, что ли, говорил, что флотов нет? Никогда!! Я говорил...

Выпили еще здравицу и послали Палацкому телеграмму в Прагу. Заснули.

В 12 ночи проснулись.

– Я, – говорит К***, – удивительнейший сон видел!

И рассказал мне, что во сне ему представилось, будто бы Толстолобов уж водворен в Стамбуле и пускает «больному человеку» кровь.

– И так, братец, он ловко...

Но я, будучи уже трезв, ответил на это:

– Не всегда сны сбываются, друг мой! Вот ты вчера видел во сне, что в гостях у меня обедаешь, а между тем кто из нас у кого в гостях отобедал? По сему можешь судить и о прочем.

Сказавши это, я вышел из трактира, он же остался в трактире, дабы на досуге обдумать истину, скрывавшуюся в словах моих.

Имей уши слышати – да слышит!»

«Как мы везли Ямуцки принц Иззедин-Музафер-Мирза в Рассею». Писал с натуры принцов воспитатель Хабибулла Науматуллоевич, бывший служитель в атель Бельвю (в С.-Питембурхи, на Невским, против киятра. С двух до семи часов обеда по 1 и по 2 р. и по карте. Ужины. Завтраки).¹⁷⁷ Издание Общества покровительства животным.

«В пятницу, на масленой, только что успели мы отслужить господам, прибежал в наш атель Ахметка и говорит: – Хабибулла! можешь учить принца разум? – Я говорю: могу! – Айда, говорит, в Касимов, бери плакат и езжай в Ямудию!

Езжал Касимов, бирал плакат – айда в Ямудию!

Езжал тамошний сталица. Чудной город, весь из песку. Сичас к принцу.

– Иззедин-Музафер-Мирза! – говорю, – хозяин атель Бельвю – на самом Невским, против киятра, обеда по 1 и по 2 р. и по карте; ужины, завтраки – прислал мне тебе разум учить – айда в Питембурх!

– Какой такой Питембурх? – говорит.

Смешно мне стало.

– Балшой ты ишак вырос, а Питембурх не знаешь!

Согласилси.

– Айда, – говорит, – только учи меня разум, Хабибулла! пажалста учи!

Стали сбираться. Чимадан – нет; саквяж – нет! Бида!

– Есть ли, – говорю, – по крайности, орден у тебя? Наши господа ордена любят.

– Есть, – говорит, – орден ишак. Сам делал.

– Бери больше, – говорю.

Ехали-ехали; плыли-плыли. Страсть!

Пескам ехали, полям ехали, лесам-горам ехали. Морям плыли, заливам-пративам плыли, рекам плыли, озерам не плыли...

Одначе приехали.

– Какой такой страна? – спрашивал принц.

– Балшой ты ишак вырос, а такой дурацкой вещь спрашиваешь. Не страна, а Рассея, говорю.

– Учи мне разум, Хабибулла! пажалста учи!

Езжали один город – один помпадур стричал.

– Какой такой человек? – говорил принц.

– Помпадур, – говорит.

– Бери орден ишак и термалама на халат!

Ишак брал, термалама брал, плечом целовал, ружьем стрелил... бида!

Другой город езжали, – другой помпадур стричал.

¹⁷⁷ Какой странный воспитатель для молодого иомудского принца! – может заметить читатель. Совершенно согласен с справедливостью этого замечания, но изменить ничего не могу. – *Примеч. авт.*

– Бери орден ишак и термалама на халат!
Ишак брал, термалама брал, плечом целовал, ружьем стрелил!
Сто верст езжали, тысячу верст езжали – везде помпадур стричали. Народ нет, помпадур есть.
– Хорошо здесь, – говорит прынц, – народ не видать, помпадур видать – чисто!
В Маршанск на машини езжали – машина как свистнет! Страсть! забоялси наш Иззедин-Музафер-Мирза, за живот взялси.
– Умрешь здесь, – говорил, – айда домой, в Ямудию!
Досадно мне, ай-ай, как досадно стало.
– Балшой, – говорю, – ты ишак вырос, а до места потерпеть не можешь!
Слышать не хочет – шабаш!
– Айда домой! – говорит, – риформа дома делать хочу!
Одну только станцию на машини езжали – айда назад в Ямудию!
Ехали-ехали;плыли-плыли.
Один город езжали – один помпадур стричал; другой город езжали – другой помпадур стричал.
Ишак давал, термалама не давал. Жалко стало.
– Ай-ай, хорошо здесь! – говорил прынц, – народ нет, помпадур есть – чисто! Айда домой риформа делать!
Домой езжал, риформа начинал.
Народ гонял, помпадур сажал: риформа кончал».